

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТИНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Цельность художника есть цельность ... я не найду в себе убеждения, мне-
го восприятия и выражения. Всегда-
ния, которое я бы тут же не постарал-
шания забота... Пастернака — воссоз-

дание мира в цель-
нием. Уверенность
ности — в неповто-
римости и полноте:
«Целый мир уло-
чинить меньше все-
жить на странице...
но для позднего ближ-
но для позднего ним. Звери, расте-
Пастернака — «чув-
ния, минералы, ко-
ству на корм» — и нечно, также рас-
есть высшая цель, сматриваются в ка-
а для раннего — честве близких».
крошенье по час-
тям. А. Якобсон легкая. Петр Равич



...достаточно даже очень коротко призадуматься над сутью и содержанием христианства, знак которого, по более или менее всеобщему признанию (не признают только крайне правые, в том числе и Западной Европы, и коммунисты), лежит на всем положительном развитии нашей эры в сторону гуманности, милосердия, принципиального равенства всех людей и уважения к человеческой личности, чтобы понять, что возможны манипуляция, обман, подмена, но настояще-



го союза христианства с шовинизмом или с тоталитаризмом не может быть никогда, наоборот, христианство по сути своей должно им сопротивляться... Но христианство — одна из великих положительных сил в мире, и бороться надо не с ним, а за правильное его понимание и приятие.

Ирина Иловайская

Другими словами, ни одна тирания, Где, например, русский с китайцем самая что ни на есть радикальная и братья навек?.. недавно мое дитя... революционная, не является благоде-

со своим приятелем-отличником...
тельной и прогрес-
спросили: а сколь-
сивной. Рабство ос-
ко на свете китай-
тается рабством... цев... Я говорю: ну,
во всех его возмож-
их миллионов во-
ных ароматах и от-
семьсот, и прия-
тенках... Но свобо-
тель-отличник мое-
да так драгоценна, му говорит... если
что было бы пре-
ступно оставить ее в день расстрели-
без присмотра, без вать, и то больше
защиты. Егоша А. Гильбоа



Николай Вильямс

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Ежи Гедройц
Александр Гинзбург · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный · Амос Оз
Андрей Сахаров · Виктор Спарре · Странник
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

- | | |
|----------------|--|
| Англия | Владимир Тельников
Vladimir Telnikov, 50 The Drive Mansions,
Fulham Rd., London S.W. 6 |
| Израиль | Михаил Агурский
Michael Agoursky, P.O.B 7433,
Jerusalem, Israel |
| Италия | Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia |
| США | Юрий Ольховский
Yuri Olkhovsky, 3319 Ardley Court
Falls Church, Va. 22041, USA |
| Япония | Госuke Утимура
Higashi-Yamato, Hikarigaoka 10-7
189 Tokyo, Japan |

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу
редакция не вступает.



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

25

**Издательство «Континент»
1980**

© Kontinent Verlag GmbH, 1980

СОДЕРЖАНИЕ

Петр Равич — С похмелья, или Записки контрреволюционера. Сокращенный перевод с франц. Никиты Кривошеина	7
Владимир Голицын — Оттенки на холсте. Стихи	89
Николай Вильямс — Алкоголики с высшим образованием. Картины народной жизни	93
Зоя Афанасьева — Из книги «Метрополия». Стихи	123
Юз Аleshковский — В крысином забое. Отрывок из романа «Кенгуру»	129
МАСТЕРСКАЯ: Стихи Эдуарда Лимонова и Елены Щаповой	147
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Виктор Некипелов — Хлеб и беженцы	163
Ирина Иловайская — Нетерпимость с обратным знаком	173
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Атилла Kovari — <i>Cui bono?</i>	187
ЗАПАД — ВОСТОК	
Егошуа А. Гильбоа — Смысл свободы в современном мире	209
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Лариса Богораз — Мамочки и малолетки	221
ИСТОКИ	
Кирилл Хенкин — Эмиграция или миграция	233
РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ	
Виктор Тростников — Конец эпохи самоуождения	255
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Юрий Мальцев — Промежуточная литература и критерий подлинности	285
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ	
Анатолий Якобсон — О стихотворении Бориса Пастернака «Рослый стрелок, осторожный охотник»	323
НАША ПОЧТА	
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	335
	347

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Н. Д ю ж е в а — Свободным от лжи языком	349
Виолетта Иверни — Актуальные мемуары	351
Виктор Некрасов — Долгая и счастливая жизнь?	355
КОРОТКО О КНИГАХ	359
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	
Борис Парамонов — Бенарес или Мюнхен?	.
О статье Г. Померанца	371
Михаил Агурский — «Сион»	383
НАША АНКЕТА	
Тревога. Разговор с Владимиром Максимовым	389
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	

Петр Равич

С ПОХМЕЛЬЯ, или ЗАПИСКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА

Сокращенный перевод с франц. Никиты Кривошеина

ОТ РЕДАКЦИИ: Ниже мы публикуем записки известного французского прозаика, поэта и эссеиста Петра Равича, посвященные майским событиям 1968 года в Париже. Большинство лидеров и участников этих событий давно отказались от иллюзий и заблуждений своей бунтарской юности. Часть из них вообще отошла от какой-либо политической или общественной деятельности, превратившись в добропорядочных буржуа, аккуратно голосующих за правительственные большинства, — часть, причем наиболее активная, стала на прямо противоположные своим прежним взглядам позиции, называя себя сегодня «детьями Солженицына».

Десятилетие майских событий было отмечено появлением нескольких книг и исследований, в которых ностальгия смешана с чувством «похмелья». Но в 1969 году, когда Петр Равич издавал свой томик, вызывающие озаглавленный «Записками контрреволюционера», книг о миновавших событиях было едва ли меньше сотни, и в них еще господствовал хмель р-р-революционности. Отважно одинокая книга Равича была замолчана, автор подвергнут остракизму — могли бы и линчевать (по крайней мере, в прессе), если бы контрреволюционер не был бывшим узником Освенцима.

Хотя за эти двенадцать лет произошли многие перемены, «С похмелья» не утрачивает своей актуальности, ибо уроки одного поколения плохо усваиваются последующими. Может быть, эта наша публикация заставит задуматься хотя бы некоторых из тех, кто уже в наши дни рвется повторить трагические ошибки отцов и старших братьев.

Сокращенный журнальный вариант.

ЗАКИПАЮЩАЯ ВОДА МНОГО О СЕБЕ ВООБРАЖАЕТ...

Встал, как обычно, около двух и, готовя «утренний» завтрак, спросонья забыл про чайник на плите.

Кипяток пошел пузыриться, булькать, чайник залюлюкал, злобно засвистал; вода была уверена, что со времен с сотворения мира с нею первой приключилось событие чрезвычайное, космическое, сверхъестественное — она вскипела.

— Полно, голубушка! Ничего тут нового.

Я же полночи проторчал в аудиториях и во дворе Сорбонны.

Серж Д. (русского происхождения, философ):

«Запрещено запрещать!» Так они и будут малевать эти красивые слова неделю, две, три, потом устанут. Последний, чуточку менее утомленный, прибавит третью ступеньку: «Запрещено запрещать запрещать...»

И будем мы все плавать в сплошных запретах. Возможно, этот менее утомленный окажется китайцем. А то и самим Мао?

В дворе Сорбонны — портрет Троцкого. И его большого друга Ленина. И их гениального ученика, достойного наследника — Сталина. Портреты господ Мао и Кастро. Но где же изображения Андре Бретона*, Жарри*, Лотреамона*, да уж коли на то пошло, и маркиза де Сада?

Видно, Бретон, Жарри, Лотреамон, Тцара* и маркиз де Сад не гонятся за тем, чтобы красоваться в этих покоях.

* Андре Бретон (1896-1966) — французский поэт, один из основоположников сюрреализма; Альфред Жарри (1873-1907) — французский драматург, предшественник театра абсурда, самая его известная пьеса — «Король Убу»; Лотреамон (наст. имя — Изидор Дюкас, 1846-1870) — французский писатель, сюрреалисты считали его своим предтечей; Тристан Тцара (1896-1963) — французский поэт румынского происхождения, основоположник дадаизма. — Прим. автора для русского издания.

«Язык-вытье», просто вой, одолевает членораздельную речь. Ненадолго. А жаль.

В большой аудитории юридического факультета стриженый ежиком пятидесятилетний господин в очках, говорят, выпускник Экол Нормаль, сочинитель газетных передовиц, телевизионный критик и прозаик (я его не читал, но это ничего не доказывает), отчаянно старается влиться, вписаться в бурлящее коловоращение молодежи. Влезши на трибуну, он подделывается под все шаблоны их мыслей, вернее, не-мыслей, анти-мыслей, биологически растворяется в них. Зрелище не из веселых. Импотент может симулировать оргазм, но не способен испытать его. Взрывчатость и угловатость молодежи он выражает витиеватым, изысканным, округлым языком. Какая пропасть между этой формой и содержанием — ему ведь, чтобы остаться верным себе, надо бы вовсе обойтись без формы... — ...невозможно! Опыт любой ценой хотел бы обернуться неискущенностью — не выходит.

Студент спрашивает, не был ли Бразийяк* «революционером духа». Ответ оратора: «Однажды во время оккупации были расстреляны сто заложников. Мне случайно попалась статья Бразийяка — он считал, что этого мало. Мой друг Дриё ля Рошель — писатель получше, чем Бразийяк, — а нашел в себе благородство и достоинство самого себя покарать».

Александр С. (юрист, политэмигрант из Латинской Америки, пятнадцать лет в Париже):

— Кто не предпочтет студента легавому? Я как все. Предпочитаю студентов. Они красивы, молоды, благородны, трепетны, инициативны, гениальны. Полицейские же — топором скроенные, трусы, подонки,

* Робер Бразийяк (1909-1945) — французский писатель, во время нацистской оккупации сотрудничал с гитлеровцами, после освобождения Франции расстрелян. — Прим. автора для русского издания.

палачи, служат насилию, тем, у кого власть. Как можно выбрать такую профессию??!

При всех режимах мне приходилось иметь дело с полицией. Я охотно рассказываю друзьям о своих злоключениях. Эти воспоминания приятно щекочут тщеславие. Все же я несколько опасаюсь легкомыслия и единодушия, воцарившихся на сей счет.

Пожилая женщина из переулка возле площади Контрэскарп рассказала мне, как рота полицейских не сдвинулась с места, когда студенты плевали им прямо в лицо, швыряли в них камнями и отбросами. Это было на следующий день после одной из недавних демонстраций, и полицейские, вероятно, получили приказ «не поддаваться на провокации».

Коли это правда, то я, ничего не поделаешь, сочувствую полицейским, я против студентов. Против тех, кто плюется, с теми, кто, не пошевельнувшись, сносит плевки. Что, безусловно, не меняет моего отношения к вымогательствам, к побоям, которых, судя по многочисленным свидетельствам, было гораздо больше со стороны полиции, в участках, как по отношению к демонстрантам, так и к случайно задержанным прохожим.

Я привел рассказ старой женщины исключительно в целях «самовоспитания»: не допускать в самом себе безусловной враждебности к каким бы то ни было группам.

Серж Д. (русский эмигрант, философ):

«Мысль Мао...» Я с ней незнаком, и по простой причине: за невозможностью слушать и наблюдать г-на Мао, тем более подвергать его психоанализу, я знаю только то, что он сам написал. Но даже писатели опытнее и тоньше г-на Мао не умеют полностью выразить свои мысли в том, что пишут. А Мао к тому же политик, руководитель партии и государства, уж так ли он стремится обнародовать свои самые сокро-

венные мысли?! Для его же блага надеюсь, что он свои мысли глубоко прячет. Однако, по крайней мере, одна его мысль сквозит во всем, что он заставляет или позволяет делать вокруг собственной персоны и «обнародованных» мыслей: он словно убежден в том, что его мысли бесконечно более интересны и ценные, чем мысли других.

H.:

Мой приятель, молодой китаевед, только что вернулся во Францию из Китая, прожив там два года. Культурная революция в одном провинциальном университете: ждут директив из центра, выполняют их, как умеют, как можно буквальнее. Господин Мао однажды приказал, чтобы каждый студент располагал третью своего времени для прогулок, мечтаний, размышлений... тут же были учреждены: комитет прогулок, комиссия мечтаний... Потом это дело было заброшено. По словам моего приятеля, это единственная директива сверху, оказавшаяся заброшенной.

Не знаю, все ли тут правда — мой приятель может пошутить.

A. P., писатель-еврей:

Во вторник вечером, седьмого мая, на бульваре Сен-Жермен. Левобережье* как будто обезлюдело после вчерашних потасовок. Точно после настоящей битвы. Застывші на своих позициях, полицейские и мальчишки уставились друг на друга остекленевшими глазами. «Ниспровергать» общество? Так оно этого не стоит. Более или менее основательно «ниспровергать» можно лишь само Сущее. Да и то. Но они и ниспровергают Сущее, суть Сущего, думая бороться с дан-

* К сведению русского читателя: левобережье Сены, где находится Латинский квартал, традиционно отождествляется с интеллигентско-политической левизной. — Прим. ред.

ным режимом. Полная, непоправимая слепота человека, который действует или думает, что действует...

Н.:

В крупном издательстве Левобережья, в кабинете одного из главных редакторов. Беспрерывные телефонные звонки. Сочиняют петицию, «манифест» по поводу вчерашней «манифестации», его подпишут все профессионалы-подписанты, все стахановцы подписантства. Споры о запятых и точках. Как писать: «международное движение молодежи» или «движение молодежи стран...»? Иллюзия деятельности, участия в мире... через подписывание. Жалкий эрзац. И все это, чтобы уйти от пустоты, от одиночества.

Абрам С., худосочный, сутулый, в очках. Магистр философии, он в свои двадцать три года уже побывал в марксистах, структуралистах, ситуационистах. Когда начались «события», зачастил в синагогу. Вот философская сказка, байка, которой он меня угостили:

— Жил-был старый, бородатый еврей, весьма, между прочим, почтенный, довольно монументальный, но еще более страстный. Не стоит отрицать, что его сердце знавало любовь. Но еще сильнее была ненависть. Более «гениалоид», чем гений, он придумал одну ловкую штуку, не осмелюсь сказать просто «триюк». Он обнаружил один весьма удобный наблюдательный пункт для изучения некоторых сторон человека, открытие очень поучительное. Но принял часть за целое... При множестве оговорок — на них-то он не скupился, он рассматривал экономические факторы — в этом и состояла суть его учения — как всеопределяющие. Но все-таки, все-таки, что бы ни думать об экономике, не весомее ли факторы био-, физио-, психологические и метафизические? Впрочем, дело не в этом. Речь идет, ты уже догадался, о Карле Марксе.

В его кудрявой бороде появилась блошка по имени Лукач. Она росла, училась и со временем сама стала красивым, почтенным, бородатым евреем. Это был Лукач-марксист.

А в его бороде (да была ли борода у г-на Лукача? — не в этом дело), в его величественной бороде поселилась маленькая блошка по имени Луи Зильбертир («Серебристый зверь»). И она принялась расти, учиться, процветать. И появился Зильбертир,уважаемый философ-«лукачист», человек учтивый, добрый мой приятель. Правду говоря, он безбородый. Главное, что сейчас появляется целый выводок «зильбертиров», они уже почти захватили знаменитый участок между кафе «Флор», рестораном «Куполь» и кафедрой социологии в Сорбонне...

Я рассердился на Абрама С. и его байку. Луи — человек очаровательный, а я не люблю насмешек над моими друзьями. Но Абрам С. старается меня утихомирить:

— Я его люблю так же, как и ты. Зато чего терпеть не могу, так это именных ярлыков: марксист, голлист, фрейдист, кастрист, ленинец, и тому подобное. Что-то неприятное, унизительное в этих идеологических этикетках, школьских кличках. Мой учитель и наставник еще не родился.

«Слова» как карикатура вещей. Язык как карикатура пережитого, бытия.

А что если наоборот?

Или иначе: в чем корни языка?

«Демилитаризованная зона продолжает подвергаться сильному обстрелу. Там строятся крупные военные сооружения».

«Непротивленцы напали на полицию и подожгли несколько магазинов».

«Народные демократии не могут позволить себе риск демократизации...»

Всё из газет, наугад.

Язык тяжело болен.

Суббота, 11 мая. Вчера шли уличные схватки. Постоянные звонки. Все ищут своих, да при «событиях» всякому в стыд собственное одиночество. Даже тому, кто обычно им гордится. Люди жмутся друг к другу, скучиваются... К понедельнику обещают всеобщую забастовку.

Писатель А. Р., еврей: гордыня генерала де Голля уже не знала бы пределов, если к его возвращению из Румынии американцы и вьетнамцы могли бы вести переговоры в замиренной Франции. Это его Бог наказывает за то, что он сделал Израилю. Конец его будет ужасным, как и у всех врагов Израиля...

А. Р.: Люди, люди... Нищие, жалкие, ищащие спасения у таких же жалких нищих, как они.

Мой друг С. Н. (писатель, из русских выходцев):

Бывает, учитель математики задает классу очень сложное уравнение. Отличники, зубрилы мучительно корпят... и не могут решить. А уравнение просто неразрешимо, в данных задачи содержится ошибка. Но авторитет учителя так высок, что никто не смеет допустить этой мысли.

У С. Н. выходит, что учитель — это Бог, уравнение — наша жизнь, а мы — ученики.

Д. У. (промышленник из русских, часто ездит по делам в страны Восточной Европы):

«Долой общество изобилия!» — если быть логичным, это значит: «Да здравствует общество нехватки!» Ничего нет проще — достаточно выписать нескольких экономистов и политиков с Востока...

(Лозунг «Долой общество изобилия!», действительно, прозвучал столь бессмысленно, что через несколько дней был заменен другим, менее абсурдным, но более расплывчатым: «Долой общество потребления!»)

A. P. — все о том же:

Всеобщая забастовка. Посмотреть только на лица этих мудаков, как они задаются на своих сходках. Даже не подозревают, что победа сделала бы их куда более жалкими и безоружными, чем любое поражение. Им невдомек, что единственный достойный и оправданный мятеж — тот, что направлен против Бытия, против Бога (хоть и он бесполезен). «Общественное» вторично. Оно лишь маска. Их сперма, их живые соки целиком определяют их реакции. Заниматься любовью им недостаточно: во-первых, у них это получается хуже, чем у предыдущего поколения, во-вторых, это в наши дни больше не запрещено. Было сделано все возможное, чтобы десакрализовать постель, и, в общем-то, осталась пустота.

Ни автобусов, ни метро. У кого своя машина или хватает денег на такси, ...ликующие катаются, горланя Интернационал. На улицы вышел миллион «смутьянов». Миллион баранов.

Но, добавляет А. Р., я уважаю баранов. Часто бывает, что эти животные ведут себя удивительно. Куда менее по-бараньи, чем люди, участвующие в массовой демонстрации.

Наталья С. (востоковед из русской семьи):

Эти пацаны (да и взрослые) манипулируют марксистскими понятиями, будто имеют дело с предметами значимыми, конкретными, ощутимыми. Будто бы слова «класс», «социализм», «пролетариат», « власть», «демократия» или даже «свобода» и «счастье» обрели четкие семантические контуры, одинако-

вые для всех. Они не желают понять очевидного: зуб может разболеться при любом режиме, и надо уметь его лечить. Можно во многом (не во всем) сравнить университет с зубным врачом, с парикмахером, с хорошим ремесленником. К зубному врачу ходят лечить зубы, а в университет — чтобы усвоить какую-то сумму знаний и методологию... Этим молодым людям захотелось «политики». В добрый час. Против капитализма. За социализм. Но ведь никто из них и не подозревает, что это значит, что это принесло в тех странах, руководители которых обзывают себя социалистами... Все эти «измы», в том числе и структурализм, — как тенета, опутывающие свободу, и так не Бог весть какую, этих молодых умов. Благослови их Господь! Такие молодые, и уже столько «измов».

В свое время я училась в Сорбонне санскритской грамматике, училась читать Веды, не задумываясь о политике. До этого я училась тому же в СССР, в «социалистическом» университете. Неужто я более слепа, чем все эти молодые люди? Санскритские парадигмы — и способ их осваивать — показались мне в общем-то одинаковыми тут и там.

НАСИЛИЕ КАК РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МИФ

Ксавье Д. (судья-пенсионер, старый холостяк, горбун, жуир, большой знаток Пруста):

Насилие — один из мифов революции. Слово звучит прекрасно. Но то, что за ним...

Насилие, о котором речь, которое они провозглашают и восхваляют, в чем же его суть?

Очень нетрудно расчленить это понятие, выделить его составные части. Несколько примеров:

- а) убийства, казни;
- б) изнасилования;
- в) аресты;
- г) пытки, избиения, драки;
- д) каторжные работы;
- е) шантаж;
- ж) разрушения;
- з) вопли, мощные звуковые эффекты;
- и) оскорблений, брань;
- к) высылки.

Может, я что забыл? Но, так или иначе, ни один из этих примеров, из этих элементов меня в восторг не приводит. Предпочитаю честную игру. Никакие обстоятельства, никакие страсти не могут оправдать отказа от нее.

БИОЛОГИЯ (ИЛИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ) В МАСКАРАДНОМ КОСТЮМЕ ПОЛИТИКИ

Ксавье Д.:

Все это поколение (нет, не все, но добрая часть этих молодых людей и девушек) уверено, что обладает истиной, недоступной другим. Может, у всякого человека есть своя истина? Но не в том вопрос. Они ведь и не подозревают, что в эти «революционные» дни они лишь повторяют все тот же балет, расписанную по ролям «историческую ситуацию»... 1789, 1848 годы, русские нигилисты, октябрь или, скорее, март-апрель 1917-го, испанская война и многое еще чего... Все действующие лица этих событий были, как и они сейчас, послушными игрушками в руках Божьих, делали те же жесты, переживали те же чувства... и при этом думали, что они первые.

«Революция» в Сорbonne? Биология, рядящаяся в политику. Эти юнцы не испытали ни своего Освенцима, ни своего Сталинграда. Им страсть как хочется заиметь что-нибудь подобное. Вот они и прыгают, даже не подозревая своей истинной цели. Правда и то, что чем выше поднимается сознание, тем ниже падает «пульс» истории. Здравый ум и партийная деятельность — плохие соседи.

Физиология или биология, нарядившиеся в политику, в историю? Правду говоря, это обычно, но здесь и сейчас это еще очевиднее, еще ощутимее, из-за возраста действующих лиц, из-за того, как они сами носятся со своей молодостью.

H.:

В двадцать лет я тоже жаждал граничных ситуаций, ужасов под рукой, постоянной близости смерти... Можно считать, что история сделала мне царский подарок между 41-м и 45-м.

Еще недавно, когда Мишель А. или какой-нибудь другой двадцатилетний юноша приносили мне рукописи, проникнутые этим страстным желанием, мне становилось стыдно своего гетто, своего Освенцима. Я чувствовал себя миллионером перед лицом бедняка, отвратительным капиталистом, каким-то рантье страданий.

Читаю «Отец», биографию Льва Толстого, написанную его дочерью Александрой: гениальный зануда, монументальный бой-скаут. Толстой, отмечаю это для самого себя, работал, писал и думал за один день больше, чем я за год. Человек определяется количеством. Тем количеством, которое — противоречит обычным законам — идет не в ущерб качеству. Чудовищный эгоист — и никогда не щадил своих сил. По поводу стычек между студентами и властями, он отмечает, что завтрашие угнетатели равняются на нынешних. Толстой мне невыносимо чужд и одновременно невыносимо близок.

COITUS INTERRUPTUS

H.:

В Сорbonne и поблизости от нее он списал следующие лозунги:

«Довольно дел, к словам!»

«Сексуальную свободу в коридорах Сорбонны!»

«Жизнь — это эффект присутствия, и всего лишь эффект присутствия!»

«Запрещено запрещать!»

«Не для того мы рождены, чтобы дохнуть со скуки!»

«Никогда не работать!»

«Превратим часовни в писсуары!»

«Когда последний социолог подавится собственными потрохами, будет кончено с проклятыми вопросами».

«Кто ставит цифру выше фразы — мудак».

«Чем больше я занимаюсь любовью, тем больше мне хочется делать революцию, чем больше я делаю революцию, тем больше мне хочется заниматься любовью».

«Фантазию к власти!»

«Свобода — преступление, несущее в себе все другие преступления. Вот наше тотальное оружие».

«Здравый разум — та рана, что ближе всего к солнцу».

Франсуа Ботт пишет, что «Майская революция была еще и целой политической поэмой»... на стенах Сорбонны и других факультетов.

Все это, безусловно, весьма красиво. Но, покуда не будет пролита кровь, много крови, боюсь, что этой сублимации окажется недостаточно. «Революция без трупов, — говорит один из моих самых умных друзей, — то же, что прерванное совокупление».

Сегодня вечером съел в забегаловке прекрасно приготовленные потроха по-нормандски.

И вдруг ослепляющая, слегка постыдная мысль:

— Несколько дней назад, прежде чем их извлекли из тела молодой коровы или телки, эти потроха были источником, свершением всех любовей, всех метафизик быка, а то и вола, сохранившего тоску по своей мужской кондиции.

«ГРАНИТ ОДИНОЧЕСТВА»

Курт Г., бывший коммунист, немец, сражавшийся в интербригаде. (Живет в пригороде, но хочет быть очевидцем событий, поэтому каждый день доходит пешком до Сорbonны).

У него только одна пара ботинок, и та сильно сношенная. Один, широким шагом, он пересекает Париж. Он горько одинок и держится своего одиночества. Он прислушивается к своему одиночеству в тайной надежде, что в один прекрасный день оно сдаст, — но стыдится этой надежды.

— Весенние улицы, сколько прекрасных, восхитительных блондинок, — восклицает он. — Сколько открытых и щедрых лиц! Но как не знать заранее, что будет потом... Все знают, хоть и не признаются. К чему (и с какой стати?) столько шума, такое изгиление? У молодости всего два выхода: она становится либо смертью, либо старостью.

Голодный, курильщик без сигарет, тот кому не с чем зайти в забегаловку во время бесконечных прогулок, не может участвовать в их революции, да и ни в какой другой. Но кто же в наши дни обходится без этих материальных благ? Правда, я одного такого знаю, но... ша!

Я сую ему сотенную и советую пойти с кем-нибудь выпить, повидаться с общими друзьями. Он взбешенно отвечает:

— И ты советуешь мне разменять гранит моего одиночества на мелочь ненужных встреч, на пятаки невесомых знакомств?

(Что это он, защищается от собственной щедрости? А уж я-то знаю, как он щедр.)

Позвонил мой друг С. Н.:

Он боится ходить по улицам, слишком близко подходить к толпе, из-за того, что у него вид на жи-

тельство лица без гражданства. Самый «революционный» из всех этих студентов, говорит он, временами хочет спать, растянуться в кровати, которую кто-то смастерили, закурить сигарету, кем-то изготовленную, перевезенную, проданную.

С. Н. ненавидит «воцарившийся бардак».

Те, кто не сошли с ума и понимают это, испытывают стыд и чувство вины.

Ксавье Д. повторяется:

Заметно, что они войны не знали. Вот им и приходится создавать нехватку, хаос, для того, чтобы научиться ценить комфорт, еду, изобилие, личную свободу... все это становится в тягость, просто невыносимым, когда существует слишком долго.

В этой обстановке общей тревоги и неуверенности, куда больше отвечающих человеческой природе, чем искусственный «уют» «цивилизованных» городов, все стараются теснее прижаться к тем, кто им ближе к сердцу, ищут «социального» убежища в среде сослуживцев, привычных знакомств. Всем хочется согреться у своих. У кого нет своих, тот отдает себе отчет в подлинности и реальности своего одиночества.

Художник И. Н. рассказал мне о том вкладе, который он собирается внести в «революционную» программу:

а) запретить в Париже автомобильное движение.
Заменить лошадьми;

б) сливать сточные воды и нечистоты в Сену ниже столицы, все набережные Парижа превратить в огромный пляж.

Тогда Париж станет единственной столицей, в которой можно будет жить. В назидание другим городам.

Рабочие заводов Рено станут тренерами по плаванию и конюхами.

Рассказ Раисы, женщины хозяйственной, которой хочется, чтобы все съты были:

Во дворе Сорбонны громкоговоритель транслирует взволнованные речи господина Сартра, этого унтер-унтер-Толстого Франции. Солидарность господина Сартра со студентами не ограничивается «словами». Он тоже будет участвовать в оккупации Сорбонны. Я, — говорит Раиса, — сразу подумала о чисто технических подробностях: дадут ли ему отдельную комнату, будет ли у него ванна, надо ли будет по утрам ему носить бутерброды?

Час спустя я успокоилась, увидев писателя за ужином в «Бальзаре» в компании других левых интеллигентов, сторонников революции.

Рассказ Альехандро, аргентинского анархиста:

Встретил состоятельную даму, увлекающуюся молодежным движением. Она в восторге от внезапного исчезновения всех условностей, подходит на улицах к группам молодежи, чувствует себя помолодевшей.

Дома у нее два хороших транзистора и телевизор. У меня нет радио, и я попросил ее одолжить мне транзистор. Отказалась. «Ты, — говорит, — человек безответственный и можешь кому-нибудь отдать». Я польщен.

H.:

О Солженицыне и его «Раковом Корпусе». Является ли святость категорией и ценностью эстетической?

— Да, если она пронизывает произведение, придает ему исключительную силу убедительности, если она вызывает трепет, которого обычно достигают лишь необыкновенными приемами, особой изысканностью. В языке Солженицына есть «нечто», отличающее художника от журналиста. Это верно. Но, в первую очередь, он — святой. В чем его святость? Пережить то,

что он пережил, быть свидетелем всего того, что случилось с теми и тем, что он любит больше всего, — и не осуждать, не проклинаять. После очередной утраты продолжать любить то, что осталось, вспоминать (или творчески забывать) то, что было. Никакой жалости во взгляде, никакого снисхождения, но сколько милосердия в душе, в интеллекте.

Raisa:

Только что прочла «Раковый корпус» и «В круге первом». Когда Солженицын сидел в лагерях (только что пройдя войну), когда ему трудно было представить себе, что он выживет, еще труднее представить, что он сохранит в памяти и в сердце то видение людей и событий, благодаря которому он сможет писать, Сартр сочинил пьесу под названием «Некрасов». Автор сам сравнивал себя с Аристофоном. В пьесе убедительно доказывалось, что если какому-нибудь сталинскому министру случится исчезнуть... то разве что на время отпуска, в Крым. Некоторые из нас этой пьесе аплодировали. А ведь в то время «Обвиняемый» Вайсберга* уже был опубликован во Франции. Все мы виноваты, все мы несем ответственность за чистки, за московские процессы, за все остальное.

После нескольких недель «контракта», вчера ночью ко мне вернулись лагерные кошмары. Мой классический «еврейский сон», его натурализм, почти фотографичность унижает меня: я в Освенциме, врач-эсэсовец проводит «селекцию». Через час я должен буду оказаться в газовой камере и заранее воображаю реакцию моих легких. Одного вечера в Сорbonne хватило, чтобы вызвать этот сон.

* Александр Вайсберг-Цыбульский (1901-1964) — австрийский физик, коммунист, работал в Харькове, где и был арестован в 1937 году. В 1940 г. передан в руки гестапо. Выжив, написал мемуары о «великой чистке». — Прим. ред.

Во всяком колLECTивизме, во всяком общественном краснобайстве я угадываю, организм мой чует предбанник газовой камеры.

А что, если «объективно» — я прав?

Недалеко от меня, вдалеко не роскошном 15-м округе, ко мне подходят две рабочие девушки, проводящие сбор в пользу бастующих. Поблизости от Оперы (дошел туда пешком) молоденькие активисты движения «Оксидан»* спокойно, слегка застенчиво, продают свою газету. Ни эти девушки, ни эти молодые люди, видно, не привыкли подходить к прохожим.

Бруно Ясенский, польский поэт-футурист, коммунист, ликвидированный в СССР в тридцатые годы вместе с руководителями своей партии, написал в двадцатые годы фантастический роман «Я жгу Париж». В переводе на французский эта книга печаталась отрывками в «Юманите».

В Париже возникает страшная эпидемия чумы. Столица оцеплена войсками, город снабжается с воздуха. В Париже появляются десятки независимых республик, микрогосударств: республика полицейских на острове Ситэ, монархистов в Пасси, интеллигентов и ученых в Левобережье, рабочих в Бельвилле. Развязка не столь важна. Город распадается, показана реакция отдельных людей и классов (обрисованных, насколько я помню, слишком упрощенно) на внезапное стихийное бедствие...

Кабы не забастовка печатников, я бы рекомендовал Галлимару переиздать эту книгу.

«Франс-Суар» сообщает, что книготорговцы продают сейчас детективных романов втрое больше обычного. Продажа «Индустриального государства» Гэлбрайта побила все рекорды.

* Крайне правая националистическая группировка. — Прим. пер.

Ненасытная жажда «событийности» именно тогда, когда людям кажется, что они «в центре событий».

На портретах, висящих в Сорbonne, Мао молодеет изо дня в день. Теперь ему дашь лет тридцать, не больше.

Писатель-еврей А. Р.:

К чему все эти «дни»? К чему вся эта парижская «революция»? К чему эти пирамиды воняющих нечистот перед вокзалом Инвалидов, обычно начищенным до лоска, к чему? Ведь Андрей Белый уже написал свой «Петербург». Все то, что мы переживаем, уже давно известно. История? Монотонные репетиции одного и того же балета, премьера которого никогда на этом свете не состоится.

Н.:

«Все равно, как бы дело ни повернулось, ничего уже никогда не будет, как прежде»...

Только эту бессмысленную фразу я и слышу вокруг себя от молодых, читаю ее в газетах за подписью именитых обозревателей.

Полно, голубчики! Вы здорово ошибаетесь! Все и всегда будет как прежде. Если не как вчера, то уж во всяком случае как позавчера.

Единственное устоявшее чтение — это «Книга Экклезиаста», текст, как говорит Чоран, «полностью удовлетворительный». Это относится и к «Песни Песней».

Н.:

Прочел очень умную книгу молодого советского литературоведа о Салтыкове-Щедрине. Автор будто осуждает время Щедрина именем нашей эпохи, которая кажется мне столь же противной, если не хуже.

Салтыков-Щедрин обличает свое время (крепостничество, лицемерие имущих, погоня за наживой) будто бы от имени какого-то будущего, еще не наставшего века.

Как не признать очевидности того, что обличать можно все эпохи, просто меняется текст обвинительного заключения?

Сколько людей (имя им легион) не хотят признать, что всякая мысль может быть лишь отрывком, частичкой Мысли. И чего-то еще, более важного, чем любая мысль.

Русский граф Григорий В. (долго работал таксистом, к семидесяти годам добился места, более соответствующего его филологическому диплому, — стал помощником библиотекаря):

«Ничего уж больше не будет, как прежде!»

В моменты бесконечно более органичные, подлинные, творческие — болезненные «оны» именно это всегда утверждали (1789, 1848, октябрь 1917, и т. д.)... Данные «уравнения», по которому вычисляется человек, остались по сути все теми же.

Сегодня же, когда они даже не готовы убить миллион людей или взорвать Собор Парижской Богоматери, чтобы показать свою веру (?), они все еще утверждают то же самое. Получается, что их мысли, понятия, теории и должны вызвать решительные перемены. Смехотворность этих притязаний равна их тщете.

В лучшем случае я могу только пожалеть тех, кто считает, что Мессия уже пришел. Не христианин ли я? Поближе к ним приглядеться, так их Мессии всегда предстают то в обличии Сталина, то Кастро, то Салазара, то Тито...

Станислав Игнацы Виткевич, польский поэт и художник, племянник этнографа Малиновского (авто-

ра «Половой жизни первобытных народов»), царский офицер, принял яд в Карпатах в сентябре 39-го, когда узнал, что Красная Армия вступила в Западную Украину и Западную Белоруссию. Давний безнадежный наркоман, он был провидцем, гением, одновременно прелестным и занудным человеком. В 1929 году он опубликовал бесформенный роман о будущем, «Ненасытность». С точки зрения формы этот бредово-поэтический роман содержит находки, изобретения, новшества, которые четверть века спустя принесли славу Ионеско, Беккету, Натали Саррот. Там и много другого можно найти, сама мысль о чем еще не коснулась ничьего ума. Что же до содержания... Виткевич предвидел с точностью, перехватывающей дыхание, главные сюжетные линии истории, зримые элементы цивилизации после Второй мировой войны. Всё там есть: хиппи, битники, ЛСД, распад всех ценностей Запада и — главное — китайская культурная революция, наступление на мир китайского коммунизма.

Покончил ли с собой Виткевич потому, что «видел» будущее? Учゅял ли он, что Гитлер и Сталин — это только предтечи?

Но через пятнадцать лет после его смерти литературная жизнь Варшавы оставалась все той же. Зависть, интриги, пьянки, сnobизм всяческий, большой и малый... Продолжали выклянчивать авансы у издательств (ставших государственными)... «Общественная жизнь» писателей была все прежней. Виткевич вполне бы в нее вписался.

Мне думается, однако, что при самоубийстве он вспомнил Петроград 17-18-го годов. Мерзостное светопреставление, расстрелы, доносительство, убийства, крысы и голод. У него уж не оставалось сил, любопытство пригасло.

Как у некоторых моих друзей в нынешние дни.

Пейзажи Виткевича, его женщины, художники, ремесленники, генералы и революционеры меня за-

вораживают. Как бы мне хотелось раствориться в его книгах!

Сходство между Виткевичем и Белым.

H.:

Мои состоятельные друзья начинают поддаваться страху. В одном из их роскошных «Мерседесов» я заметил пять блоков сигарет, ящик мыла.

Эпитафия:

«Всю свою жизнь он делал меньше, чем остальные, страдал больше».

Пожалейте бедных контрреволюционеров.

H.:

Те, кому кажется, что они действуют, очень горды этим. «В случае чего», их безусловно всех уберут. А они-то об этом и не догадываются.

H. рассказывает:

Мой друг Октав Б., этнограф, психосоциолог и прекрасный врач, только что вернулся из Южного Вьетнама, куда был послан на несколько лет какой-то международной организацией. Ему пришлось покинуть эту страну из-за той материальной, моральной и политической помощи, которую он оказывал Вьетконгу, рискуя при этом жизнью. Тонкость, душевная честность, доброта Октава Б. глубоко трогают всех, кто с ним имеет дело. Его любят, за него беспокоятся — он очень уязвим. Он во Вьетнаме жил очень привилегированно, не любя привилегий, — и стал марксистом, коммунистом.

Он искренне верит и хочет меня убедить, что свобода в так называемых социалистических странах куда подлиннее, чем на Западе. Послушать его — всепроникающий агитпроп в странах Востока наносит личности меньший ущерб, порождает меньше «отчужде-

ния», чем оболванивание масс на Западе, в особенности в Соединенных Штатах, постоянной рекламой, шаблонами, навязываемыми телевидением, кино, большой печатью. Будучи обладателем паспорта, выданного либеральным и богатым западным государством, Октав повсюду ездит и проповедует свои идеи. Несколько университетов оспаривают друг у друга честь предоставить ему кафедру. Правильно делают.

После разговора с Октавом встретился с группой писателей и ученых из Восточной Европы, застигнутых событиями в Париже. Полная паника. Возвращаться или остаться? Разговоры только о паспортах, о визах, валюте, цензуре, пропустят или не пропустят ту или другую мысль, формулировку в статье, в книге. Один из них недавно «избрал свободу». Тут же из библиотек были изъяты его книги, пьесы были сняты со сцены. Разрешат ли его жене выехать?

Для этих людей понятие «свобода» гораздо более конкретно, чем для Октава.

H.:

Мне только что позвонила женщина-финансистка, хитрая, чуть сумасшедшая, блестящая, находчивая, экспансивная, милая, само воплощение сердечности: просит помочь вступить в Объединенную социалистическую партию*. «Завтра они придут к власти. На национализацию земли понадобится несколько месяцев. Хочу успеть продать свои владения. Ну, еще один блядской поступок, понимаешь».

Она сильно напугана. Стараюсь ее успокоить.

— Думаешь, мне страшно? Плевать. Вчера попала в затор, вышла из машины и стала регулировать движение. Все поддались. Революция? к такой-то матери их революции! Нравится им валять дурака, ну и

* Левацкая («гошистская») партия, проповедующая «социализм самоуправления». — Прим. ред.

пусть себе валяют. Гитлера мы похоронили. Не этих же идиотов теперь бояться. Зато, чтобы земли свои спасти, — готова с самим чёртом повестись...

Перестали убирать мусор. Галя, у нее свой дом на Монмартре, рассказала мне, что один хитрый бродяга взялся убирать баки по 10 франков за штуку. Кладет мусор перед дверьми тех домов, которые отказываются выплачивать ему мзду.

В Сорbonne, в Латинском квартале у людей появилась повадка и выражение лица, какие обычно бывают на аэродроме: прямая осанка, никакой суетливости, будто думают о чем-то совершенно постороннем. Эка невидаль... каждый день летаю. Я тут как дома. Получается — подумаешь, для меня революция дело повседневное, я человек привычный.

А для меня каждый полет, каждый взлет — чудо.

H.:

Телефон, газ, электричество всё еще действуют. В моей ванной есть горячая вода, это приятно. Залезаю в ванну и чувствую себя привилегированным.

Тот, кто за счет общей усталости и разочарования восстановит метро, автобусы, поезда, почту, будет принят как спаситель. И метро, конечно же, будет действовать хуже, чем прежде.

H.:

Среда, 22 мая:

Днем на бульваре Сен-Мишель, пожалуй, подлинно стихийная и довольно бурная демонстрация против высылки за границу господина Кон-Бендита. Подлинно интернациональная атмосфера. Заразительная обстановка всеобщей щедрости. Крики: «Уберите деръмо из Елисейского дворца! Вернуть Кон-Бендита!»

Никто не в обиде на него за то, что он немецкий еврей. В свое время в Австрии никто не обижался на Троцкого за то, что он русский, да и еврей впридачу. В Швейцарии и в Англии никто не попрекал Ленина тем, что он русский. Роза Люксембург, русско-польская еврейка, тем не менее считалась немецкой революционеркой.

Какими далекими мне кажутся эти времена! Сталин и его ученики были за «национальные» государства и партии. Можно даже сказать, что благодаря этим мальчишкам из пепла возродился подлинный интернационализм.

Весьма красивые девушки, сидя на плечах демонстрантов, машут черными и красными флагами. Настоящий Делакруа. Хотелось бы поближе познакомиться с этими девушками.

Сидеть на плечах этих молодых людей — какая досада, какое разбазаривание! В виде предисловия, закуски — почему бы и нет, ну а главное блюдо где?

Курт Г.:

Милая Роза, проницательный человек... В споре с Историей она оказалась неправа — все ее теории не привели к появлению какого-либо государства или хотя бы штатного расписания. Зато переспорила Ленина — всё, что она предсказывала относительно бесчеловечной природы его большевизма, полностью осуществилось. Самый похожий портрет Ленина (написанный еще до появления натуры) дан в «Бесах»: это Петр Степанович Верховенский. Тот же слепой фанатизм (я прав, партия права, МЫ правы... на все сто процентов, никогда на девяносто). Тот же беспредельный цинизм в выборе средств... В общем, бедняга Stalin ничего не выдумал. Stalinщина — логическое и неотвратимое продолжение предыдущей главы: отсутствие сколько-нибудь независимой прессы, нетерпимость ко всякой оппозиции, подчиненность судов...

все эти установления Ленина непосредственно вели к великим чисткам, к процессам в Москве, в Праге, в Софии...

Поэт Альбер С., друзья которого говорят, что он увял до того, как расцвести, что он состарился, никогда не быв зрелым:

«Революционные писатели» оккупировали особняк Массá, принадлежащий Обществу писателей, чтобы там проводить «революционную литературную деятельность». Среди них люди, прекрасно владеющие пером, умеющие сочинять эффектные периоды. Они малютят на стенах лозунги, вроде: «Любите друг друга! Творите!», и прочие надписи столь же вопиющей оригинальности.

Либо они просто мудаки, либо я стал живым трупом. Говорят, они в качестве теоретической основы своей деятельности выбрали марксизм-ленинизм. Взяли себе в покровители господ достаточно бесчувственных, представления коих о литературе и искусстве отличаются абсолютной двухмерностью*.

* Курт Г. (был коммунистом в молодости, начитан в классиках марксизма), правда, отмечает, что Ленин неоднократно и вполне искренне признавал свою неосведомленность в эстетике, но зато внес могущественный вклад в создание государства, предоставляющего людям, еще менее компетентным, чем он, практически неограниченную власть во всем, что касается публикации произведений, жизни и смерти писателей и художников. Люди, облеченные этой невероятной властью, выдавали — и выдают себя за «рабочих». На самом деле, они — политики, полицейские, аппаратчики, министры, номенклатурщики. Но даже если бы они в самом деле были рабочими, то неясно, в чем они были бы компетентны, решая судьбы писателей: кого посыпать в лагерь или расстрелять, а кого оставить в живых и откармливать.

Курт Г. добавляет, что если Маркс не создал никакой эстетики, то был все же мастером пера, ему принадлежат страницы очень красивые. Первые абзацы «Капитала» звучат медью, достойной Библии, в отличие от ленинской, чисто журналистской, прозы.

Среди революционеров не было Ионеско, Беккета, Чорана, Жене, Абельо — чему я порадовался. Но крайне огорчился, узнав, что несколько подлинных творцов, несколько друзей, к которым я отношусь с подлинным уважением, оказались участниками этого дела.

Серж Д.:

Митинги как таковые — ничем не оправданная ложь. Чего-то стоящий обмен мнениями (хотя давайте лучше не говорить о мнениях; «мнения», тем более обмен ими — понятия пустые и мало что значащие), стоящий обмен мнениями, душевными состояниями, настроениями, надеждами, навязчивыми идеями, аффективными зарядами (+ или —) может происходить только между двумя. Как только количество участников возрастает, либо застенчивость ораторов мешает им полностью высказаться, либо нахальство, профессиональность побуждают к красноречию, а не к поискам зерна «правды». Профессионалы публичных выступлений более чем нещекотливы в отношении содержания своих речей. Сам принцип «митингов», публичных диспутов совершенно несостоителен. Неизбежное упрощенчество, низведение темы.

Массовые собрания хуже группового секса: они оскверняют душу, а не только тело.

Подлинный диалог следует рассматривать как чудо. Three make a crowd. Общность нескольких может установиться лишь по самому низкому уровню каждого. А то, что арифметически выходит за пределы диалога, в лучшем случае — плохой театр или неудачный цирк.

У этого правила есть только одно исключение: литургия (будь то черная месса, не важно), церковная служба, общая молитва в церкви, синагоге, мечети. Обряды, богослужебные тексты вырабатывались веками.

И всё же те, кто, пребывая в нашем мире, был близок к другим мирам, например, пророк Илия, Магомет, святая Тереза, Баал Шем Тов, Нахман Брацлавский (и несколько других известных и неизвестных), уделяли особое место одинокой молитве, выше всего ценили ее.

Поэт Альбер С.:

Я бы им посоветовал сперва открыть бардаки, на основах социалистических. Учредить профсоюзы блядей, предусмотреть для революционных студенток практикумы в бардаках, создать потребительские кооперативы...

H.,

История — сплошные шаблоны. Язык тоже. Нежели они этого не понимают, те, что суетятся, произносят речи, — или делают вид, что не понимают?

Снова Альбер С.:

Старик Маркс принял часть за целое. Он считал, что поведение человека определяется исключительно экономическими, в лучшем случае, пара- или мета-экономическими факторами. Тут он и влип, поскольку эти факторы, хоть и существуют, но вовсе не главные. В чем же великое открытие Маркса? Что настроение, поведение человека меняются в зависимости от того, есть ли у него денежки или нет... Будто без него этого не знали. Это часто так, но не надо из этого слона делать. Всем собственным оговоркам вопреки, он все сводит к пузу. Он ни в коей степени не видит, не угадывает трагичности, присущей человеческому бытию.

C. H.:

Неудачники всех стран, невезучки всех стран — соединяйтесь!

Я мог бы стать почетным членом такого Ин-

тернационала. Но предпочел бы Интернационал лунатиков.

Давид К.:

Болгарские евреи, мои предки, моя семья, всегда были очень гордыми («штольц»). Избавиться от этой гордости мне было очень трудно. Конечно, я остаюсь гордым, но в другом смысле...

Слушая его, я тут же подумал: «Человек, созданный из праха, человек испражняющийся и, хуже всего, смешнее всего, «мыслящий», воображающий, что «мыслит»; человек — раб физиологии и, еще униzierильнее, раб своей психики — и гордится? Чем? Смешно. Даже звездам, даже минералам нечем гордиться. Люди и светила небесные — жалкие насекомые, которым даже отказано в достоинстве недвижности».

Слава Н., русский политэмигрант:

Они хотят абсолютной свободы и справедливости, не понимая, что это невозможно. Для того, чтобы воцарилась абсолютная справедливость, надо начать с истребления трех миллиардов людей, остаться одному, а потом ликвидировать, удалить 99% собственно-го существа... Зато несправедливость и рабство почти абсолютные вполне возможны. Самый надежный путь к ним — поиски абсолютной справедливости и абсолютной свободы.

Н.:

Вонь на вокзале Инвалидов. Повсюду кучи отбросов. Крысы еще не вылезают наружу, но уже чувствуется их близость, их «засасывающее присутствие». Затыкаешь нос, протираешь глаза. Неужто Париж? Грязища, визг транзисторов... Оркестр помоек, пустой тары, оркестр пока что немой, но готовый грянуть. Захватывающая красота. Желтоватый свет, жирный дым, лениво тянувшийся к небу. Представляю себе

неказанную красоту украинских местечек в перерывах между погромами... Мне рассказывали, что, убивая деревья, господа манифестанты издавали вопли радости и ликования.

H.:

Надписи на стенах: «Де Голль — убийца студентов!». Утверждение чисто клеветническое, но оно соответствует острой, неотложной потребности в мученичестве, «революционной» мечте. Не иметь настоящих мучеников — какое лишение! Дойти до того, чтобы выдумывать фиктивных или, того хуже, второсортных мучеников, — какая жалость! Де Голль — до сих пор, во всяком случае, — студентов не убивал, но многие студенты убивают деревья.

Гастон Д., парламентарий времен Четвертой Республики:

Речь, произнесенная де Голлем 24 мая, разочаровала людей. Но оппозиционеры в своей реакции сугубо не честны. Никто этих бедствий не предвидел. Оппозиция в том числе. Возлагая на правительство ответственность за события не политического, а метаполитического характера (коллективный психофизиологический взрыв, влекущий за собой политические последствия), оппозиция бьет ниже пояса. Но таковы правила игры. Будучи на месте Миттерана и Мендес-Франса, генерал де Голль так же вел бы себя по отношению к ним.

Клод В., фармацевт:

Рассказывают, что демонстрации по всему Парижу, размах невероятный. Вчера у биржи собрались девушки в мини-юбках, студенты юридического факультета, молодые люди из «хороших семей», до сих пор считавшихся «реакционными». Биржу они подожгли, вздрючили красный и черный флаги, кото-

рые так там и реют. Крики, сутолока, взрывы песен.

Эти ярмарки истории регулярно повторяются. Как месячные у женщин. Хоть я ничего не понимаю в истории экономики, мне кажется, что периоды уничтожения материальных благ запрограммированы и имеют такое же значение, как периоды высокой производительности. Трудящиеся не устраивают революций, этим занимаются обаранившиеся интеллигенты, пытающиеся побороть свое одиночество.

Папенькины сыночки и дочки, собравшиеся на Бирже, — против своих папенек, но главное, против себя самих. Им обрыдло быть самими собой, и они рядятся в агитаторов, в активистов, в борцов. Душно, воздух насыщен зловещим электричеством.

Милая, ласковая, спокойная студенточка примчалась ко мне, чтобы объяснить, что всеобщие выборы — сплошная глупость. Право голоса следует представлять только «сознательным».

— А кто же определит чужой уровень сознательности?!

— Очень просто, голосовать будет только молодежь, до двадцати пяти лет. Ну и — только сознательная молодежь.

Н.:

Прекрасная Ф. Л. продолжает «действовать», вернее, суетиться. Ей хочется утешиться, потому что она не участвовала в испанской войне. Она тогда еще не родилась. Это неугомонное поколение (а может быть, все поколения таковы же?) дарит себе подделку «больших событий». Но, поскольку обходится без кровопролития, остаемся при «прерванном совокуплении».

H.:

26 мая в Латинском квартале. Все тот же призрачный, желтоватый, предсумеречный свет. Поломанные светофоры, разбитые фонари. И баррикады. Студенческие кордоны с одной стороны, с другой — полицейские. Начало братания, болтовня, обмен сигаретами. Баррикады все еще на месте, но эта передышка превращает их в анахронизм, вроде музейных саркофагов. Армейские грузовики разъезжают где хотят. Зеваки делают снимки на память.

Посмотрел «Сумерки» — последний фильм Бергмана. Наконец-то что-то серьезное, по-настоящему меня затрагивающее — в отличие от баррикад. Помоему, это не лучшее из того, что снимал Бергман, но речь все же о настоящем: любовь, смерть, зарождение Бытия. И море. Как хотелось туда окунуться. Ходить в кино, говорить о Бергмане — для некоторых моих друзей почти провокация, «контрреволюция».

H.:

Крики газетчика на бульваре Сен-Жермен: «Во Франции еще есть свободная пресса! Не упускайте времени!». Он сам не подозревает, насколько он прав.

А другой парень торгует экземплярами «Аксон» и «Анражэ»: «Покупайте эти газеты, над которыми льют слезы ментовские мамы! Вся правда о романах Кон-Бендита с принцессой Фабиолой!»

Тут несомненна известная задористость, насмешливость,ственные революции 1848 года. Но тогда не было телевидения, радио, телефона, самолетов, машин, вычислительных устройств и других орудий тоталитарного господства.

«МЫ ВСЕ — НЕМЕЦКИЕ ЕВРЕИ».

«Мы все — немецкие евреи» — так вчера кричала толпа во время демонстрации против высылки из Франции молодого немецкого еврея, господина Кон-Бендита.

В этом лозунге — безусловное проявление щедрости. И ностальгии, жажды отсутствия корней. Я знаю одного немецкого еврея, первая реакция которого была: «Много о себе возомнили».

«Кто из этих молодых людей побежал прямо с демонстрации делать себе обрезание?» — очень кстати спросил Арнольд Мандель. А я бы добавил: «Кто из них взялся за изучение Талмуда?»

Мой друг А. З., сионист, сражавшийся во время последней войны в израильской армии, говорит, что, когда толпа стала выкрикивать этот лозунг, он находился в группе арабов и африканцев. Они минуты две не решались присоединиться: слова эти не проходили через глотку. В конце концов подключились.

***НЕНАВИСТЬ К САМОМУ СЕБЕ, СВОЙСТВЕННАЯ ЗАПАДУ,
КАЖЕТСЯ, НЕ ЧУЖДА И ГОСПОДИНУ САРТРУ***

E. C., историк:

Не устану восхищаться нашими великими людьми. Говорят, Сартр в претензии на коммунистов за то, что они не захватили власть во Франции в 1945 году, когда, он считает, это было возможно. Самоотречение, дух жертвенности нашего великого мыслителя поистине примерны. Все это достойно древнего Рима. Но знает ли Сартр, что в коммунистической Франции 45-го года (страна безусловно была бы сталинским сателлитом) ни одно его произведение не появилось бы? Следует ли думать, что обязательный соцреализм заполнил бы образовавшуюся пустоту? «Коммунисты и мир», это проникновенное эссе Сартра, в котором он обличал провокации шведской военщины против сталинской России, и то бы не напечатали. Ведь это очевидно.

Сартру не пришлось бы даже помочь популяризации Жана Женэ, большого поэта (по-моему, это был самый значимый поступок в его общественной жиз-

ни), по той простой причине, что цензура не пропустила бы Женэ.

Но поэзия — это еще не всё. Политически дела пошли бы еще того лучше: несколько процессиков в Париже, совсем как в Москве или Праге. Господ Андре Марти и Огюста Лекёра не просто исключили бы из партии — они признались бы в тяжких преступлениях, и их, как положено, расстреляли бы. И сегодня мы были бы свидетелями чудотворных реабилитаций!

Можно полагать, упреки коммунистов в адрес господина Сартра в том, что он — агент то ли Интеллидженс Сервис, то ли ЦРУ, во всяком случае, если мне память не изменяет, агент империализма, имели бы довольно неприятные последствия для здоровья этого блестящего мыслителя.

Господин Сартр слишком хорошо информирован для того, чтобы всего этого не знать. И все-таки... он оплакивает упущеный случай. Величие духа поистине римское.

А что, если это ненависть, ненависть к самому себе? По правде говоря, это возвышенное чувство все время проскальзывает в замечательной его книге «Слова».

Е. С. становится серьезным: ненависть Запада к самому себе — во многом объяснение того, что мы сейчас переживаем.

М. П., итальянский художник, был вчера вечером задержан и провел ночь в отделении. Показывает синяки на спине и на ногах. Послушать его, посмотреть на него — обрабатывали его основательно. По его словам, мусора насилиют студенток в отделениях.

М. П. купил на бульваре Сен-Мишель красные брюки и разгуливает, как на маскараде. Он счастлив участвовать в этом затянувшемся «хэппенинге».

М. П., на закате дней своих торгующий пиццей, — сам ходячий хэппенинг.

Кристофи шесть лет, его мама ходит с ним на демонстрации. Татьяне семь лет. Я устроил их флирт, свел их, согласившись их понянчить в сквере Св. Юлиана Ницкого. Кристоф ослеплен Татьяной; Татьяна ослеплена ослеплением, которое она вызывает у Кристифа.

Кристоф: — А на баррикадах ты была?

Татьяна: — А как же, забиралась на самый верх.

Кристоф (несколько растерянный): — Полиция — гестапо!

Татьяна: — Конечно, но власть в наших руках!

Гастон Д. (промышленник, бывший депутат):

«Вся власть рабочему классу!» «Вся власть трудящимся!» Но как это происходит? Рабочий, получив власть, первым делом пользуется ею, чтобы избавить себя от работы, перестать быть рабочим. Противоречие в себе. Или рабочий, или правитель. В лучшем случае, правитель из рабочих — от этого, поверьте, ничего не меняется... Но не могу себе представить, что человек, вкалывающий целый день в цехе, мог бы еще вечером управлять государством.

«Власть — рабочим!» А почему? Маркс утверждал, что они носители судеб человечества, что они призваны властвовать, так как им нечего терять, кроме своих цепей. Даже для того времени это было ложью: рабочие, как и все другие люди, могли при Марксе потерять ногу, жизнь, хлеб насущный, кров (будь то в трущобе), лишиться любви близких людей. В наши дни это утверждение еще лживее... Даже не говоря о машине, холодильниках и отпусках.

Главное: почему это человек, которому нечего терять, способнее властвовать, чем еще кто-нибудь? Доводы подтасованы.

Почему бы не придумать столь же необоснованные причины для любой другой профессии?

Всю власть блядям! — Им ведомы слабости человеческие, их профессия быть добрыми.

Всю власть бухгалтерам! — Они с цифрами обращаться привычные и умеют наводить грим на экономическую действительность, а сами при этом остаются как бы объективными.

Вся власть художникам! — Ведь красота спасет мир.

Вся власть ученым! — Так советовал Платон, а он знал, что говорил.

Вся власть священникам, балеринам, актерам... Если бы Марина Влади выдвинула свою кандидатуру, я бы голосовал «за» и постарался бы стать ее старшим референтом.

Так почему же приписывать рабочим мессианскую роль? Почему думать, что им назначено решать судьбы всего человечества?

Уверяю вас — и, поработав в промышленности, знаю, о чем говорю, — что, как только человек, таскающий на спине мешки с цементом, добивается хоть малюсенькой власти, его первая забота — больше не таскать мешки. Пусть мешки другим достанутся. Это легко понять. Это человечно. Как бы ни невероятно это показалось Марксу, этому старому маньяку, ослепленному ненавистью, или Владимиру Ульянову-Ленину, который напрасно бросил место присяжного поверенного, — рабочие такие же люди, как вы да я. Не ангелы, не бесы, а люди...

«Диктатура пролетариата?» Одно из двух: пролетарий или диктатор. Дай пролетариату хоть на минуту подиктаторствовать, его первой заботой было бы перестать пролетарствовать и найти других на свое место. Неужто диктатор — экс-пролетарий — окажется человечнее, «милее» любого другого диктатора? Вряд ли, вряд ли...

Ваши друзья из кафе «Флор», милостивый государь, левые интеллигенты парижского Левобережья, даже не удостоят вас ответа, если вы только осмелиетесь повторить им мои доводы. Человек согласится, чтоб его выпотрошили, только бы не отнимали привычных мифов. До скорого...

Н.:

Беспорядки в Швеции. Маоисты оккупируют университетские помещения. А как же иначе: шведская лже-демократия не может больше обойтись без усовершенствований на китайский манер. Шведский пролетариат обречен на нищету, затюканная шведская молодежь страдает от удушливого пуританизма родителей. Они жаждут освобождения, сниспосланного господином Мао.

Н.:

И ежу ясно, что общественно-политический режим — это как бы уборная: лишь бы прилично действовала, поменьше воняла (вонять, хоть чуть-чуть, все равно будет). Идеализировать режим, восхвалять печальную необходимость жить сообща и более или менее организованно, впадать в восторг перед несбыточным сортиром, в котором деръмо отдавало бы розами... какая ерунда!

Снова промышленник Гастон Д.:

Народное правительство? Нет, одно из двух: либо ты правительство, либо ты народ.

Поль С., хирург в больнице:

Реформа программ, предлагаемая студентами медфака, далеко не глупа. Но соотношение хороших врачей и коновалов всё равно осталось бы прежним. Ко мне пришли первокурсники и попросили им дать поработать в больнице. Моют больных, делают уколы, уто-

пают в дерьме. Учатся этому у медсестер. Психологически, морально — это хорошо. Когда я пришел в больницу с дипломом, я уже все это умел, я прошел и опыт работы санитаром и многое чего другого. Так что мне нечему было учиться у «технического персонала», я оказался высшим существом, сам того не желая. Никакого взаимообмена. Парил в «высших сферах», не собираясь парить... А сейчас поначалу получается общность судьбы. Будущие врачи учатся ценить труд медсестер. Друг у друга учатся. Почему бы и нет?

Поль С. рассказал, как один светоч медицины, слегка уже замшелый профессор, произнес перед своими ассистентами пламенную революционную речь, часа на четыре, после чего его пришлось свезти в психушку. Бедняга!

Русский писатель С. Н.:

Что коренные французы купаются в этой эфемерной «свободе», куда ни шло. Но нам, которые «оттуда», нельзя не знать, что с собой несет эта разнузданность — настоящее рабство. Когда французы говорят: «У нас будет не как в Китае или в славянских странах», — они и тут проявляют шовинизм и манию величия.

Курт Г.:

Сталинщина?

Это систематические, неустанные усилия с тем, чтобы искоренить, ликвидировать всякую непосредственность, всякое пополнование на непосредственность. С тем, чтобы заменить ее лже-непосредственностью, неким суррогатом. Добиться от органической материи поведения материи неорганической. И чтоб в то же время материя провозглашала, делала вид, что она осталась живой. Безграничная детерминированность...

Но кто же на Западе в силах это понять, представить?

Польский кинематографист Н. Н.:

«Они» хотят ликвидировать Каннский фестиваль в его теперешних формах. «Они» хотят избавиться от профессионалов, актеров, специалистов. Просматривать картины должен народ — его верное чутье распределит лавры. «Они» не знают, что пресловутое «чутье» неизбежно приводит к нашему Министерству культуры. Ты же знаешь и Москву и Варшаву. Красивые здания, кабинеты, референты, дела. Машинистки, вахтеры. Аккуратный, усатенький господин произведен в чин «народа» и почитается носителем «чутья народных масс». Само собой, что права у этого господина куда шире, а компетентность куда ниже, чем у традиционных жюри...

29 мая. В гостях у промышленника, барона де В. «Генерал тю-тю. Ничто его уже не спасет. Надо придумывать, как бы перевести деньжат в Швейцарию, чтобы не помереть там с голода. От Франции больше нечего ждать. Шифровальщики и связисты Министерства внутренних дел забастовали. Это конец».

— А если генерал все же выпутается...

Барон де В.: «Не может того быть. Никто его больше не слушается. Это было бы чудом, а чудес не бывает. Несколько месяцев тому назад ко мне приходили из Объединенной социалистической партии просять денег на избирательную кампанию. Отказал. А теперь они приходят к власти. Нечего мне больше делать в этой стране».

Аврора, занимается астрологией:

В Париже было уничтожено семьдесят два дерева (что означает великое имя Бога, произносимое единожды в год первосвященником в Прошеный день, в Святая Святых).

Фамилия полицейского комиссара, убитого в Лионе, — Лакруа (Крестов). Это всё знаки свыше, их

очень много. Вряд ли всё это чистые совпадения. Аврора сосредотачивается и молится за Париж, «город, приютивший эмигрантов, беглецов, всех потерпевших крушение».

Аврора:

Я снобка. Мой снобизм — это Бог. Как же ты хочешь, чтобы я воспринимала себя зависимой от людей и от того, что они считают «событиями». Бог — вот единственное стоящее приключение. Или недоразумение. Кстати, Он и то, и другое.

Аврора очень хороша — холодное, точеное, застывшее пламя.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «РЕВОЛЮЦИЯ»

Серж Д.:

Две (или несколько) мощные группировки убивают друг друга или стараются это сделать. (Бывает, что отдельные личности стремятся быть убитыми, но это скорее редко.) В таких случаях говорят, что это «война», и принято быть против войны — кроме случая, когда «цветные» убивают белых или даже одни «цветные» — других, лишь бы «прогрессисты» убивали «реакционеров». (Если бы Израиль повел себя по отношению к «своим» арабам, как Нигерия по отношению к «своим» биафрийцам — какая бы шумиха поднялась!) Революция же... В наше время модно ее прославлять, хотя она и схожа с войной. Еще школьником я испытывал явную антипатию к якобинцам, они мне казались напыщенными фанатиками, убежденными, что у них монополия на истину, готовыми убивать других (и друг друга) во имя этой истины, которая мне, двенадцатилетнему мальчишке, уже представлялась куцей.

Существует целый ряд классических определений понятия «революция». Серж Д. предлагает еще одно:

«Армия напыщенных и глупых чиновников заменяется еще более многочисленной армией чиновников, еще более напыщенных и глупых. Замена сопровождается множеством убийств и грабежей. Те, кто во имя какой-нибудь революционной идеи позволяет себе убивать противников (или якобы противников), вскоре же начинают убивать друг друга. Стадии убийств всегда предшествует короткий период как бы братства, великодушия, воодушевления и энтузиазма».

Определение, безусловно, неполное, но Серж считает, что оно отражает самое существенное. Каноническая формулировка: «Один класс отирает власть у другого» — согласно Сержу, лишена всякого смысла. Обладание властью — оно-то и наделяет власть имущих характером и обликом, превращая их в класс. В любом обществе у власть имущих те же рефлексы.

Альбер С.:

Космос? Бытие? Да нет, просто Ничто, переряженное в космос, в бытие. И переряжено-то так себе...

Но что это за маскарад? Да это мы его устраиваем, мы сами, люди, с нашими «мыслями», ощущениями, пристрастиями. Вообрази себе полет жаворонка в четыре часа утра над оледенелыми полями! Любовь — вот наиболее мерзкая пакость, самая отправленная шутка, сыгранная Богом с человеком, с миром органическим, да наверняка и с так называемыми неорганическими мирами. Припомни пенье жаворонка перед рассветом!

Увлечения, обряды, математика, тысяча миллионов масок, тысяча миллионов спектаклей. А вокруг нас лишь Ничто, переряженное (так себе) во вселенную. Лишь Смерть, играющая (так себе) роль жизни.

Две подружки, которые забавляются, притворяясь лесбиянками. Одна из них рассказывает, что вторая

всегда ходит с ней на демонстрации и митинги, если они опасны. «Почему? Ведь она не то что я, в Революцию не верит...»

H.: Из любви, из любви к тебе...

Дама № 1: Политикой занимаются не из любви, а по убеждению.

H.: Ошибка. Даже математикой занимаются по любви. Если математику приходится выбирать между двумя одинаково вероятными решениями, он предпочитает то, которое начинается с той же буквы, что улица, на которой живет любимая женщина.

Дама № 2 (та, что сопровождает) дуется. Она не согласна. Она уверяет, что «верит в Революцию».

«Отдавайтесь друг другу!», «Наслаждайтесь!», «Да здравствует порнография!»

Надписи, огромными буквами намалеванные на стене богадельни.

Лозунг в Сорbonne: «Пишите что попало!» (А как прикажете поступать неграмотным?)

Когда он оказался на Западе в 1946 году, он был уверен в эфемерности всякого социального порядка. Ему казались болванами те французы, которые — веря в собственность — держали акции, следили за биржей, стремились «округлить капитал», начинали карьеры, рассчитанные на пятьдесят лет в «солидных фирмах», в «бурно развивающихся предприятиях», ведь он пережил Октябрь, гражданскую, прошел университеты при Сталине и Гитлере. Ему понадобилось лет двадцать, чтобы избавиться от этой уверенности в неустойчивости учреждений, считающихся основополагающими. А то, что происходит теперь, все эти события как бы показывают правоту его тогдашнего ощущения, его самого, молодого.

H.:

Попробуйте представить себе революцию без курева. Потребление сигарет огромное, производство — ничтожное.

H.:

В аудитории Сорбонны греческий философ воспевает красоты самоуправления предприятий. Африканский живописец рассуждает об ответственности художника. Пожарник-пенсионер требует, чтобы всех двенадцатилетних девочек в обязательном порядке лишали девственности. Слова «рабочий класс», «трудящиеся», «революция», «угнетение», «как сказал Маркс», «как сказал Ленин» повторяются бесконечно, создается гулкое звуковое месиво, лишенное всякой семантической нагрузки. Ни у кого не хватает мужества объявить себя контрреволюционером. Да никому и не хочется.

Внезапно оркестр ударяет оглушительную увертюру. Это музыканты известного кафе-шантана. Сорбонна превращается в кабак.

Потом все встречаются в дорогом ресторане «Бальзар». Несмотря на перегрузку, официанты по-прежнему учтивы и подают быстро. Еда превосходная, цены рассчитаны на доцентов и завотделов больших издательств.

Завтра — гражданская война, осадное положение? Ну и пусть. А все-таки: после мимолетных заурядных радостей — какая грусть, нет, какая грусть, емче цеплого мира!

ЛСД В ИСПОВЕДАЛЬНЕ

Бриджитт:

Около двух месяцев прожила с убежденным «ситуационистом». Парень был мудаком (как и все его

единомышленники), но достаточно забавным. К тому же у него были богатые родители, а мне некуда было податься. Он каждый день ходил исповедоваться, предварительно нажравшись ЛСД. Рассказывал свои галлюцинации священнику, все одному и тому же, который и не подозревал, что человек в хумаре, и пребывал в полной растерянности. В каком-то городке парня забрали. Каждый день приносила ему по цыпленку, а прежде, чем сварить, начиняла наркотиком. Надзиратели крали кто крыло, кто ножку... и не понимали, что с ними происходит. Вся тюрьма рехнулась... Парня выпустили, но я его бросила, нашла получше.

Услышано на студенческом митинге:

Полиция прибегает против нас к тем же методам, что и американцы против вьетнамцев. Скоро мы учредим народный суд и привлечем ответственных за эти преступления против человечества...

Стоило бы написать диссертацию о роли преувеличения в истории.

H.:

Левобережье кишит молодыми людьми в шлемах, размахивающими дубинками. Правда, вид у них — не агрессивный.

Возле Сорбонны студенты регулируют движение с очень серьезным выражением, но им не удается скрыть радости и наслаждения, которые они испытывают. Неужто человеку настолько необходима хоть смехотворная частичка власти и ее достаточно, чтобы быть опьяненным? Необходима всем без исключения или только определенной категории людей?

В Бжезинке (одно из самых крупных отделений Освенцима) чистильщики уборных внутренне переходили на сторону начальства и презирали толпу. Правда, им дозволено было убивать как осаждающих уборные, так и тех, кто, по их мнению, там задерживался.

Дени М. (преподаватель литературы):

Франции необходима власть, а то бедное Ниспровержение почивает ограбленным. Да нет, я недостаточно жесток, чтобы заняться напрашивающимся ниспровержением ниспровержения или его само заставить себя нисровергать. И букашке жить хочется.

Подобно лейтенанту, жаждущему капитанских звездочек, Ниспровержение тайно уповаёт достичь ранга «Отрицания».

Но сколь жалкое зрелище: пустота, извиваясь, пытаясь превозмочь себя, хочет вцепиться в другую пустоту, сожрать ее. Безусловно, кончится тем, что саму себя за хвост укусит.

Волк — зверь скорее ласковый, щедрый и рыцарственный. Вопреки общераспространенному мнению, волки друг друга не пожирают. Когда двое волков сражаются — побежденный в знак сдачи протягивает горло победителю. И победитель всегда отпускает его.

Голубь — птица жестокая, кровожадная, способная медленно, хладнокровно заклевать более слабого голубя.

Читаю книгу австрийского зоолога Конрада Лоренца о поведении животных.

Налицо все реакции людей. Если не во всем, то хотя бы в главных, основных реакциях, а все остальное — лишь развитие и продолжение.

Элен С.:

Мужественность их была сомнительна, сами длинноволосые, а девушки их стриженые и в джинсах. На улице бывало трудно различить их пол.

Они принялись сносить столбы, сооружать баррикады, бить легавых... на глазах у своих девиц, дабы продемонстрировать им, что они мужчины. Латинский квартал охвачен волной эротики.

Совместно выкрикиваемые лозунги служат противоядием одиночеству.

H.:

В результате речи Генерала в субботу 1 июня начинают появляться признаки «нормализации». У меня нет транзистора, но, судя по тому, что мне рассказывают по телефону, — «наверху» считают, что «бунт подавлен». На горизонте вырисовывается колоссальное, космическое похмелье. Меня охватывает волна сочувствия и нежности абсолютно ко всем.

Еврейский писатель И. З.:

По отношению к худшему из моих убийц, к самому окаянному из моих врагов у меня остается достаточно любви, чтобы горька мне была его неудача в покушении на меня, чтобы мое «торжество» или «спасение» были мне горьки.

Я записал эти слова год тому назад, на следующий день после Шестидневной войны, единственного исторического события после Гитлера и сталинских чисток, при котором мне было дано сердцем и плотью отождествиться с одной из сторон.

А теперь эти молодые люди, эти рабочие, которые, сами того нее подозревая, стоят на пороге страшного разочарования (каков бы ни был политический результат их суэты), мне близки, как младшие братья. Знакомство с историей протекает в муках. Как и знакомство с любовью. Однако я к истории не испытываю ни малейшего уважения. Однообразно и неизменно она составлена из одних и тех же элементов. Меняются ярлыки, но функции и роли остаются. Ничем не занимательный и дурной маскарад. Как ни называть группу вооруженных людей: «государственной полицией», «рабочей милицией» или «революционными повстанцами», — роль, поведение, психология этих

людей остаются одинаковыми, либо довольно скоро приходят к общему знаменателю.

«Принимайте свои желания за действительность!»

Что бы сказал убежденный буддист на эти прекрасные слова? Наверное, возразил бы: «умерщвляйте, душите собственные желания».

Стоик или поумневший от ударов моралист сказал бы: «Принимайте действительность за свои желания!»

А я?

— Между Тобою и мною, Господи, Ты поставил изоляционный слой называемый «действительностью». Ты сделал меня со-творцом «действительности», навязал мне эту отвратительную работу. И «действительность» гложет нас обоих, въедается в нашу плоть, подобно ненасытной ржавчине.

Во время передышки, на улице Левобережья:

— Любая неподвижность есть лишь застывшее копошение. Любое молчание — лишь вой в застенках, вой, заглохший на пороге звучания.

Жюльетта Ф., молодая пианистка:

Какофония, возведенная в правило поведения, в единственную признанную философию, исключающую все остальные, — вот суть этого периода, мая-июня 1968-го г. в Париже. Какофония, претендующая на то, что она — выражатель ненависти и любви.

Но как быть тем, кто не любит сильных акустических эффектов? Тем, кто отдает предпочтение тишине и вежливости? Господа нисровергатели, кажется, забыли о существовании людей, не терпящих шума.

Суббота, 12 июня. Сорbonна. Г-жа А. В. (преподавательница в лицее):

В уменьшенном масштабе, как бы в маленькой модели, дух Керенского начинает сдавать перед духом

Ленина. Физическое ощущение свободы, всеобщей непосредственности и разнужданности уступают место «дисциплине», жестокой и неуклюжей, еще не смеющей назвать себя и механично подражающей жестам двухнедельной давности. Господин Кон-Бендит собирается в одиннадцать вечера устроить пресс-конференцию в Большой аудитории. А начиная с девяти — «свободная дискуссия» под председательством толстого, бородатого, немытого студента, лишенного минимальной вежливости. Фатоватый мудак, смахивающий на унтера. Трубным голосом он читает «письма трудящихся» — его никто не слушает. Окруженный кучкой морд, вооруженных дубинками, он, очевидно, принимает себя за Ленина, вернее, за «революционного комиссара». «Охрана» прямо-таки злобная. Куда же делось это физическое ощущение братства, существовавшее две недели тому назад? И вправду март и апрель 17-го года в сжатом масштабе уступают место октябрю. «Товарищи, запрещено занимать места в первых трех рядах, они забронированы для печати!.. Да, товарищи, в одиннадцать наш товарищ, наш руководитель, наш любимый вождь Кон-Бендит будет выступать!».

Жирный бородач, конечно, раздражал меня, но был по-своему, безусловно, образцом той желчности и озлобленности, которым удается стать необходимыми для грязных дел. Рано или поздно такие люди неизменно появляются в окружении «трибунов», провидцев, вождей. Можно ли считать господина Кон-Бендита лидером и трибуном? Не стала дожидаться его появления и убежала из этой аудитории, в которой нечем стало дышать.

H.:

Рослая светловолосая девочка (твердые бедра, гордые груди, огромные, до неба, ягодицы, глаза большие, до пояса) медленно идет по заболоченному

полю и сеет. Сумерки. Мне хочется приоткрыть покровов и войти в нее, погибнуть в ее объятиях. Эти жесты сеятельницы меня завораживают. Зерна — черные. Девочка проходит, исчезает в тумане. Живет она совсем близко, в озере, которого не видно.

Восходит урожай: каждое зерно прорастает черным, бархатистым, переливчатым крылом, вопиющим (молча) об отсутствии своего носителя, «теоретической птицы», очертания и названия которой мне неизвестны... Но где-то в тумане, напоминающем простоквашу, слышны глухие крики птицы. И огромным, трепещущим, сиротливым, черным крыльям удается скрыть небо над болотом.

H.:

Г-н Кон-Бендит агитировал толпу на вокзале Аустерлиц. Намекал на выкрики, будто бы раздавшиеся три дня тому назад во время «благомыслящей» манифестации на площади Согласия: «Кон-Бендита — в Даахау!»

Выкрики отвратительные. Но лучше бы господин Кон-Бендит предоставил говорить об этом другим.

Жаклин Пиатье опубликовала в качестве литературного приложения к «Монд» две полосы революционных текстов, взятых из архива Революционного Комитета Культурного Фронта (при Сорbonне).

Редакция уточняет, что авторы этих текстов «либо сами хотят оставаться анонимными, либо это установленное для них правило, которое они охотно соблюдают». Урожай довольно богатый, и некоторые из этих текстов мне достаточно близки. Но так ли уж охотно авторы придерживаются принципа анонимности?

В Сорbonне, в ресторане «Бальзар», на факультете Сансье семь-восемь молодых писателей «по секре-

ту» сообщали мне, что они — авторы стихов, появившихся в «Монд».

Простая арифметика показывает, что по крайней мере половина из них принимает свои жалкие желания за действительность. Явление, соответствующее моде.

H.:

Снова появился бензин. Франция вновь обрела свои кошмарные «тачки». Люди водят очень грубо, чтобы утешиться после периода разлуки с баранкой. Сесть за руль равносильно политическому поступку. Легко распознать голлистов — нынешних «триумфаторов». Они едут напористо, резко, с напускной уверенностью, мне столь чуждой. С. утверждает, что правительство сознательно создало нехватку, чтобы теперь, после недавней речи главы государства, вновь открыть краны, вернее, колонки. Так или иначе, «голосовать» на улицах — уже не доблесть. Мне отныне невозможно хныкать перед жалостливым водителем (а еще лучше водительницей) о злосчастной судьбе моего некормленного «кадиллака». Метро же не ходит — пятки вспухли и болят. Но как оставаться в 15-м округе, когда на моей приемной родине, в Латинском квартале и возле Сен-Жермена, столько «событий»?

H.:

Какая толпа ночью на бульваре Сен-Мишель! Но толпа *другая*. Те же люди, те же парни и девушки, но теперь они уж не отдаются заманчивому и головокружительному будущему. Они переваривают и пережевывают опыт последних дней. Как зрители, выходящие из кино после приключенческого фильма. Сами они — этот фильм, и лента, и зрители. Просыпание после коллективного оргазма, душное пробуждение. Сколько прелестных блондинок, длинноволосых, расстрапанных. Празднество юной плоти, на котором чувствуешь себя незваным.

В два часа утра улица Мишле, позади Люксембургского сада, — зияющая пустота. Встретил Б., молодого актера, и его подругу. Он до сих пор был очень активен и «принимал участие» во всех событиях. «Надоела мне вся эта кутерьма, — говорит он, — хотелось спокойно посмотреть на деревья, больше не видеть людей».

Н.:

Милая Беатрис В., чахоточная, вялая красавица, с пшеничными волосами, похожая на готическую мадонну, которая годами выгуливает свой сплин между все теми же тремя-четырьмя кафе Сен-Жермена. Знаю, что мало кто из завсегдатаев этих кафе рано или поздно не был ею облагодетельствован. Но обыкновенно ее связи и увлечения более чем недолговечны.

Патрик М., на 10 лет моложе ее, обладатель спортивной машины, стал недавно и внезапно литературной знаменитостью. Он увлекся Беатрис. Чувствуя его упрямство, силу его влечения, Беатрис все откладывала, что, конечно же, усиливало страсть Патрика.

В конечном счете он «достиг цели» — как это принято, не особо изящно, говорить. На следующий день явился ко мне в полной растерянности:

— Только подумай, сука, что она придумала, чтобы мне все испортить. Из Сорбонны мы пошли в «Бальзар». А потом ко мне. В постель. Говорю ей всякие ласковые вещи — сообразно положению. А она меня перебивает: «Все это хорошо, говорит, только торопись. Мы тут время в постели теряем, а там — веселье. Гуляют, революцию делают»...

Н.:

Диспут, в котором принимают участие студенты и представители «революционной коллегии адвокатов». «Адвокаты-революционеры» выставляют следующие требования:

- закрытие отделений полиции;
- обязательное присутствие адвоката при задержании, с самого момента задержания;
- присутствие обвиняемого и его защитника при прениях присяжных;
- процесс над де Голлем в Верховном Суде...

Все это предлагалось по ходу «свободного диспута» в большой аудитории Сорбонны.

Последнее соображение, высказанное адвокатами:

- Кстати говоря, каковы же могут быть функции защитника в действительно свободном обществе?

В этом вопросе можно было почувствовать некоторый пессимизм, некоторый скепсис, что до перспектив самой профессии. Послушать этих людей, «свободное общество» вполне могло бы обойтись и без их услуг. Осваивать новую профессию? Что предпочтут господа революционные адвокаты — покончить с собой или переучиваться?

Тем не менее, целый ряд выдвинутых ими предложений представляются щедрыми, к тому же осуществимыми.

А что до будущего «свободного общества» — можно ли себе представить жареный лед, многогранную окружность? Противоречие в себе. Либо «общество», либо «свобода». Сочетание немыслимо. Так или иначе, я убежден в том, что общество без адвокатов было бы менее свободным, чем общество, в котором им еще разрешается выполнять свою работу, по-моему, благородную и полезную.

ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Одни говорят: «Завоюем свободу!» — другие: «Заштитим наши свободы!». Обычно первые более симпатичны, вторые — ближе к действительности.

Альбер С.:

Мой друг Е. С. (сочетающий в себе глупость, тонкость и щедрость, и все это в очень больших дозах) считает, что студенты слишком стары. Он пережил гитлеризм, войну, бедность, тяжелое хроническое заболевание, ему далеко за пятьдесят, и он чувствует себя заодно только с лицеистами.

Он упрекает меня в том, что я защищаю небытие. Послушать его — я носитель консервативного и реакционного нигилизма.

Альбер С.:

«Скульптор снимает все лишнее, писатель сокращает» — так принято считать. Надеюсь, это ошибка. Отдаю предпочтение всему чудовищному, изобильному, барочному. Вести «большую игру тотальности» — в отношении к Богу или к любви. Но не к социальному.

Это «молодежное движение» привлекательно тем, что его участники вроде как ощущают искусственность всякого разделения на отсеки. Им кажется, что они играют — а потому и в самом деле играют — в Большую игру тотальности. Но играется эта игра под предлогом ложным — под предлогом социальным.

Альбер С.:

Для того, чтобы человек мог возделывать собственный беспорядок, свой бардак, свой индивидуальный ад, чтобы он мог оттачивать и украшать своиувечья (а часто для него нет ничего дороже их), необходим внешний порядок, надо, чтобы ходили поезда. Чтобы уборная по имени «государство» или «общество» действовала бы исправно.

Н.:

Мои окна выходят на жалкое предместье. Станция, насыпь. Вот несколько недель, как ни одного поезда. Сегодня, шестого июня, в четверг, первое, робкое движение на путях.

Писатель С. Н., из русских, заметил: «Теперь это искусственные поезда. Менее подлинные, чем те, что до забастовки ходили. Никогда больше поезда не станут столь же подлинными, неоспоримыми, какими они были до их «революции». Как у нас, в России. Не заметил ли ты, что поезда социалистические и впрямь менее реальны, чем царские? Это ведь ощущимо даже в литературе. Поезда Достоевского (в «Идиоте», например) или Толстого (в «Крейцеровой сонате») были куда более поездами, чем у молодых советских писателей».

Тибор Д. (бывший член ЦК Компартии Венгрии, эмигрировавший во Францию после 1956 года):

Всеобщее избирательное право, парламентская демократия... несуразное торжество арифметики. Решает большинство (должным образом обработанное и направляемое). Однако очевидно, что большинство состоит из тупых людей и что умных — незначительное меньшинство.

Система, таким образом, плачевная. Однако, я в этом убежден, она менее плоха, чем все остальные. Либеральный, капиталистический режим, малость демократический, малость авторитарный, предоставляемый слишком большую роль третьей касте, торговцам, большим и малым, современный режим Запада — отвратителен, уродлив, он загнивает. Но он менее плох, чем все другие режимы, с которыми мне приходилось сталкиваться. Всеобщее избирательное право — наименее плохое решение задачи неразрешимой. Как брак.

Встретил светловолосую Элизабет. Ей шестнадцать лет, знаю ее с самого рождения. Она состоит в «боевом комитете» своего лицея. «Мы боремся, — говорит малышка, — за свободу одежды. Что, если мне хочется ходить в мини или приходить летом на

уроки в купальнике? Могут ли мне помешать старые крысы-училки? Разве я плохо сложена?»

Отец Элизабет, талантливый художник-сюрреалист, «посещает» баррикады, дабы присмотреть за дочкой, защитить ее в случае необходимости.

Он говорит: «Никто не сумел понять подлинного содержания классовой борьбы, происходящей у «наших» баррикад. Взводы безопасности, бедные крестьяне из Оверни, — это составная часть пролетариата, класса угнетенных, они противостоят папиным сыnekам, балованным студентам-бездельникам. Согласно статистике, в Сорbonne учатся только один-два процента сыновей рабочих».

H.:

«С.R.S. = SS»* — этот лозунг намалеван повсюду: на стенах, в метро, в писсуарах. Студенты издеваются над полицейскими, приветствуя их гитлеровским салютом.

Кто из мальчишек, карябающих этот лозунг, видел подлинных эсэсовцев, наблюдал их за делом?

Полицейские, наверное, обижены. Но настоящие эсэсовцы, «мои» эсэсовцы, разве они бы не обиделись? Тоже обиделись бы. Не задело бы это их профессиональную гордость? Любезныйunterшарфюрер Шюртце, гауптшарфюрер Паннике, все эти Кратцманы, Хейлинги и даже бедняга Рирмайер, при исполнении скромных обязанностей убивший лишь девятьсот человек и мечтавший дожать до тысячи, маленький Бахер, который забавлялся тем, что помещал заключенных в котлы с холодной водой и медленно разогревал до кипения... Все эти незабываемые спутники моих длинных каникул в Силезии (42, 43, 44, 45-го года) — как бы они пережили, что их сравнивают с душами тон-

* С.R.S. — сокращенное название взводов безопасности. —
Прим. пер.

кими и чувствительными, жалкими любителями, которые по ходу всех баталий не отличились ни одним всамделишным убитым?

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО, КАК ТЫ НЕНАВИДИШЬ СЕБЯ!

Аббат Ксавье У. (бывший «священник-рабочий». Для него эти события трагичны. Он в них не усматривает ничего забавного. Страдает):

«Возлюби ближнего своего, как самого себя», — говорит мне аббат Ксавье. — Ты мне все уши прожужжал этой цитатой, но она на меня не действует. А что, если моя любовь к себе — подгнившая и прохужденная? А что, если я и вовсе себя не люблю? Что, если я ненавижу себя ненавистью, прочной, как скала? Отныне, перед лицом этого разгула, у порога стольких разочарований, единственное, к чему я могу стремиться, к чему постараюсь направить свою душу: любить ближнего своего, как ненавижу себя.

Г-жа А. В. (преподавательница в лицее):

В ночь с 10 на 11 июня газеты отметили «вспышку насилия в Латинском квартале». Несмотря на страх быть избитой, оскорблённой, несмотря на невозможность присоединиться к одной из сторон (ни к легавым, ни к демонстрантам-фанатикам, напрашивавшимся на драку), несмотря на необходимость, на желание почувствовать себя солидарной со всеми этими людьми без исключения (дело непростое), я все-таки в эту ночь оказалась в Латинском квартале.

Студенты и не-студенты требовали мести за смерть лицеиста Жиля Тотена (семнадцати лет), который утонул во Флэн (или, как они утверждают, был сознательно утоплен взводами безопасности). Расследование продолжается. Никто ничего точно не знает. Был ли действительно парень убит? Это не исключено, но

нельзя утверждать, что теми, кого обвиняют. Стоит посмотреть на то, как действует полиция, чтобы убедиться, что был дан строгий приказ не убивать. Ни при каких обстоятельствах! Есть много свидетельств того, что было много арестов, что полицейские «отводили душу» в отделениях, избивали, издевались. Но ясно, что власти сделали все, чтобы не остаться с трупами на руках, так же ясно, как то, что демонстранты мечтали, наконец, получить реальный повод к возмущению и ненависти, найти им настоящий выход.

Если Жиль Тотен и был убит, то его убил полицейский, охваченный паникой, сумасшедший, преступный, не знаю что... Обвинять же полицию в гибели молодого человека — все равно, что принимать желаемое за действительное. Сам принцип коллективной ответственности мне претит... применяется ли он студентами к полиции или полицией к студентам.

H.:

Около трех часов утра под носом у шеренги жандармов в шлемах одинокий молодой человек строит свою индивидуальную баррикаду. Легавые и в ус не дуют.

В незаслуженно забытом романе «Хулио Хуренито» Эренбург рассказывает, как в голодной, холодной Москве 1918 года сытый молодой человек в кожанке воздвигает монумент самому себе. В окружающей толпе шепчутся: «Наверное, очень важный большевик».

А что бы вы предпочли: прижизненный памятник или собственную баррикаду?

H.:

Надпись дегтем на дворе Сорbonны: «При нынешней системе образования — карьеризм начинается с шести лет». Был бы у меня деготь под рукой — до-

писал бы: «так поздно?», с оттенком сожаления. (Не в материнской ли утробе Ревекки начался карьеризм Исава и Иакова?)

Действительно, карьеризм вечен и повсеместен. И даже здесь, в большой аудитории... рвущиеся говорить и быть услышанными, — не движет ли ими что-то вроде карьеризма? Можно сказать, что это для того, чтобы отвести душу. В конечном итоге, это одно и то же. Отводить душу, но как? Извилистыми, кружными путями существует смирение на эту сцену, на эту трибуну, чтобы принять участие в разыгрываемой психодраме смирение притворное, смирение, готовое на многое, смирение, поддерживающее с гордыней отношения более, чем интимные.

Владимир Р. (свежий эмигрант из Польши):

Только что смотрел по телевидению господина Помпиду и господина Вальдека-Роше. Г-н Помпиду продолжает прибегать к традиционному воззванию: «Француженки! Французы!», к мимике, ставшей для зрителей привычной, благодаря другому человеку. (Де Голль.) Нет ничего плохого в том, чтобы иметь наставника, к тому же наставника знаменитого, но в определенном возрасте эта мимикрия может вызвать у некоторых зрителей обратный эффект.

Что до господина Вальдека-Роше, он как две капли воды похож на своего коллегу Гомулку: та же ярость, та же лысина, та же возвышенность и поразительная оригинальность в мыслях, тот же невероятный темп речи, та же склонность к назидательности и очки в металлической оправе (а м. б., я и ошибаюсь, и Вальдек не носит очков. Ах, эти трибуны!).

А. З. — он оказывается анархистом — был в восторге от «первого этапа» событий. «Это была, — говорит он, — победа утопического социализма над научным, торжество мечты над действительностью».

Всю жизнь он участвовал в битвах, войнах и революциях. При всех обстоятельствах он действовал наперекор собственным интересам. Говорят, что в его полицейском досье, о котором ходят легенды, содержится неимоверное определение: «сентimentальный авантюрист». Однажды в каком-то непонятном «Центре» его спросили, в каком Комитете он состоит, и он ответил: «В Комитете людей со сложной биографией».

Еврейский писатель И. З.:

Смерть Роберта Кеннеди. Любой убийца не считается с истиной, для меня очевидной: он неизбежно переводит жертву в разряд выше того, в котором состоит сам. Убийца помогает ненавистному ему человеку совершить решающий переход, сдать всем нам предстоящий и единственно важный экзамен.

К тому же ни одна теория, ни одна идея не достаточно весомы, чтобы оправдать ликвидацию живого существа.

Преступление, совершенное в аффекте, по страсти, даже из корысти, менее бессмысленно, чем убийство, рассматриваемое в качестве политического.

Чувствуя себя по плоти связанным с конфликтом, происходящим на Земле, называемой Святой (а какая же земля не святая?), я с облегчением думаю, что до сих пор не нашлось еврея, который бы убил Косыгина, Брежнева, Гомулку... или генерала де Голля по причинам, аналогичным тем, которые приписываются арабу Ширхан Ширхану, то есть за поддержку, оказываемую этими деятелями арабскому делу.

Н.:

Процветание в делах, в определенных делах. Маленькая Долорес открыла галерею-магазинчик, чтобы продавать туристам революционные листовки и плакаты. Некоторые даже очень забавны. Ей удалось

достать несколько полных наборов. Долорес напоминает, что люди, в свое время коллекционировавшие первоиздания сюрреалистов, разбогатели.

Удивительное дело: большая часть этих афиш сделана под влиянием экспрессионизма.

Ошибка: дела идут скверно. За десять дней Долорес продала всего три афиши. Она угощает виски друзей, приходящих ее утешать.

Показал Сорbonну раввину, человеку терпимому и не лишенному чувства юмора: тем не менее, ему не по душе эта обстановка не то цирка, не то ярмарки, не то шантана и грязища, воцарившаяся в этих почтенных местах.

— Немцы разрушили два самых знаменитых ешибота: люблинский в Польше, слободкинский в Литве. А что, если бы превратить Сорbonну в большую талмудическую Академию? Безусловно, в порядке временной меры. Вернем, как только законные владельцы перестанут бредить...

Княгине Т., родившейся в Петербурге, сейчас девяносто пять лет. Один из ее предков — декабрист. В их семье есть и эсэры, и народники, и меньшевики, и большевики. При каждой встрече удивляюсь, как этот сосуд костей и жил, уже весь высохший, быстро передвигается, как этот бескровный рот выговаривает мысли логичные, едкие и смешные, как эти выцветшие глаза замечают малейшие события... Княгиня Т. пережила русско-японскую войну, революцию Пятого года, Февраль и Октябрь, Гражданскую на Украине, Польскую в Двадцатом. Нашедши убежище в Вильнюсе, в то время польском, она была свидетельницей вступления литовской, а потом Красной Армии после начала Второй мировой войны. В 44-м — Варшавское восстание — двести тысяч убитых. Застенки гитлеровского лагеря. С 45-го княгиня Т.

живет в Париже, где занимает достаточно пыльную квартиру недалеко от Сен-Жермена. Окруженная соном внуков и внучатых племянников, правнуков и троюродных племянниц, княгиня Т. — живая летопись.

Ребятишки изгиляются на баррикадах и радостно рассказывают о своих революционных подвигах и проделках с легавыми.

— Бабушка, а что ты скажешь о нашей Революции, а?

Старая дама удостаивает меня подмигиванием, снисходительной улыбкой, в которой чувствуется благожелательность, насмешливость, но и доля снисходительности. «Видишь, — восклицает она, — они называют революцией эту веселую ярмарочку, менее кровавую, чем обычные полчаса на автострадах в субботу-воскресенье. Ничего не поделаешь, эти дети совсем оффранцузились», — добавляет княгиня пренебрежительно.

И снова невозмутимый вид.

«В начале октября 67-го мне довелось выйти одной часов в восемь утра. Принюхалась к земле. Тот же запах очень молодой зимы, зимы-младенца, что в Ростове, когда мне было девять лет. Запах, обретенный после восьмидесяти лет разлуки. Запах мягкий и вдохновенный. Почувствовала, что это также и знак приближающейся смерти. Как я рада, что мне дано прожить эту веселую весну, в которую я столько, столько смеялась».

Понедельник, 10 июня. Пообедал, вернее, попытался пообедать в шикарном ресторане на Елисейских Полях. В супе — сороконожка. Мясо — несвежее. Краснея, метрдотель объясняет, что ресторан закупил большие запасы, но клиентов не было.

Вацлав Т., чешский журналист:

«Голосовать — предавать!» — вот их последний лозунг. Да почему, объясните? Могу поклясться, что мои соотечественники мечтают только об одном, о честных выборах, как те, что сейчас предлагают этим липовым ниспровергателям.

Один приятель:

Нет, я не коммунист, не социалист, не «общественник», не «трудовик». Так называемые общественные проблемы, печальная необходимость жить совместно, более или менее организованно, — все это меня мало интересует. Я вовсе не чувствую себя ближе к рабочим, чем к священникам, к астрологам, к балеринам, к банкирам или к писателям. Никчемность и бедность (в том числе и мои собственные) мне отвратительны еще в большей степени, чем богатство. И все же, и все же...

Сегодня днем, на улице Боэси увидел группу мужчин и женщин, одетых кое-как, усталых, изнуренных, до времени состарившихся. Держа маленький транспарант, они терпеливо стояли у богатого здания. Время от времени они издавали скорее застенчивый крик, будто они были сами смущены, им было как бы неловко выставлять себя напоказ. И плакат, неуклюже намалеванный, и выкрики были одинакового содержания: «Требуем двусторонних комиссий!» Жирный швейцар в галунах поглядывал на этих людей весьма насмешливо и снисходительно. Он-то «знал». Я спросил, в чем дело, у сорокалетней увядшей блондинки, которая, казалось, еле держалась на ногах. Что все это означает?

— Сударь, мы все работаем на небольшом предприятии пластмасс в Бретани. Я уж там двадцать лет. Как только началась забастовка, мы стали звонить, послали ходоков, им пришло «голосовать» на дорогах, всё это, чтобы добиться встречи, пере-

говоров с дирекцией. Мы слишком мало зарабатываем, в среднем по шестьсот франков. Эти парижские господа и не чухаются. А мы бастуем. Бастуем не от хорошей жизни. Вот уж четыре недели. А господа... будто забыли и про нас, и про свой завод. Вот мы и приехали в Париж, как только поезда стали ходить. Всю ночь ехали. Дирекция помещается здесь, в этом здании. Принять нас отказываются. Приказали, как сами видите, закрыть двери. Вот посмотрите.

И снова вскрик, слабый, застенчивый: «Двусторонних комиссий».

Этим бретонцам было явно не по душе кричать на улицах, им было не по себе в этом большом чужом городе.

Давно я не испытывал такой нежности, такой любви к группе людей, как к этой кучке бретонских рабочих. Мне было стыдно... а у меня никаких заводов нет.

На следующий день мой друг Жорж Р., по специальности экономист, объяснил мне, что после повышения зарплат средние предприятия, как то, на котором работали «мои бретонцы», перестают быть доходными. Их приходится закрывать. Вот почему дирекция отказалась от переговоров. О чем говорить? Наверное, мой друг Жорж Р. прав с точки зрения экономической. Но, как и накануне, мне хотелось набить морду господам директорам и их откоммленному швейцару. Жизнь, как переполненный автобус. Трудно полюбить тех, кто, играя локтями, пробивается к сидячим местам. «Сидячие места» — это чуть больше необходимого «жизненного пространства», еды, одежды, развлечений и, главным образом, «значимости», власти над другими, менее вооруженными в жизни.

Вспомнил также слова другого приятеля, священника-рабочего, который мне много лет тому назад

говорил о «спокойном, немного грустном достоинстве рабочих семейств».

Рассказ Сержа:

Около полуночи сел в метро на станции Пон де Нейи, в первый раз после окончания забастовки. Худенький молодой человек в тесном черном костюме, в воскресном костюме, подошел ко мне. Платформа была пустой. Он пошатывался, и я не хотел с ним заговаривать, думая, что он пьян. Но я ошибся. Хриплым, слабым голосом он спросил, как доехать до вокзала Монпарнас. Он еще никогда не садился в метро. Мне было трудно понимать его французский язык, он был бretонцем из самой глубинки. Сезонщик на заводе в предместьях Парижа. Попросил меня помочь перебинтовать грязную повязку на большом пальце левой руки. Утром ему принесли телеграмму о смерти двухлетнего сына. В то же утро ему оторвало палец на станке. Несчастный случай. Ему хотелось успеть на ночной поезд, чтобы не опоздать на похороны сына. На вокзале я угостил его рюмкой крепкого и проводил до самого вагона. Он даже не умел разобраться в расписании поездов. Его беды вызвали во мне как бы телесное недомогание, почти отвращение. Я чувствовал себя виноватым в том, что в настоящее время я живу хоть и тускло, но без драм. И еще чувствую себя виноватым по каким-то другим причинам,rationально необъяснимым. Позор тем, кто подумает, что мое чувство вины поддельно.

Господа Кон-Бендит, Жейсмар и кое-кто из их дружков, говорят, сейчас в Англии. Би-Би-Си и Британское телевидение исправно исполняют свои обязанности.

Ольга: У них будет карьера, как у Битлсов, у Джонни Холлидея или у Антуана... Социологические причины этого успеха те же. Но сколько шума из ничего!

Ольга (сначала она была полна энтузиазма и прыгала вокруг «революционных баррикад»):

Теперь, когда кончились главные забастовки, шумные демонстрации в Латинском квартале потеряли всякий смысл. Самой надоело. Хочу отоспаться. Действительно, возникает вопрос — поначалу мне это показалось абсурдным — о существовании какого-то тайного Центра управления.

Даже самим руководителям Национального Союза Французских Студентов обрыдло. Если они до сих пор не приказали разойтись — то просто потому, что никто не любит спускать приказы, которые заранее известны. Это человечно. Да нет же, я говорю глупости: никакого тайного Центра не существует.

ВСЯКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ, ВСЯКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ — ИСКУССТВЕННЫ

Жозеф Д. (дилетант, упрямо остающийся лицом без гражданства, сочинитель, пишет на французском, но на каком французском!):

- Многопрофессиональность?
- Многонациональность?
- А почему бы и нет?

— Любая специализация — как бы самоубийство (до гипертрофии доводятся знание французских синтагм, римского права или стенография и до отмирания — все остальное).

Эта мысль, впервые, кажется, выговоренная Канетти, маячит на заднем плане майской «революции».

И да здравствует космополитизм, оклеветанный профессиональными мракобесами, от Эльбы и аж до самого Тихого океана!

Если бы у меня отняли:

- а) «мой» иудаизм,

- б) «мою» Францию,
- в) «мою» Россию,
- г) «мою» Литву,
- д) «мою» Белоруссию, и т. д.

я бы оказался еще более обездоленным, оголенным.

Если бы у меня отняли:

- а) мой дилетантизм,

б) кучу других специальностей, ни одна из которых, к счастью, не совершенна...

как бы я мог писать?!

Я бы ненавидел то, что писалось бы в такой обездоленности, еще острее, чем ненавижу то, что пишу сейчас...

H.:

Искусство делать революцию? — Наряжать невозможное в возможное. Напялить на Невозможное шмотки Возможного.

Жорж Р. (опытный экономист и финансист) утверждает, что наличие толстосумов во Франции создает отнюдь не экономические проблемы, но только психологические и моральные трудности. Если раздать «народу» состояния свыше ста миллионов франков, — трудящиеся, безработные, бедняки ничуть не разбогатеют.

H.:

26 июня:

Среди студентов появился «ветеранский» дух.

A.: А я сам был на баррикадах. И мой брат тоже.

Моему брату вот такую дыру пробили в голове...

B.: А моему брату на баррикадах легавые проделали в башке дыру еще больше...

Именно из-за таких разговоров я в свое время избегал встреч с некоторыми бывшими узниками Освенцима.

H.:

Баррикады в Латинском квартале были всего лишь фетишем. Никакого «стратегического» значения в эпоху бульдозеров и танков у них быть не могло. Часто их строители и были первыми их жертвами: пытаясь уйти от атаки противника, они оказывались в тисках между полицией и собственными сооружениями. Но именно так, эффективно, поддерживаются национальные традиции, так дает всходы семья... и фольклор.

«Каждому своя баррикада!» — приятель, живущий поблизости улицы святых Отцов, утверждает, что студенты нового медфака построили свою, когда всё кончилось, без всякой «политической цели» и без настоящей охоты (правда, и без «директив сверху»). «Время баррикад» уже прошло, в Париже чувствовалось затаищье, им же стало стыдно пропущенного времени. Такой большой факультет, и ни одной баррикады! Взяли и построили, да еще крупнее и живописнее всех остальных! Но сооружение смотрелось после «великих майских дней» — анахронизм. Прохожие ходили им любоваться до полудня следующего дня, полиция его снесла спокойно, не встретив ни малейшего сопротивления.

H.:

Все «общественное» представляется мне второстепенным, но так ли это в самом деле? Меня посетил Н. С., крупный писатель, всегда уклонявшийся от журналистских заказов, которые я ему стремился доставать. Ему за шестьдесят, и живет он в постыдной нищете. Лет двадцать тому назад пробил час его славы... на том и кончилось.

— Почему вы перестали издаваться?

— У меня нет времени писать. Еды мне недостает, и поэтому требуется много сна. День короткий: много времени уходит на чистку картошки. Не изда-

юсь, денег не зарабатываю, ем мало, приходится спать все больше и больше. Заколдованный круг.

(Разговор, состоявшийся в Париже, Анно Домини 1968).

Навестил старого революционера и дилетанта А.З., у него неприятности с хозяином гостиницы. Ему нечем платить, к тому же он кипятит себе чай на спиртовке, что в этих почти приличных номерах считается чуть ли не кощунством. Хозяин грозится его выгнать.

А. З.: «События были для меня передышкой. Хозяин ничего не решался мне сказать, думая, что я стану важным комиссаром, шишкой. А теперь город обрел мир, а я его потерял».

Полька Мария Г.:

В Варшаве, во время восстания 44-го года, было двести тысяч мертвых... Плюс то же чувство братства, что и теперь. Подумать, что французы осмеливаются все это называть революцией. Да ведь это школьная экскурсия, скаутский слет. Но народ ведь практический и хитрый. Братство, кстати, столь же недолговечное, как наше, но они за него заплатили со скидкой.

Григорий В. (бывший полковник царской армии, ставший таксистом, карьера классическая):

Мы покинули наш дальний край, охваченный безумием, нашу накаленную добела землю, замороженную то Махно, то Сталиным, то Гитлером, чтобы уйти от эпицентра бури, найти во Франции действующие поезда, исправную почту, полицию, оставляющую людей в полном покое, «если ни во что не лезешь». Эта страна нам казалась предельно нормальной, за что мы ее уважали, даже если и не безумно любили. В нашем уважении была даже чуточка снисходительности. Какое диво внезапно открыть красивую, страст-

ную, великолепную и гениальную любовницу в той женщине, что до сих пор представлялась сухой, расчетливой и корректной квартирохозяйкой.

Доводы Анны:

- а) Кризис человеческих отношений в современном обществе;
- б) взрыв коммуникативности; отказ от одиночества;
- в) люди больше не хотят быть винтиками. Они стремятся быть «значимыми».

Контрдоловоды Ревекки (порядок ответов обратный. Почему?):

в) Не забывай о законе сообщающихся сосудов. Чтобы быть «значимым», необходимо им быть по отношению к кому-то другому, кого сводят к состоянию «незначимости». В пределе, единственная свобода, которая им действительно дорога, — это свобода обращать других в рабство. Унтер без рядовых, которыми он помыкал бы, не будет рад и своему унтерству.

б) Ревекка читает вслух Анне отрывок из одного старинного сочинения, которое они обе, вероятно, давно уже знают:

«...я встретился с образом и до сих пор не нашел силы избавиться от него, написать — исходя из него — рассказ, стихотворение, зафиксировать его. Впервые подумав о понятии «человечество», я будто увидел стеклянный макет человеческого мозга. Макет состоит из трех миллиардов строго одинаковых клеток. В каждой из них заключен червячок. Зеленоватый, бледно-розовый или другого подобного цвета. Он движется, сворачивает и разворачивает хрупкие колечки. Ведет себя так же, как три миллиарда (минус один) его двойников. Один чёрт знает, почему ему хочется разбить прозрачную стенку, отделяющую его

от соседа. А если бы вышло — он бы с соседом совокупился, или сожрал бы его, или был бы им сожран, или все это вместе...

Но во веки вечные не разбить ему стекла, осколки которого пролили бы его зеленоватую кровь. Без конца повторять ему бессмысленную гимнастику — и оставаться одиноким, но подобным, тождественным соседом трех миллиардов (минус один) своих соседей, таких же одиноких, как он.

Однако, однако — если только моя религия не обманывает, в конце времен Великая Рука (та самая, что с начала жизни держала уготованный гасильник), Великая Рука поднимет стеклянный мозг и играючи (индусы называют эту игру «лила») швырнет его о кафель... Мне не достает дыхания (поэтического, разумеется), чтобы описать вам судьбы его обитателей после того, как разлетится вдребезги их огромный прозрачный шар. Одна только подробность: болонка при исполнении божественных обязанностей, космическая болонка поднимет над ними лапку, что, так сказать, физиологически обогатит обстановку, да и живописнее (простите) получится...

Непонятно: боится ли Мессия герметических клеточек, боится ли Он одиночества, которое — и только оно — помогло бы Ему разделить судьбу смертных?..»

(Люди не выносят одиночества. Отсюда и потасовки в Латинском квартале. Отсюда и «революции». Отсюда и вся история человечества.)

а) Ревекка приводит Анне следующую «богословскую» доктрину того же автора, которая могла бы прозвучать финальным аккордом его сочинения:

«Согласно Писанию, Ты создал человека. Ерунда! Или крайнее упрощение. Единственное, что Ты в самом деле создал, это — страдание, остов, на котором всё держится. А потом натянул на эти козлы из черного дуба, на этот вселенский костяк — тряпку,

названную «человеком». Отрепье это скроено по мерке своего неизменного костяка — страдания.

На устах ли моих, в сердце ли моем рождались эти кощунственные слова?»

(Голос автора: Только не оскорбляйте меня, относя все это к последним «событиям», в общем, столь ничтожным. Те, кто ведет шашни с «не-временем», тщетно рассчитывая его покорить (и заранее зная, что будет сожран, проглощен этим «не-временем»), быть может, уловят родственный звук в этом «богословском» вопрошании...)

— Великий Страх начал рассеиваться, — сообщает мне по телефону Гастон Л., известный участник Сопротивления, с сорокалетним стажем в социалистической партии, — но правительство собирается использовать то, что от него осталось по ходу предвыборной кампании. Только что были запрещены несколько ассоциаций, второстепенных группировок: маоисты, троцкисты, анархисты, — второстепенных, по крайней мере, для избирателей, для реального соотношения сил в стране. Это не подарок правым, а премия, выданная ФКП за хорошее поведение во время кризиса. Представителям крайне правых дано разрешение вернуться в страну. Это политические трупы, но таким образом льстят бакалейщикам, а ведь и они, и их семьи голосуют.

Высланы из Франции несколько десятков иностранцев, в том числе художники и студенты. Могли ли эти люди хоть как-то повлиять на соотношение сил между правительством и оппозицией? Смешно. Представляли ли все они опасность? Еще одна мера, проведенная бакалейщиками для бакалейщиков. На сумасшествие одних другие отвечают мелочностью. А правительство потом говорит о «всемирном призвании» Франции.

Высланные иностранцы могли относиться к трем категориям:

— Те, кто был задержан на улице случайно, кто был «ни при чем». Среди задержанных были люди в вечерних костюмах и беременные женщины.

— Те, кто был на баррикадах, кто проявил солидарность с демонстрантами, рискуя собой. Не показали ли они, что французское дело — разумное или нет, но французское — было им столь же близко к сердцу, как и их товарищам, родившимся здесь. Заслуживают ли они такого обращения?

— Есть, наконец, те, кто так же, как и глава государства, почувствовал в майском бунте предвестие судорог на куда большем географическом пространстве, явление куда более всемирное, чем чисто французское. Если за нашей страной признана славная роль предтечи — следует ли карать этих иностранцев за проницательность (или ошибку), для нас лестную? Если им померещилось, что они участвуют в явлении глобальном, разыгрывающемся во Франции, давайте их удалим с планеты, а не из одной страны...

«Монд» от 12 июня опубликовала репортаж под названием «Пьяный корабль» — автономная Сорbonна, ставшая островом и местом убежища.

Он пестрит весьма знаменательными выражениями: морфий, гашиш, ЛСД, наемники, крысиное войско, подонки с шейным платком и без рубахи, «параллельная» полиция, шлемы, дубинки, Катанга, Корея, Алжир...

Послушать автора — Сорбонна привлекает больше туристов, чем Лувр или Версаль... В то время, когда «свободная» Сорбонна была гостеприимно открыта кому угодно, этот мощный магнит притянул больше шлака, чем стали... Бывшие наемники, подлинные или самозванцы, так называемая «Катанга» (а были ли они в Катанге, чем они хвалятся?), хотят

поставить свою физическую силу на «службу революции». На деле же они вышли из подчинения комитета студентов, занявших университет, и действуют самостоятельно. Бывшая «свободная коммуна» распалась на множество феодальных владеньиц... Сумасшедший, выдававший себя за врача, «практиковал» в санчасти, куда ежедневно приводили парней и девушек, отравленных наркотиками, был разоблачен и выгнан настоящим доктором...

Одна из группировок захватила множительные машины и распечатывает лишь листовки, содержание которых ей политически по нутру.

Автор репортажа будто заворожен Сорбонной, «Пьяным кораблем», обеспокоен будущим эксперимента и его участников.

Через несколько дней после опубликования репортажа полиция очистила театр Одеон, а затем и Сорбонну.

*Борис В. (известный репортер, теперь на пенсии.
Изъездил весь мир):*

«Против буржуазного общества! Против капиталистического университета! Долой буржуазный театр!» Они упиваются этими лозунгами «отрицания». Пожалуйста. Но каковы логические выводы? Чего же им хочется?

Ликвидации любого общества, всякого университета, театра? Программа и впрямь привлекательная, но несколько утопическая, — надо было бы начать с упразднения человека. Я ничего против этого не имею, но сомневаюсь, чтобы они это имели в виду. Подлинная цель их лозунгов — это, наверное, «социалистическое, пролетарское» общество, университет, театр. Я бывал в СССР, в странах так называемой «народной демократии»*, на Кубе, в Египте, в Ал-

* Помещаем в кавычки этот термин, ставший давным-давно →

жире и даже в Китае. В чем их университеты и театры, между прочим, очень непохожие друг на друга, — «социалистические» или «пролетарские»? Очень сомневаюсь, что они пришли бы по вкусу нашим парижским «ниспровергателям». Итак, ниспровергатели выступают за вещи чисто умозрительные. Да и то: были и другие, до них, которые пытались с наилучшими намерениями все перекроить « заново ». Еще никому не удалось. Попадали назад в наезженную колею: нищета, рабство, пошлость и скуча. И все это еще в большей степени, чем раньше.

Курт Г. случайно услышал следующий разговор:

— Долой буржуазный университет! Долой буржуазный театр! Долой буржуазное общество! Долой буржуазию!!!

— Пожалуйста, голубчики, раз вам так хочется. Только не обольщайтесь, не забывайте, что «каждый из нас — кому-то буржуй».

Курт Г.:

Одни возмущаются, когда жгут машины, — другие страдают, когда рубят деревья. Водораздел четкий. Я лично ставлю жизнь деревьев выше жизни машин.

Борис В.:

Действительно, господа ниспровергатели улюлюкали от радости, когда валили деревья на бульваре Сен-Мишель.

Они даже не подозревают, что какое бы то ни было ниспровержение, чтобы быть серьезным, должно начать с того, чтобы ниспровергнуть себя, свою суть, свое нутро до самых потрохов. А после этого надо еще посмотреть, останется ли за таким движе-

чисто техническим из-за смехотворного плеоназма. Этот плеоназм указывает на полное отсутствие элементарных филологических знаний у его автора, как ни странно, проучившегося несколько лет в семинарии и к закату жизни пожелавшего прослыть лингвистом.

нием умственная и моральная способность ниспревергать мир.

А пока что господа ниспревергатели активно и эффективно отвергают право деревьев на жизнь...

Ни в печати, ни в листовках, ни на митингах никто еще, насколько мне известно, не воспользовался термином, который так сам и напрашивается: САМОНИСПРОВЕРЖЕНИЕ.

События развиваются так быстро, что и не успешишь.

Но как определить, что есть «событие»?

— Такая масса вибраций различной силы и природы, в пространстве физическом, а также душевном и духовном! Меняются их частота и плотность. Турублентность, островок большей плотности, более мощных, быстрых колебаний — может, это и есть событие? Именно эти явления, быть может, и находят — спустя некоторое время — место в школьных учебниках, под названием произвольным, если не ложным?

Возле факультета Сансье, вокруг зоологического сада, крики: «Освободите слонов! Освободите слонов!»

A. С., «лучший из людей», преподаватель лицея в Латинском квартале. Великодушен до того, что вышел на баррикады вместе с учащимися. А. С. не скучится на подлинную, физическую солидарность. Не любит полиции:

— У меня педагогические, человеческие трудности. В моем классе двое сыновей полицейских. Хорошие, работающие дети. Пытаюсь защитить их от товарищей, вырвать из микро-гетто. В общем, ученики ко мне прислушиваются. Доверяются мне даже больше, чем родителям. Но в данном случае ничего не

поделаешь. Стена. Как неприятно видеть детей, окруженных стеной ненависти других детей!

«Фестиваль неудачников», «студенты играют в броненосец Потемкин» — оба выражения взяты из одной статьи влиятельной парижской газеты, посвященной событиям.

H.:

Студенты и рабочие:

Выкрики в Сорbonне: «Товарищи! Заводы Ситроен бастуют. Двинемся на помощь борющимся пролетариев...»

Формируется шествие, и пошли все в пятнадцатый округ. Предприятие занято рабочими, у ворот стоят пикеты. студенты пытаются войти, выкрикивают лозунги в честь рабочего класса, они жаждут солидарности.

А с завода подтрунивают:

«Мудачки, пахать!»

«Мудачки, пахать!»

Сколь печально зрелище отвергнутой любви.

Анри (подавальщик в кафе, сорок лет работает по десять-двенадцать часов в день):

Напротив написано: «Слава трудящимся!», о Господи, а почему не «слава бездельникам»?

В нашем деле, мсье, становишься психологом, людей понимать начинаешь. Труд — конечно же, дело славы, но не-труд — дело не менее славное, не менее полезное. И приятнее, и менее опасно. От праздности, мсье, меньше гордости. А всякая гордость — фу! Да здравствует праздность, мсье, слава паразитам!

Посетитель подзывает Анри, и тот сразу мчится на другой край террасы.

Рассказ Н.:

Вечер «Литература и революция» на новом медфаке, 27 июня.

Сколько незначительных людей, с неудовлетворенным тщеславием, полузнаменитостей, стремящихся стать полными, будь то ценой таких вечеров!

Увядшая дама, украшенная увядшими цветами, наряженная увядшим цветком, рассказывает о своем участии во «взятии» особняка Массá как о революционном подвиге.

Известный представитель «нового романа» хвалился пинками под задницу, полученными им в шестнадцатилетнем возрасте от хозяина-фашиста, жалуется на скучность гонораров («меньше, чем то, что вы будете получать через несколько лет, когда станете врачами») и оправдывается, ползуче извиняется за то, что у него есть маленькая машина. Лауреат Гонкурской премии орет как резаный — в этом зале любая пошлость становится «революционной», лишь бы погромче!

Старая дама, представленная в качестве литературного критика, не упускает случая напомнить о том, что она «тоже» пишет стихи.

Другая старая дама (самая приличная и понимающая) с удовольствием подчеркивает, что «нам, старикам, нечему вас научить — все наши революции оказались неудачными».

Молодые же к месту и не к месту прибегают к нецензурным выражениям:

— Заткнись, старый мудак! Говоришь, что был в Сопротивлении, а нам на...!

Господа писатели шестерят. Пытаются подделяться под «мужественный» язык студентов. С обеих сторон словами «революция» и «социализм» пользуются сплошь да рядом, будто значение этих терминов обговорено и ясно. Будто их семантическое содержание, человеческая значимость известны и четки.

Старый господин, осмелившийся напомнить о писателях, убиенных во имя социализма после Октября, тут же получает, и довольно грубо, ярлык котреволюционера.

Для социолога, если эта порода выживет, взаимосвязи между «революциями» и акустикой — прекрасная тема исследования.

M. C. (шестидесят лет, очки с металлической опправой, ветеран троцкистского движения, кадык у него все время ходит, что подчеркивает его сверххудобу):

Почему не было ни убитых (только несколько несчастных случаев), ни всамделишных разрушений? Сорбонна, Лувр, Собор Парижской Богоматери все еще стоят...

Очень просто. Вера у мятежников была слаба. Конечно же, разрушение Лувра привело бы меня в отчаяние: я там все выходные дни провожу. Однако теплота веры — дурной знак. Знак вырождения...

Судьба, слава искры — стать пламенем. Судьба капли воды — превратиться в наводнение или океан.

Но взгляд более проницательный, может быть, сумеет угадать, усмотреть призвания благородного материала — в обратном движении:

Пожар, съеживающийся в угольки, потоп, сворачивающийся в капельки росы. Взаимосвязи между красотой и страданием, красотой и волей к небытию, весьма смутны. Скрытое, тайное сообщничество?

Когда очищали Сорбонну, в закутке обнаружили парочку. Они спали, обнявшись. Парень и девушка не услышали шума, вызванного этой полицейской операцией. Внешний мир был для них, по-видимому, всего лишь рамкой единственной значимой для них сути. Как назвать эту суть?

Эти двое обладали частичкой Истины, самой существенной частичкой.

Что бы ни делали и ни говорили, любовь — тот материал, то сырье, из которого Создатель вытесал мир. Верю — и, кажется, только в это и верю.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Читатель, давший себе труд пробежать эти беспорядочные и торопливые записи, очевидно, заметил, что название этого томика, по крайней мере, частично, — шутка.

«С похмелья»? Это обходится без объяснений, ясно и так. Но «Записки котрреволюционера»?

Автор этой книжицы не более контрреволюционер, чем прореволюционер или революционер. Ему никогда не удалось (да он и не пытался) подключиться к какой-либо идеологической системе, исключая все остальные. Мои реакции на майско-июньские «события», которые еще живы в нашей памяти, — противоречивы и путаны. Я далек от сферы политики. Единственное мое в этой книге — сны и книги, о которых я упоминаю.

«Оценки» принадлежат другим, некоторым из моих друзей, случайным встречным. Пришлось произвести отбор — и оказалось гораздо больше оценок скептических, критических, даже отрицательных, чем восторженных. Почему?

Большинство друзей, которых я встречал фактически ежедневно в ту весну, относятся к почтенной и любезной категории людей, которых я бы обозначил «левые интеллигенты левобережья». Кому неведома их «морфология»? Обычно они — личности худосочные, стрижка ежиком, носят очки. Часто большой и подвижный кадык. Но среди них есть и жирные толстяки. Они кинолюбы и охотно проводят от-

пуск в Югославии по путевкам клуба «Знать и смотреть» или другой подобной организации. Во времена алжирской войны они были верными читателями «Экспресса», но теперь охотнее черпают свое вдохновение в «Нувель Обсерватор». У них был период членства в компартии, но они из нее вышли, в большинстве после Будапешта. Ездят они в двухсилке, даже если бы и могли себе позволить более мощную машину. Кое-кому из них удается испытать наслаждение только при виде рабочей спецовки. Многие из них — старшие преподаватели или приват-доценты. Есть и главные редакторы. Обожают Мишеля Фуко, Ролана Барта и новый роман. Источник их растерянности, их глубоких страданий — несоответствие определенных видов мышления марксистского и структуралистского. Какое счастье, какая благость, если бы эти два «изма», столь благородных и модных, были бы во всем совместимы. Но — и это главное — они п од -
п и с ы в а ю т. Подписанты-стахановцы, они наделяют акт подписи волшебной добродетелью. Они подписывали и продолжают подписывать против убийц в белых халатах, за убийц в гимнастерках, за свободу печати во Франции, против свободы печати в СССР, против атомной бомбы, за атомную бомбу, против полицейских насилий, за студенческие насилия... Да нет же, я шучу — они не подписывают за атомную бомбу. Душа у них безусловно широкая — и всякое дело, которое им представляется благородным, они считают своим. Они вовсе не виноваты, если «благородство», капризное, как солнечный луч, перепархивает с одного «дела» на другое, часто совсем противоположное. Вина не их, а «дел».

За редкими исключениями, при минимальных оговорках, друзья, чей портрет я попытался обрисовать, — воплощение доброты и щедрости, — приветствовали «бунт молодых» и забастовку трудящихся. Восторгам не было предела, надежды были безгра-

ничны. Они старались подключиться к Движению, участвовать как можно более полно, лично. Они и им подобные на собраниях и в печати высказывали свои мысли довольно блестяще и часто не без таланта. Они подпали под гипноз (прекрасно их понимаю) ослепительной красоты, щедрого порыва студенческого фейерверка.

Перед лицом этого единодушного энтузиазма я счел справедливым позволить высказаться и другим голосам. Голосам элементов вне общества, слишком вне общества, чтобы быть причастными к категории псевдо-лишних людей, под которую подделяются горделиво, фривольно, напоказ участникам настоящих событий.

Мои «лишние люди» вне общества не по убеждениям, не по собственному выбору, а в силу их объективного положения, положения неизбежного, неотвратимого, тяжело переживаемого. (Этот вид «лишних людей» не лезет на авансцену, люди, им пораженные, не хотят и не могут быть «героями» чего бы то ни было.) Скептические голоса эмигрантов, людей не приспособленных, людей, носящих отметину нескольких режимов, отдают предпочтение «меньшему злу», а не идеалам, которые им кажутся утопическими; прозвучат ли эти голоса кощунственно для фешистов слов «революция», «левые» и «социализм»?

Как бы то ни было, я не несу никакой ответственности за мнения, воспроизведенные в этой книге, и это в силу целого ряда причин:

— само понятие «ответственности», по-моему, бессмысленно в применении к усталому насекомому, к жалкой игрушке непостижимых сил, называемой «человеком». (Вся ответственность на Боге, если Он существует, во что я верю, на что уповаю. А если бы Он не существовал, Он нес бы ответственность за собственное небытие, ответственность, уверен, самую тяжкую.)

По правде говоря, мне наплевать на «Революцию» и «Контрреволюцию» (да и кто в состоянии конкретно разграничить области, покрываемые этими понятиями?), наплевать на Белое, Красное, Черное, на все цвета, символизирующие изношенные и абсурдные низкопробные мифы. Зато предпочитаю метро действующее (машины у меня нет), хотел бы не «доставать», а покупать сигареты в ларьках, не хочу, чтобы мне или другим навязывали определенную «жил-уплотненность», привкус которой сразу чувствуешь в так называемых «социалистических» государствах.

А помимо этого, даже если без конца копаться, я не найду в себе убеждения, мнения, которое я бы тут же не постарался разрушить противоположным мнением. Уверенность — одна-единственная: «Пытаться причинить меньше всего страданий ближним. Звери, растения, минералы, конечно, также рассматриваются в качестве ближних».

Программа хоть и скромная, но — признаю — нелегкая. Может быть, даже и не реалистическая, если принять во внимание механизмы Бытия. Но если этот куцый принцип так же утопичен и гораздо более банален, чем фразы, бесконечно повторяемые на всех форумах Латинского квартала в ту весну, он, тем не менее, представляется носителем истины, постулата, которому я хотел бы остаться верным. На что же еще можно возлагать надежду? На Благодать? Быть может...

Владимир Г о л и ц ы н

ОТТЕНКИ НА ХОЛСТЕ

СТИХИ

* *

Платок пуховый прыгает в руке.
Дым голых рощ клубится вдалеке.
Дюймовочка, на стынущей реке,
Одна стоишь на тающей корме.

Сквозь стаи птиц плетутся облака.
Изgnание. Пустынная река.
Платок пуховый. Тонкая рука.
Печаль легка. Печаль легка...
Легка...

ТВЕРЬ

Воскресный день младенца пеленал,
Баюкал облако и дул на молоко,
Клонился долу, слезы проливал,
Плел чепуху, нелепицу молол.

Лелеял лень с печалью пополам,
Пил здравицу и пел заупокой,
Глазел в окно и хлам перетряхал,
Летел над Волгой лиственной трухой.

Клубился прахом прежних мятежей,
Христа ли ради вечность коротал,

И водопадом млечных витражей
Прибрежных рощ курчавился портал.

Прекрасной вольности, под сводами дерев,
В прозрачной поросли, бесплодно реял гвалт.
Коснея в робости, свободы не стерпев,
Бесплотной сенью падал на асфальт.

* * *

B. B.

*«Сии полнощные беседы —
России признак роковой...»*

Высоких истин ясен спор,
Когда заря коснется кровель,
Кармином крася кромку штор,
Пока раздор еще бескровен,
Помина нету про раззор
И разговор о распре скромен.

Вокруг домашнего костра
Неприхотливо ткать беседу,
И наперед предвидеть беды
И мысли загодя читать, —
Покуда вешие соседи
Встают угрюмы как медведи
И полунощников честят.

Ну что ж, приглушим голоса —
Так в горле перхотно от дыма
И так слипаются глаза...
Но прекратить галдеж нельзя —
Идет правеж неотвратимо,
Беря от Калки до Нарыма.

Единомыслие сердец
Разноречиво на рассвете,
И хоть известны шутки эти,
Покорный логике скворец,
Послушен зову, лезет в сети
И захлебнется наконец,
Давясь последней сигаретой...

В стаканах сахарное хруп,
Предсмертный хрип водопровода.
На рифы снова тянет шлюп,
Но доверителен и скуп
С осипших губ слетает довод...

ГОЛОС

Какой оргáн на месте лобной казни,
Будя озnob каких материков,
Со дна сей голос поднял без боязни,
Чтоб зазвучал, не ведая оков?

Каких широт надламывались струны,
Какая речь теряла облик свой,
Какая горечь пенила буруны
По устьям рек миндальною струей, —

Чтоб наш язык, корявый и бескрылый,
Рябым пером марада черновик,
В кауром сне следя полет валькирий,
Немую зябь распахивать привык?

И, вялый раб, прикованный к гортани,
Как гражданин, включался бы в игру
Ночной межи в горниле урагана
С маховиком дубравы на юру?

Но, радуясь свободе без оглядки,
Не в прятки, нет, себе наперекор,
На клумбы кратеров, вальпургиеvy грядки,
Смотрю в тоске, как грешник на костер.

Какой зимы томятся там потемки,
В двунадесятом, бродят налегке? —
Одним клубком запутан отзвук ломкий
И постромки на вещем горбунке.

Каких равнин курчавит перелески, —
Молчальник незадачливый, ответь! —
Лучей целебных ласковая плесень,
Врачуя поколебленную твердь?

Пока ты ждешь условленного знака,
Придет иль нет ответная волна,
И где-то на ущербе Зодиака
Смолкает песнь, самой себе смешна...

* *

Криворечья кумыс, чтобы крепче донесть,
Не чураясь — колодезной, гулкой.
Прямоточный же смысл окочурился днесъ
В человечьей пурге переулков.

Власяницею слов — кутерьма, терема, —
Улыбнулась — в слезах — Параскева.
Что ни слово — тюрьма. И могуча, темна,
Лишь горючая нега распева.

ГОЛИЦЫН Владимир — родился в 1948 г. По образованию математик, окончил МГУ. Работал инженером, теперь — преподаватель математики. Живет в Калинине. Стихи пишет с 1968 г. Ранее не публиковался.

Николай Вильямс

АЛКОГОЛИКИ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

КАРТИНЫ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Посвящается Платону, Гиппию и Ерофееву

Действующие лица

ЗВЕРЕВ, алкоголик

ХОЗЯИН, алкоголик

САШОК, алкоголик

ВАДИМ НИКАНДРОВИЧ, алкоголик

КОЛЯ, алкоголик

ЛАВРЕНТИЙ ПАЛЬЧ, алкоголик

ВАЛЕРА, алкоголик

РЮРИК, алкоголик

УЛЬЯНА, жена Зверева, алкоголик

НАТАЛЬЯ, ее любовница, алкоголик

ЛЕНА, начинающий алкоголик

ГАЛЯ, начинающий алкоголик

ТАНЬКА, алкоголик

ВАБЛЯКИН ВАНЬКА, всем алкоголикам алкоголик

ПАРНИШКА } алкоголики

НЕИЗВЕСТНЫЙ } алкоголики

Действие происходит в Москве при советской власти

КАРТИНА ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Комната на первом этаже небольшого двухэтажного домика в московском переулке возле Спириidonовки, до сих пор почему-то не переименованной улицы (теперь домик снесен). Начало июня, тепло, прямо в раскрытие окна торчат ветки деревьев. 11 часов утра. Летают 24 мухи, все с подслушивающими устройствами. С улицы доносится исполняемая по радио песня, что-то вроде «ехал Будённый на случку». У окна стоит стол, а на столе — бутылки, разная

посуда, остатки еды; этот стол — центр всего имеющего произойти. Зверев и Хозяин лежат на драных диванчиках у противоположных стен и просыпаются одновременно. Оба среднего роста и довольно пригожи. Словом, ситуация вполне позволяет развернуть историческое полотно, лишь немного изменив время и место действия, не очень заботясь о точности, подставив на место героев любых знаменитых людей и целиком положившись на привлекательность описания бытовых деталей в жизни великого человека. Ну, хотя бы так: «Дега проснулся. С соседней койки на него смотрит Пикассо. ДЕГА: Ты, может, Манэ денег даст?», или «Евклид проснулся. С соседнего ложа на него мутными глазами смотрит Анаксимен. ПИФАГОР (входя): Фалес говорит: вам — ни драхмы!», или: «Сталин проснулся. С соседнего лежака на него мутными от пьянства глазами смотрит Троцкий. СТАЛИН: Ты, куда вчера Надька Вовку уволокла? ТРОЦКИЙ (хрипло): А тебе — чего? Партийная-то касса (хлопает себя по карману) — вот она!», или, внося элемент пикантности: «ШОПЕН (бьет Жорж Санд по рылу, затем кричит de Мюссе в соседнюю комнату): Ты, я этюд сочинил!»

ЗВЕРЕВ (хрипло): Ты, деньги есть?

ХОЗЯИН: Вчера Сашок подъехать обещал.

Входит Сашок. Он небольшого роста, крепкого сложения и несокрушимого здоровья, которое не может подточить даже начатый с третьего класса запой. В отличие от Хозяина и Зверева, людей с непонятно каким расписанием рабочих дел, Сашок должен ходить на службу каждый день, и поэтому его всегда можно заполучить оттуда в гости с самого утра. Как там это устраивается на службе, дело темное. А вообще все присутствующие и имеющие появиться не слишком отягчают себя бизнесом и мастерски владеют всем комплексом средств, позволяющих, в условиях развитого социализма, на день-другой убегать из присутствия, не теряя в зарплате. Но более всего Сашок известен как творец и адепт системы грамм-градус-копейка. Во многих, хотя и не во всех, своих приложениях система ГГК равносильна утверждению, что усилия любого здравомыслящего человека должны быть направлены либо на то, чтобы как можно скорее закупить и выпить как можно большее количество спиртного по как можно менее высокой цене, либо на то, как выпутаться из последствий предпринятых усилий и сохранить при этом идеиную верность системе. Строжайшее запрещение покупать закуску следует из общих положений системы непосредственно. В разного рода сингулярных ситуациях разрешается приобретать пиво.

Операцию умножения розничных цен на число бутылок Сашок производит со скоростью компьютера, а в способности разрабатывать оптимальные планы значительно превосходит Госплан СССР, сотрудником коего он является. Еще не было случая, чтобы величина затрат по этим планам была меньше всей наличности на более чем 10 копеек. Но, подобно национал-социализму, или военному коммунизму, или любой другой стройной идеалистической системе, систему ГГК постоянно предают предатели, люди, желающие жрать и за это готовые отречься от любой заповеди. В этих случаях иногда Сашку приходится сдаваться.

САШОК (*в руках у него бутылка портвейна за 1 р. 37 коп.*): Сейчас это выпьем и надо бежать в магазин...

Говоря, он наливает портвейн в три немытые стакана, стоящие на столе, с поразительной точностью дозировки и так называемым «небрежным изяществом движений». Все выпивают, и при этом Зверев и Хозяин оказываются уже на ногах, разумеется, одетые, как и спали. Это происходит, как в ирландской саге, где герою, после того, как он справился с двумя мелкими поручениями — кого-то зарубить и кого-то рассечь, что для него пара пустяков, — выписывается спецназряд: «напасть на тех, кто у сокровищ дракона, и пронзить тех, кто у сокровищ, но так, чтобы те, кто с теми, кто у сокровищ, не пострадали». Пока читатель пытается понять, какова может быть технология процесса, следует описание: «и он напал на тех, кто был у сокровищ; и трупы их усеяли землю; но никто из тех, кто был с теми, кто был у сокровищ, не пострадал», так что все произошло с легкостью выполнения социалистического обязательства. Раздается телефонный звонок.

ХОЗЯИН (*в трубку*): Ага! (*Слушает*). Приезжай! (*Кладет трубку*). Это Вадим Никандрыч. Сейчас приедет. Говорит, голова болит, надо поправиться. И у меня болит. Голова болит у всех, кроме Сашка, у которого она не болит никогда. На этом основании ожидаемый в гости Вадим Никандрыч утверждает, что Сашок марсианский агент.

ЗВЕРЕВ: А вчера потому что с вермутом мешали. Вот если пить Розовое Южное Сладкое... (*все вздыхают; всем хорошо известен причудливый количественный закон: степень ужасности утреннего пробужде-*

ния прямо пропорциональна степени сусальности торгового названия распивавшегося накануне яда)... Утренняя Роса за 1 р. 57 коп... (Звонит телефон).

ХОЗЯИН (*в трубку*): Ага! (Закрывая трубку, говорят свистящим шепотом Звереву): Ульяна! (Слушает, в то время как Зверев, не желающий объясняться с женой по поводу непоявления домой минувшей ночью, делает жест неприятия чего бы то ни было). Нету его! (Слушает; лицо его вытягивается). Ты, ты, погоди, он вчера звонил и сказал, что позвонит... Ага, скажу. (Кладет трубку). Ты, тебе на работе 50 рублей премии выписали!!

Наступает тишина. Осознание ситуации, т. е. того, что Зверев не ночевал дома и что его супруга, работающая там же, где и он, позвонила отнюдь не с целью потребовать его для расправы, а для того, чтобы сообщить, что ему, появляющемуся на работе раз в неделю и каждым появлением разваливающим работу всего отдела, выписана премия в 50 рублей, происходит мгновенно, и не это поражает этих закаленных людей — то ли бывает в стране победившего социализма. Поражает грандиозность суммы и спешность, с какой нужно сообразить, как вести себя с наибольшей личной выгодой в сложившихся обстоятельствах. Первым реагирует сам Зверев.

ЗВЕРЕВ (*запинаясь*): Ты, я ей сейчас позвоню и скажу, что сейчас буду... ну, расписаться в ведомости... а уж вы тут придумаете... как, чтобы мы сразу с деньгами сюда... (Звонит телефон).

ХОЗЯИН (*в трубку*): Ага! (Слушает). Валяй! (Кладет трубку). Это Коля. Сейчас приедет.

САШОК (*глянув в окно*): А вот мы сейчас специалиста спросим.

За окном слышен веселый возглас «Феликс Эдмундович, заходи, они все здесь!», и вслед за этим Вадим Никандрович появляется в комнате. Он маленького роста, щегольски, насколько это позволяет мода, летняя погода и политическое устройство в СССР, одетый, с громадным портфелем, откуда он широким жестом достает и ставит на стол бутылку водки.

В. Н. (*под гул приветствий*): Господа, добрый день. Я рад, что мне удалось сегодня избежать повседневной скуки и рутины, сославшись на необходимость провести консультацию с теоретиком... кстати, а где же он?

ХОЗЯИН: А куда ему деться? Сейчас будет... Сашок, наливай. Вадим Никандрыч, тут вот такое дело: звонила Ульяна, Звереву надо ехать и расписаться за 50 рублей...

В. Н.: Какие такие 50 рублей?

ЗВЕРЕВ (*надменно*): Мне на работе 50 рублей премии выписали.

В. Н.: Ну, Зверев! Ты не так глуп, как кажешься... Ну и что?

ХОЗЯИН: Ну, вот как так сделать, чтобы они в хозяйстве не пропали?

САШОК: Господа, давайте выпьем... (*Все выпивают; В. Н., польщенный доверием коллектива, выпивает с неким кряканьем, затем, закусывая чем-то со стола, тычет пальцем в Зверева*).

В. Н. (*Звереву*): Звони.

Зверев набирает номер, полностью доверяя гению В. Н., знающему в совершенстве и особенности зверевского трудоустройства, и сложности его семейной жизни. Данные на этот предмет следующие: жена Зверева, сама отменная скандалистка и пьяница, работает в качестве неведомо кого в том же учреждении, что и он сам; далее, в том же учреждении и в том же качестве трудится ее закадычная подруга Наталья; кроме того, есть слух, что Зверев как бы легально, то есть с ведома жены, сожительствует с Натальей; наконец, почти заведомо точно известно, что с Натальей же иногда разделяет ложе лесбиянка Ульяна. Доказательствами перечисленного присутствующие не располагают, но отказаться от удовольствия поверить в такое безобразие выше сил человеческих. А учреждение, номер которого набирает сейчас Зверев, тоже более чем примечательно, и у нас еще будет случай о нем поговорить.

ЗВЕРЕВ (*в трубку*): Ээ... это... позовите, пожалуйста, Улю... (*Некоторое время дышит в трубку, затем визгливо орет*): Да на фиг мне твои 2 рубля

7 копеек!!! (Смотрит на В. Н., тот делает утвердительный жест ладонью). Сейчас приеду! (Бросает трубку, говорит с негодованием). Сама наверно сунула куда... (медленнее и успокаиваясь) мм... да... а может, это те, что мы с Рюриком на той неделе...

В. Н.: Давай езжай туда, скажи Говиану про модель, что на той неделе кончаем, а Ульяне скажи, что вчера Хозяин защитил диссертацию. Вчера вы гуляли у него с его сослуживцами, а сегодня собираются старые друзья. Зови ее, зови Наталью, зови Ленку! По дороге сюда вы чего-нибудь такого купите, а там я у вас рублей 20 одолжу. Мне она не откажет. Ну, а потом, сам понимаешь...

План, утвержденный В. Н., вообще-то говоря, самый естественный. Надо было только, чтобы кто-то принял на себя ответственность за формулировку в явном виде того, что как бы предвечно было запечатлено в голове у любого из присутствующих. Чтобы можно было понять, что происходит, надо знать, во-первых, что Зверев является младшим без степени научным сотрудником НИИХУ, то есть научно-исследовательского института художественности в управлении, хотя по образованию он историк с уклоном в историю Византии; во-вторых, что даже по московским масштабам НИИХУ есть нечто из ряда вон выходящее по дикости, несообразности и уровню претензий: там якобы пытаются разработать подходы к разработке систем управления производством, используя методы создания художественных произведений; в-третьих, что В. Н. сразу после зачисления Зверева в штат НИИХУ учゅял, где пахнет жареным, и заключил с соответствующим отделом договор на сумму 350 рублей на предмет создания общей модели художественного творчества с приложением комплекта стандартных программ на языке ФОРТРАН, привлекши к этому Зверева и имеющего прибыть Колю, так что все трое пока беспечно резвятся, нимало не смущаясь приближением ужасного часа, когда придется узнавать, что такое ФОРТРАН, и уповая то ли на неизбежность предопределенной человеку судьбы, то ли на свержение советской власти, когда всем будет не до них, то ли — и скорее всего — на то, что начальство, также не желая отвечать перед своим начальством, и тоже худо-плохо погревшее руки на договоре, согласится считать программой сотворения Моны Лизы или Героической

симфонии любой бред, лишь бы он был написан на языке ФОР-ТРАН; в-четвертых, что имя зверевского начальника Говиан есть аббревиатура от «Гений Октября ведет и агитирует народы»; и в-пятых, что Говиан Сергеевич человек достойный, но мягкий, увлекающийся, с большими закидонами по поводу преобразующей роли передовой науки, так что опытному хищнику В. Н., имеющему докторскую степень, ничего не стоило вонзить в него свои когти. Ленка же — это тоже младший научный сотрудник НИИХУ, относительно которой у В. Н. имеются некоторые идеи.

ЗВЕРЕВ (*шарит по карманам*): Ты, погоди, у меня же должны быть 5 копеек. Еще с позавчера, когда меня в метро не пустили... вот они! Ну, давайте!

К этому моменту снова, как принято говорить, «уже нолито». Все выпивают. Зверев выходит, и с улицы доносится его и чей-то ответный приветственные возгласы. В комнате появляется Коля — длинный, худой, с портфелем чуть меньших размеров, чем у В. Н.

КОЛЯ: Привет изменикам родины! (*Вынимает из портфеля бутылку и чекушку водки и ставит их на стол*). А куда это Зверев побежал, в магазин?

САШОК: А ему, понимаешь, выписали...

КОЛЯ (*перебивая, полу вопросительно, полу утвердительно*): 15 суток? А тогда как же он...

САШОК: Да нет. Ему на работе выписали премию 50 рублей, и он поехал...

КОЛЯ (*делая большие глаза; делает он так потому, что сюрреалистичность сообщения вступает в противоречие с основами его мировосприятия*): Ну, господа, знаете ли! Чувствую я, доживем мы-таки до Книны...

Все понимают, что он хочет сказать, так как все знают, что был у Коли знакомый психиатр, а у психиатра был клиент, спятивший с ума на разработке регулярного способа, как выкладывать из спичек имена таких политических деятелей, как Ленин, Гитлер и Сталин. Открыв способ, он не угомонился, а продолжал свои изыскания и вскоре выложил по этому способу следующее в ряду имя: Книна. «Так что, Колян, — говорил психиатр, — как прочитаешь, что первым секретарем Белгородского обкома единодушно избран тов. Книна Е. Р. — лучше иди и вешайся сразу».

ХОЗЯИН: Так. Сейчас у нас 11.27. Дотуда ему ехать полчаса. (*Звонит телефон, Хозяин снимает трубку*). Ага! (*Слушает*). А его на забой списали (*слушает*). Куда? А на 9-й мясокомбинат (*бросает трубку*). Аркадия Иваныча ему, видите ли. Господа, а не выпить ли... (*звонит телефон*). Ага! Ты чего застрял? Да все уже тут. Приезжай! (*Кладет трубку*). Это Лаврентий Палыч. Сейчас приедет.

Все выпивают уже распределенный Сашком по стаканам напиток, но как только затем все вместе и каждый по отдельности хотят произнести первую фразу, как звонит телефон.

ХОЗЯИН (*в трубку*): Ага! (*Слушает*). Ну а где ему быть? Тут, конечно. Да зачем он тебе? Приезжай, поговоришь и по делу (*кладет трубку*). Это Валера. Сейчас приедет. Господа, а не...

Внезапно замолкает в удивлении, так как в комнате появляется совсем молодой взъерошенный парнишка. Он невероятно, ужасающе пьян и в этот момент помнит только о некоем своем высшем предназначении. Это несомненно типическое существо этого мира, однако оно находится на таких высотах нетрезвости, что как-то сочетает реальность и потусторонность, чем напоминает советскую власть.

ПАРНИШКА (*детским голоском*): Ты, где тут у вас магазин?

ХОЗЯИН: Там (*показывает рукой в пространство, в полной уверенности, что его понимают надлежащим образом, то есть что «там» находится всему миру известный магазин, а нигде ближе ничего спиртного купить нельзя*). Иди выпей. Где это ты так набрался?

ПАРНИШКА (*подходит к столу*): А тормозуха со вчера осталась. Еще до драки. (*Выпивает поднесенный Сашком стакан и продолжает обиженным тоном*). Мы когда работали, у нас везде магазин рядом был... А тут у вас...

САШОК: Это кто мы?

ПАРНИШКА: А дядь-Миши Кошкина комсомольская бригада. У нас везде магазин рядом. И у дядь-Сережи Глотова я когда работал, тоже везде магазин рядом... (*с улицы доносится сиплый равномерный рев длительностью 10 секунд*). Щас!! (*Выбегает. Звонит телефон*).

ХОЗЯИН (*снимает трубку*): Ага! (*Слушает, затем говорит с лютой злобой в голосе*). Аркадий Иваныч продан в рабство (*слушает*). К испанским пиратам!! (*Бросает трубку*). Господа, я считаю, что настал момент... (*звонит телефон. Хозяин берет трубку и слушает*). Принесен в жертву богине солнца! (*Слушает, брезгливо улыбается, кладет трубку*). Они там говорят — ребята, когда это вы успели? Ну, давайте.

Все выпивают, и в момент, когда все головы запрокинуты кверху, в комнату, ослабясь, входит низкий, черный и очень широкоплечий человек, похожий на Вия. Из штанов новоприбывший, которого зовут Лаврентий Палыч, достает две бутылки водки и полкило колбасы. При виде колбасы Сашок тяжело вздыхает.

Л. П. (*окидывая комнату орлиным взором и сразу замечая непонятные отсутствия*): Здорово, предатели! А где все? Где Зверев? Где Рюрик? Где Валера?

САШОК: Валера сейчас будет. А Зверев...

ХОЗЯИН (*перебивая*): Рюрик там (*указывает на дверь в соседнюю комнату*). Пускай спит. А Зверев...

КОЛЯ (*перебивая*): Зверев поехал к себе на работу (*спеша рассеять недоумение на лице Л. П.*). Ему там выписали 50 рублей.

Л. П.: Ах, вот что! (*Медленно и раздельно*). Господа, Ульяну надо убить.

САШОК: Чего так? Зачем ее убивать?

Л. П. (*медленно и раздельно, голосом профессора, осаживающего чересчур восторженного студента*): Чтобы она умерла. Господа! А какие меры принятые для борьбы с коварным и наглым врагом?

В. Н.: Лаврентий Палыч! Разреши мне рапортировать тебе, ближайшему сообщнику... (*поправляется*) соратнику великого Сталина, что ни один изверг не уйдет от карающей руки наших славных органов! (*Продолжает, нимало не заботясь о разделении суровой правды и волшебного вымысла.*) Вчера наш дорогой Хозяин с блеском защитил диссертацию. Вчера же по этому поводу состоялся банкет в ресторане «Савой», куда случайно зашел перекусить Зверев (*сдержанное хихиканье всех собравшихся. Представить себе перекусывающего в «Савое» Зверева труднее, чем недорассстрелянного делегата 17-го съезда ВКП(б).*) Ночь друзья провели в объятиях падших, но прелестных созданий, то есть один у другого и взаимно. Сегодня торжества будут продолжены в узком кругу особо отличившихся борцов за народное счастье прямо здесь, куда вот-вот должен прибыть Зверев с супругой в сопровождении еще двух блядищ... (*слова «блядищи» и «красотки» в лексиконе В. Н. взаимозаменяемы и не имеют никакого отношения ни к уровню половой распущенности, ни к степени внешней привлекательности дам, этими словами обозначаемых. Произнося свой термин, В. Н. замолкает так как в комнате появляется матерый человечище, глыба в очках. Это Валера. Из кармана он вынимает бутылку водки, ставит ее на стол и сам усаживается на стул.*)

ВАЛЕРА: Угу.

Все выпивают, на этот раз сами заботясь о наполнении стаканов.

ВАЛЕРА: Ты, а где Зверев? Где Рюрик?

ХОЗЯИН: Зверев сейчас будет. Ему на работе 50 рублей выписали. А Рюрик там (*показывает на соседнюю дверь*). Он, в общем-то, теперь пить не может. Еще когда на них со Зверевым всесоюзный розыск объявили, он мог (*всесоюзный розыск на Зверева с Рюриком был объявлен не потому, что они соверши-*

ли тяжкое уголовное преступление, а потому, что оба исчезли на 22 дня, беспрерывно пьянствуя в каком-то таинственном месте, которое ни тот, ни другой не смогли вспомнить). А сейчас...

ВАЛЕРА: Не скажи. Он может. Мы когда были в бане...

В. Н.: Кстати, Валерий Аполлинарьевич, расскажи, пожалуйста, без формалистических выкрутас, как оно там все у вас было в бане? Мои подчиненные лаборантки требуют у меня продолжения этой легенды-были. А все об этом подвиге настолько живописно преломилось в народной молве...

ВАЛЕРА: Было так. Пришли мы в баню. Там один хмырь, старый, весь в мыле, сидит на двух шайках. Я ему говорю — дай мне шайку. А он на меня смотрит и говорит: я Ленина, как тебя, видел! Ну, в смысле молод ты еще шайки брать. А я говорю: какого Ленина? И беру одну шайку. А он говорит — да Ленина, Владимира Ильича! Ну, не в бане голого, а вот так рядом. А я говорю — не знаю я никакого Ленина, и Рюрика спрашиваю: ты Ленина знаешь? А он говорит — знаю. Витьку Ленина, с улицы Огарева. Он сейчас сидит, ему за хулиганство 5 лет дали. Правильно сделали. Этот хмырь от нас отсел. А потом я его под душем увидел и говорю: я, говорю, батя, теперь понял, про кого ты говорил. Только ты фамилию неверно назвал. Это же наш управдом. Только он не Ленин, а Левин. Владимир Ильич Левин... А потом, когда в буфете пиво пили...

Слово «пиво» прекращает рассказ о подлинной фамилии Владимира Ильича. Все глядят на всех.

КОЛЯ: А где пива сейчас достать?

ХОЗЯИН: В сером может быть. В красном уже полгода не было. А в колхозном вчера точно было, только я один не пойду.

САШОК: В сером нет. Я смотрел. Я могу пойти с тобою в колхозный. У меня есть 83 копейки.

ХОЗЯИН: У меня рубль и шесть больших бутылок, а у него (*открывает валяющийся на полу зверевский портфель*) две, ноль семьдесят пять и поллитра.

КОЛЯ: Полтора рубля.

В. Н.: Полтора рубля.

Л. П.: Три рубля!!

Секунда оцепенения. Все даже позабыли о зверевской премии, а может, не слишком на нее надеются.

САШОК (глядя на стол): И тут, если всё доразить, еще девять бутылок и чекушка... (*внутри Сашка слышен щелчок и легкое жужжание*). Это получается 10.22, значит 27 бутылок пива, и останется 23 копейки, а лучше по 3 пива на рыло, а одну на Рюрика, когда проспится, и еще 2 фауст-патрона за рупь пятьдесят семь, останется 5 копеек, а еще лучше так: по 2 пива, и на Зверева, и на Рюрика, и на дам по одной, потом одну большую и одну поллитра сдать и взять три вермута по рупь сорок семь, а потом сдать еще большую и пять поллитров, и на них...

Расчетной вакханалии не видно конца: в мозгу Сашка начинают покупаться и сдаваться воображаемые бутылки, приниматься во внимание какие-то сложные варианты скидывания с алкашами у магазина, учитываться возможные варианты поведения конкретных и усредненных пьяниц, и так далее. Молва приписывает Сашку такое основополагающее открытие, как стоимость 271 поллитры по два восемьдесят семь, что составляет 777 р. 77 коп. Но тут дверь открывается и в комнату вваливается фигура — нечто мрачное, гигантское и еще более давешнего парнишка похожее на гибрид созданий того и этого миров; может быть, это даже сам дядь-Сережа Глотов. Фигура молча подходит к столу, забирает один из пустых стаканов и выходит шагами командора. Полминуты все ошеломленно молчат.

Л. П.: Да, господа. Призрак бродит по Среднерусской возвышенности. Я думаю, что нам не мешало бы...

Совет-намек принимается безоговорочно. По окончании процесса распивания Сашок и Хозяин решительно поднимаются на ноги.

САШОК: Пошли!

Звонит телефон.

ХОЗЯИН (*в трубку*): Ага! (*Слушает*). Да он сам позвонит, как только его кончат кастрировать (*бросает трубку*). Проверяют... Пошли!

Сашок и Хозяин уходят. Оставшиеся сидят и какое-то время смотрят друг на друга. В тишине слышен голос с улицы, произносящий слова, как ворочающий камни: «мы... вчера... идем. У меня — бутылка. У Генки — бутылка. А навстречу — батя... пьяный...»

В. Н. (благодушествуя): Да, господа! Я могу принять точку зрения древнегреческого софиста Гиппия, изложенную Платоном в диалоге «Гиппий Большой» (*последующее изложение диалога «Гиппий Большой», возможно, не совсем адекватно передает его содержание*). Учитель Платона Сократ в этом диалоге спрашивает заезжего софиста Гиппия, что он называет прекрасным, на что Гиппий отвечает: вопрос твой, о Сократ, прост и для дитяти. Прекрасным я называю выпить, закусить, после чего обладать прекрасной рабыней. Сократ, как обычно говорящий то, что считает верным сам Платон, а Платон, господа, — махровый идеалист, начинает задавать провокационные вопросы и спрашивает: а считаешь ли ты, о Гиппий, прекрасным драгоценный камень топаз? Ну, ясное дело, говорит Гиппий: ведь драгоценный камень топаз можно выгодно продать финикийским купцам, а на полученные деньги выпить, закусить, а потом обладать прекрасной здоровенной рабыней. Да, говорит Сократ, недаром, о Гиппий, слава о тебе идет по всей Элладе! — но скажи, будь добр, а считаешь ли ты прекрасным закат дневного светила? Конечно, отвечает Гиппий, ведь это лучшее время для пира друзей в честь Диониса и Афродиты, а это значит — выпить, закусить, после чего (*потирает руки*)... значит это дело. И тогда Сократ сдуру говорит — а считаешь ли прекрасным, о Гиппий, рев разъяренного океана? — и наступает час торжества материалистических учений: нет, говорит Гиппий, не считаю! Что прекрасно-

го в реве разъяренного океана? Ни тебе выпить, ни закусить, ни, тем более...

Л. П.: Я, о Вадим Никандрович, многократно излагал эту историю своим коллегам и однажды — студентам с кафедры, и почти всегда имел успех. Но однажды выискался талмудист и начетчик, начавший бубнить чего-то про исторического Платона, для кого, дескать, естественнее было бы в своих потаенных мечтах о прекрасном грезить об обладании невольником мужского пола. Однако на него указали пальцем и сказали: да ты и сам, небось, считаешь прекрасным мужеложество! А уж не считаешь ли ты прекрасным вообще нарушать советские законы, и...

КОЛЯ (*вдруг, вскакивая, кричит как ужаленный кому-то в окно*): Максим Федорович!! (*Выбегает*).

ВАЛЕРА (*ход его мысли иногда трудно проследить*): А у нас одного из аспирантуры выгнали. Он свою диссертацию по формальным методам прогноза рынка в ресторане за 30 рублей продал и пропил.

Л. П.: Я, господа, не специалист по формальным методам. Не могу я также похвастать числом пропитых мною диссертаций. Подследственный требует к себе диалектического подхода — так учили нас Вышинский. Но что касается искусства прогноза, то я беру на себя смелость утверждать, что в нем нету равных нашему другу и собутыльнику Сашку. Вот захожу я к нему в понедельник вечером с бутылкой и начинаю свой рассказ: вчера, говорю, встретил я Вадика в 12 часов около Большого театра. А он говорит — погоди. Дальше я тебе все расскажу сам. В 12, в воскресенье, у Большого — так: значит, пошли вы в Столешников, в магазин. С Вадиком — так: значит, взяли вы поллитра и пошли в пивной бар. Надо было брать две, все равно придется бежать. Ну, значит, там очередь, то, сё — в полтретьего вы побежали за второй в магазин на Пушкинской, оттуда в кафе-столовую № 23, распили там этот уже портвейн, и он тебе говорит,

что надо домой. И он поехал домой, а ты пошел ко мне, а меня не было дома, и ты пошел к этому журналисту, и вы напились как свиньи...

КОЛЯ (*входит, тяжело дыша*): Надо выпить. Я тут в окно одного доцента увидел, то есть не из нашего, а откуда меня выгнали. Хороший человек, его все боялись. У нас был один студент, он кончил 8 первых курсов в разных институтах, а потом его вышибали. Однажды во время ответа этого студента скончался профессор. Он говорил — я ему все блестяще ответил, он уже взял ручку ставить мне «три», но тут помер. И он с той поры вовсю пользовался своим реноме убийцы, и пошел отвечать Максиму Федоровичу пьяный. А тот вообще на работу трезвый не ходил. Я, говорит, на паровозе работал. Пить, говорит, можно, только в меру. Посинел, говорит, и хватит. Ну, этот заходит, а он ему говорит: возьми мне, говорит, интеграл Е-икс-дэ-икс, а этот...

Входят Хозяин и Сашок, оба веселые и оживленные, несущие два безобразно раздутые, как беременные собаки, портфеля. Оба начинают выгружать на стол содержимое: 10 бутылок с пивом, 4 фаст-патрона и полсырка за 7 копеек, и рассказывают, перебивая друг друга:

САШОК: Прямо за нами через два человека кончилось! Они...

ХОЗЯИН: Хорошо, меня Райка, продавщица, знает! А то сзади уже шипеть начали — в одни руки не больше двух бутылок, все такое! Они...

САШОК: Ну, у них сегодня не вышло...

ХОЗЯИН: Они хотели... они, собаки, думали...

В данном контексте и дальше словом «они» обозначается некая злая сила, постоянно и преднамеренно вмешивающаяся в жизнь хорошего человека с целью ему нагадить. При развернутых экспликациях в том же смысле используется слово «большевики». Их репертуар включает порою крайне изысканные номера: подсунуть под ногу в сандалете железный крюк, неизвестно зачем на мертвого вбитый посреди тротуара; птицей взмыть в небо и оттуда проделать известный, простой, но всегда впечатляющий трюк; но бо-

лее всего они любят воспользоваться потерей бдительности в болтающей компании и незаметно выпить всю водку. Только что ее было полно, а потом — раз, и нету. Но собравшиеся в этой комнате настороже. Все выпивают, запивают, а некоторые и закусывают.

Л. П.: Сашок! Так где же Зверев?

САШОК: Разве я сторож Звереву? (*Пошевелив губами*). Будет через 15 минут. Раз до сих пор нет, значит, в магазине стоят.

В. Н. (*внезапно встает, улыбаясь странной улыбкой*): Если я делаю что-нибудь не так, пусть партийные товарищи поправят меня... подлых изменников расстрелять, как бешеную собаку (*падает, сохраняя прямизну тела, но овладевает собой и поднимается*). Колян! Клянись партийной клятвой...

САШОК (*перебивая*): Господа! У кого какие планы на лето? Быть может, мы сумеем наконец совершить коллективную вылазку на Север?

КОЛЯ: Да зачем? Они сами отвезут...

ВАЛЕРА: Нет, господа, с тех пор как Зверев женился, летние планы дальних странствий стали нереальны. Я теперь думаю летом жить, как наш сосед дядя Лёша, то есть уйти в бурьян. У нас перед новыми домами пустырь, весь зарос бурьяном — пройти нельзя. И там летом живут алкаши. Выходят только в магазин или у кого деньги отнять. Через пустырь дорожка вьется через бурьян, ты идешь, а они, как гадюки, там шуршат. Но своих не трогают, а если с дядей Лёшем знаком, то тем более. И он туда на лето уходит жить...

САШОК: Да знаю я его... Я к тебе раз шел, а они внизу в трубе большой сидели, через которую эта дорожка. Туда шел — они только начали распивать, а назад — уже дрались, а один с ножом вылез и спрашивает — ты кто, Торпедо или Динамо?.. (*осекается, так как дверь соседней комнаты раскрывается и оттуда появляется Рюрик — красивый, черноволосый и в одетых наизнанку штанах*).

РЮРИК (*жалобным слабым голосом*): Воды!.. выпить!!

ХОЗЯИН (*наливая ему воды из-под крана*): На тебе воды и пошел спать. А выпить потом (*у Хозяина есть абсолютно точное чутье на то, когда и чего можно давать Рюрику без риска непредсказуемых последствий вроде вызова милиции соседями*).

РЮРИК (*пьет и говорит еле-еле*): О, ты верный друг! (*Чуть тверже*) А обижать-то зачем? (*Еще тверже*) Потом? что значит потом?!

ХОЗЯИН (*встает*): Еще я тебе объяснять стану! Пошел спать, кому сказано?

РЮРИК (*с железом в голосе*): Это ты мне говоришь?

ХОЗЯИН (*с издевкой*): Да уж не братьям в Конго! Спать, говорю!

РЮРИК (*шумно, как лошадь, вдыхая и выдыхая воздух*): Ну, гадина! Тварь... сука... мусор... милиционер... долго же я ждал! Пришла, наконец, пора расчитаться за всё!!! (*Бросается на Хозяина, но егохватает Валера и швыряет на диван. Рюрик засыпает, еще летя в воздухе. Его поднимают и заточают вновь туда, откуда он вырвался*).

Л. П.: Нет, господа, повсюду вокруг себя вижу язвы вырождения. Даже и футбольные рассказы стали не те. Вот в мои молодые годы у нас во дворе всякий знал, как когда-то команда молодой республики рабочих и крестьян играла в Турции с турками. У турок в воротах стояла обезьяна. Она брала любые. И уверенные в обороне турки стали нас одолевать, и уже вели 2:0. Ну, а за нас играл Бутусов. У него был смертельный удар. Он мячом в тебя попадет, и все, ты готов. Ну, ему запретили бить правой ногой, а левой разрешили бить только в пол силы. У него на ноге силомер стоял, и после каждого удара мерили, в пол силы он бил или нет. Ну, наш тренер в перерыве шлет телеграмму товарищу Сталину: как быть? Товарищ

Сталин дает ответ: разрешаю бить правой ногой. Вот после перерыва он выходит на поле и бьет правой ногой. Обезьяна берет, так как она берет любые, и с концами, так как удар смертельный. И наши выиграли 3:2.

КОЛЯ: Точно. Все 3 гола забил Вася Павлов... А ночью турки в гостинице подкрались к Бутусову и стали ему пилить правую ногу. А он проснулся, их раз, раз смертельным ударом... Давайте выпьем.

Все следуют совету, и после этого Коля пытается куда-то выйти, но идет совсем не туда, а прямо на стену. В. Н., в течение последних минут сидевший молча и читавший газету, подходит к нему и забирает к окну.

В. Н. (делая рукой жест, как статуя В. И. Ленина работы Н. Н. Андреева): Смотри, Колян (в окно видно проходную будку в какое-то учреждение, автомат для продажи газированной воды, часть улицы, двор с кучей бесхозных досок и на этих досках спящего мрачного гиганта, недавно забравшего стакан). Это всё — твое! Народ — полновластный хозяин всех недр, лесов и угодий своей отчизны! Любой советский человек в тысячу раз... (из-за угла доносится взрыв хохота и продолжение рассказа: «а вчера папанька помирал — смеху было! Мать, железная баба, и та загрохотала!». Коля вздрагивает и идет на сей раз в нужном направлении.)

В. Н.: Да, Лаврентий Палыч, мельчает эпоха... Где, скажи, сессия ВАСХНИЛ? Где разоблачение лжеученых, якобы генетиков, пытавшихся заморить голодом советский народ и заставить его разводить мухи-дрозофилу? (Задумчиво): Да разве можно от муhi-дрозофилы получить много мяса? или надоить молока? (Уверенно): И засуху победим! (Печально): Где пограничник Карапуза и его собака Ингус, за один только 1935 год задержавшие на одном только участке границы около Н-ской заставы более 455 нарушителей и

диверсантов? Где изверги в белых халатах? Где навало-отбойщик товарищ Зверев, один за смену...

КОЛЯ (*входя*): Вот и я никак не мог понять, чего там было с Карапузой. Если он один со своим кобелем наловил больше диверсантов, чем любой из его товарищей по ремеслу, то получается одно из двух: либо на других участках границы враг точил на нас зубы не так активно, чего допустить невозможно, либо на этих участках в результате прямого пособничества и разгильдяйства он все-таки пролез на нашу священную территорию, о чём и подумать-то страшно... И еще непонятно, в какую сторону все эти наруши-тели перлись, к нам или вовсё наоборот...

САШОК: Господа, вы правы, но лишь отчасти. Многое верно. Где, например, русский с китайцем братья навек? Но вот недавно мое дитя десяти лет и пяти пудов весом со своим приятелем-отличником меня спросили: а сколько на свете китайцев, а то в школе на этот вопрос учителя только пристально на них смотрели. Я говорю: ну, их миллионов восемьсот, и приятель-отличник моему говорит — вот видишь! Я говорил, что если даже по миллиону в день расстреливать, и то больше двух лет надо! Где же вы тут видите вырождение? Но мы уклонились от темы. Давайте выпьем (*все наливают*) и вернемся к вопросу об отпусках (*все выпивают*).

Л. П.: Ты, Сашок, оптимист. Вот тебя запихать в лагерь на 25 лет, а ты все будешь орать, что Ленин это Сталин вчера. Ты все веришь в возможность доехать наземным транспортом до намеченного заранее места. А я вот помню, как пять лет тому назад один мой приятель приобрел себе автомашину и в компании друзей и блядищ поехал к морю. Ну, в первый же день их забрали во 2-й Брянский вытрезвитель. Уладили они это дело, сели в машину, поехали в другую сторону, на север. Просыпаются, смотрят — а это 2-й Брянский вытрезвитель. И вот, куда бы они ни

ехали, везде на их пути вставал окружающий Москву сплошным кольцом Брянский вытрезвитель. Чего тебе, в Москве вытрезвителей не хватает?

САШОК (*набирает воздуха, чтобы ответить, но что-то привлекает его внимание, и он замолкает.*) На секунду устанавливается тишина, во время которой успевает прорезаться густой бас с улицы: «да что ты мне говоришь! В одной Таганке двадцать семь миллионов сидит!». Затем слышен, если можно так выражаться, девичий баритон: «да не успели они еще все выжрать!», и Зверев, Ульяна, Наталья, Ленка и еще две, по меткому выражению В. Н., блядища появляются в комнате).

В. Н. (*радостно вскакивая*): Рота, стройся! По изменникам родины шквальный огонь!!

ЗВЕРЕВ (*в отчаянье, не своим голосом*): Я же говорил, они пива сами купят!

ВАЛЕРА (*самостоятельно и независимо от предшественников пришедший к некоторым умозаключениям*): Ты, Зверев, одолжи 20 рублей!

УЛЬЯНА (*кидаясь к Хозяину и повисая у него на шее*): Ты, ты сколько теперь будешь получать?

Тем временем остальные разгружают на стол добро из портфелей и хозяйственных сумок. После всякого рода манипуляций под несмолкающий гам, из которого, кроме слова «они», можно разобрать только возглас «люди неандерсталинской эпохи», на столе оказываются следующие продукты: 15 бутылок водки, 4 больших бутылки вермута (одна почтая), 20 бутылок пива, полкило отдельной колбасы, принесенной еще Л. П., 10 сырков, 9 банок бычков в томате и 1 буханка черного хлеба. Схема В. Н. сработала даже лучше, чем ожидалось. Общая стоимость новых закупок равна 73 рублям 91 копейки, а из них, с точки зрения экспертов по ГГК, впустую потрачено 13 рублей 13 копеек. Видно, что Сашка мучает вопрос, каким это образом получилось так, что Зверевская премия чуть ли не переросла в Нобелевскую. Но этот вопрос он не может задать, пока Зверев представляет еще не знакомых дам и господ друг другу. Оказывается, что дам зовут Ульяна-моя-жена, Наталья, Ленка, Галка и Танька. Ульяна довольно миловидна, но чувству-

ется, что она обладает нечеловеческой физической силой. Говоря о Наталье, нельзя избежать оборота «роскошные формы». Сама она говорит, что однажды ей сделали странный комплимент, сказав, что у нее лебединая талия. Ленка — элегантная блондинка, Галка — элегантная брюнетка, Танька похожа на волосатую змею, а в общем, как говорит циник и галантный кавалер В. Н., килограмм на 300 наберется. Дамы немедленно закуривают. Никого не смущает простота сервировки и ее несоответствие столь торжественному событию, как обмывание диссертации. Это все с лихвой искупается задушевностью и сердечной теплотой встречи.

ЗВЕРЕВ: Итак: это Ленка, начальник отдела космических пришельцев у нас в лаборатории. Ей тоже выписали 50 рублей (*Сашок начинает осознавать, что значит морально-политическое единство, рабочая со-лидарность и верность идеалам движения*). Это Танька, замначальника отдела личного бессмертия. Она замужем была за замначальника отдела фактора нечистой силы, но он на бюро сказал, что наш институт не должен размениваться на такие мелочи, как личное бессмертие, и она от него ушла (*Зверева ничуть не смущает такая откровенная экспликация интимных сторон Танкиной жизни, как, впрочем, и ее саму. А почему в НИИХУ наличествуют столь необычные отдельы, все уже отчаялись уразуметь*). Ей выписали 30 рублей. Это Галка, начальник сектора унификации вдохновения...

ТАНЬКА (*сразу по прибытии успевшая выпить чай-то стакан*): Зверев! А ты говорил, тут один законно счет по-английски (*Ленке, дергающей ее за рукав в надежде что-то предупредить*). Да отстань!

ЗВЕРЕВ: А вот этот (*тычет пальцем на Сашку*).

ТАНЬКА (*Сашку*): Ты, как по-английски будет кривоссачка?

САШОК (*неожиданно обнаруживающий владение учтивой речью*): Ээ... видите ли, такого слова, собственно, нет в современном английском... вы можете сказать это так (*издает непонятный звук*), если речь

идет о приборе, продуцирующем несбалансированную струю... или так (*издает другой непонятный звук*), если речь идет о физиологическом отклонении...

ТАНЬКА (*презрительно машет рукой*): Эх ты! Такого слова и то не знаешь!

Л. П. (*вмешивается в дискуссию*): Господа! Предлагаю выпить за успехи нашего дорогого (*к Хозяину*)... Давай!

Все выпивают и закусывают. Разговор становится всеобщим. Чаще других слышны слова Зверева «а когда я был в женском вытрезвителе», слова Валеры «лучше всего головой об стену» и голос Л. П. «товарищ Берия учит нас». Присутствие постепенно структуризируется, и почти все мужчины, со стаканами в руках, оказываются сидящими вокруг начальников отдела космических пришельцев и сектора унификации вдохновения, в то время как Ульяна, Наталья, Танька и Валера разбираются за столом.

ЗВЕРЕВ: А вот когда я был в женском вытрезвителе...

КОЛЯ (*перебивая*): Галя, Лена, вот вы послушайте: мы тогда взяли еще бутылку...

В. Н. (*перебивая*): Лена, я им много раз повторял, что алкоголь страшный яд, но тут...

Л. П. (*перебивая*): Да, Галя, мы взяли еще бутылку, а Ваблякин Ванька...

ГАЛЯ: Постойте, Лорик! А как же те ваши друзья, которые взяли бутылку в том магазине?

КОЛЯ: Так они тоже взяли еще бутылку и идут, а навстречу им Ваблякин, Ваблякин Ванька с бутылкой...

ХОЗЯИН (*перебивая*): Ну, ясно, тут они пошли и взяли еще бутылку!..

ЛЕНА: Как интересно! Ой, я начинаю понимать: и те пошли и взяли бутылку...

ЗВЕРЕВ: Я когда был в женском вытрезвителе...

КОЛЯ (*перебивая*): Ну, да! А дальше они пришли в тот подвал с Ваблякиным Ванькой, и мы идем в тот подвал, тоже с бутылкой, потому что уже все закрыто...

В. Н. (*перебивая*): Нет, ведь мы тогда этому позвонили, чтобы он в подвал с бутылкой ехал, а уж тогда Ванька... Кстати, господа, чувствую я, накликаем мы сюда Ваньку, хватит уже о нем! (*Лене и Гале*). Это, знаете, один наш приятель. Его почему-то никто не зовет просто Ваня, а вот только так — Ваблякин Ванька... он сам-то ничего, а вот его кодла — ну, соучастники... (*звонит телефон*)

ХОЗЯИН (*в трубку*): Ага!! (*Слушает, кричит*). Ну, ты даешь! Приезжай! (*Бросает трубку*). Ваблякин Ванька! Сейчас приедет!

В. Н. (*с досадой*): Ну, говорил же я... Устроят сейчас тут пьяницу...

ГАЛЯ: Вадик, постойте! А как же вы говорили, ну, про этого Платона... прекрасное есть выпить и закусить...

В. Н. (*проникновенно*): Галя! Платон мне друг, но пить я предпочитаю с Валерой...

ЗВЕРЕВ (*ничего не забывший и все-таки прорвавшийся к ключевым позициям*): Ты, погоди! Я когда был в женском вытрезвителе, сперва все было хорошо. Они меня голубили, говорили — касатик, молодой какой... А потом одну пихнули, она сразу ко мне, стала руки в боки, и говорит: я тебя знаю. Ты — Эмиль. Ты в том году у меня пропил шаль. Тут они все поняли, кто я. Еще одна говорит — сука, изменщик, все через тебя наперекосяк пошло, всех вас, жидов, надо убивать. И они на меня пошли, а тут входит сержант, такой симпатичный большевик, и как на них заорет: цыц, паскуды! Всем амнистия, вытрезвитель освобождаем под евреев, приезжает Никсон! А ты — это мне — иди сюда! А там Рюрик... (*речь Зверева вдруг замедляется*) ...мы идем, говорим — нам на осмотр велели... ушли по тихой... давайте... выпьем...

Голова Зверева падает на грудь. Какое-то время он силится что-то выговорить, но разобрать можно только что-то похожее на «бшевики».

САШОК (*Звереву*): Ты чего?

ЗВЕРЕВ (*шепотом, так как не в силах говорить громко*): Этих... шевиков... къени... матери... длой... ветск... ласть...

Изложив основные тезисы так называемого «великого и все-побеждающего учения Зверева», автор засыпает. Но все знают, что его способность возрождаться граничит со сверхъестественной и что через пять минут он будет оживлять пир наравне с другими. Праздник жизни продолжается.

ЛЕНА: Вадик, а этот ваш приятель Гиппий — он тоже приедет?

В. Н.: Я не вполне уверен... Он иногда появляется... ну, после трех бутылок...

Л. П.: Галя, идемте выпьем... чего это со Зверевым?

ЗВЕРЕВ (*дергается во сне*): Вся власть помещикам... да здравствует 12-часовой рабочий день...

ГАЛЯ: Может, его надо уложить? (*Опасливоглядит на Ульяну, лиющую в своей компании за столом*).

КОЛЯ: Да что вы, чего с ним будет! Вот вы лучше послушайте: производная пьянка — это такая пьянка, которая на деньги от бутылки за первую пьянку, а существенная пьянка — это такая пьянка, у которой вторая производная не ноль..

САШОК (*с гримасой превосходства практика над восторженным романтиком*): Колян, да это же не так! На не ноль тебе никто ни в одном магазине ничего не даст, а надо, чтобы было больше чем на бутылку чего в магазине есть...

Прерывает комментарий, так как Зверев пришел в себя и озирается вокруг себя. Все приветствуют его радостным криком, что привлекает внимание Таньки, отрывающейся от стола и, пристально глядя на Зверева, подходящей к беседующим.

ТАНЬКА (*уже прилично надрызгавшись, Звереву*): Я тебя знаю. Ты — Эмиль. Ты в том году... (*Хочет вцепиться Звереву в рожу, но падает на диван, сбитая*

могучим ударом подошедшей Ульяны). Женился, да? А ребенка... (Засыпает).

В. Н.: Дамы и господа, прошу всех к столу! (*Все, кроме Таньки и тех, кто уже за столом, но включая тех, кто был около тех, кто был за столом, усаживаются за стол*). Итак, здоровье (*путается в словах*) наших жен и их очаровательных подруг! (*Выпивает, и все следуют его примеру*).

ВАЛЕРА (*мертвой хваткой обнявший сразу роскошную Наталью и могучую Ульяну*): И тут я сходу бью ему в рыло! (*Девушки, упоенно слушающие, плотоядно хэкают синхронно с Валерой*), и он с копыт! — тут я ему по кишкам, а Рюрик хрясь сапогом по черепу! И он тогда, гад, начал делать так — знаете, когда блюешь — грды... грды...

УЛЬЯНА и НАТАЛЬЯ (*с надеждой*): И с концами?

ВАЛЕРА: В натуре, с концами! Ну, мы пошли, выпили...

УЛЬЯНА: Ну ж я бы их, псов, всех поудавила...

НАТАЛЬЯ (*гладит Валерину руку, толщиной с обыкновенную ногу*): Валера, а не больно было? Ведь по голове же бьешь! Может, лучше кастетом?

ВАЛЕРА (*снисходительно и нежно*): Дурочка, за кастет тебе хранение оружия пришьют... Может, выпьем?

Наталья, Ульяна и Валера выпивают.

ГАЛЯ (*Сашку*): А вы в натуре английский знаете?

САШОК (*польщенный вниманием интересной женщины*): Ну, в общем... могу там...

ГАЛЯ: А вы мне контрольную напишете? А то я на заочном, и Говиан Сергеич велел в том году закончить, а то больше меня нельзя будет держать на завсектором...

САШОК: О, разумеется! Но сперва давайте выпьем...

Наливает Гале и себе. Оба выпивают. Галя пытается не допить до конца, но под укоризненным взором своего кавалера смущается и отважно выливает в себя весь стакан.

ЛЕНА (Л. П.): Лорик, а про вас верно рассказываю, что вы можете поллитра выпить зараз?

Л. П.: Поллитра? Да хоть сейчас! (*Привлекая Лену к себе*). Но глядите: вон сидит Валерий Алексеевич: он зараз может выпить два поллитра.

КОЛЯ: И меньше никогда не пьет.

В. Н.: Мочь-то он может, да кто же ему столько зараз даст?

Л. П. (*обращаясь ко всем участникам дискуссии*): А может, нам немного выпить? Лена! Галя! вы по скольку можете выпить зараз?

Вопрос остается без ответа. Из-за спины Л. П. к столу простирается восставшая из праха Танька. Ни слова не говоря, не пытаясь идентифицировать Зверева, она наливает себе стакан водки, и, глядя на нее, все остальные лихорадочно делают то же самое.

ЗВЕРЕВ (*с момента своего появления за столом сидевший молча, шевеля губами и чего-то прикидывая, внезапно*): Секретное заседание Политбюро считаю открытым! На повестке дня назначение народных избраников! Ты (*указывает пальцем на Сашка*) будешь министр экономики! (*Сашок работает по экономической части*). Ты, Колян, будешь министром математики! Ты, Вадим Никандрыч, будешь министр повышения сортности кожи путем электронных облучений! Ты, Валера, будешь министром определения зольности в углях Карагандинского бассейна! Ульяна, моя жена, будет выслана в административном порядке! (*Зверев понимает, что сейчас возможны любые эскапады, так как Ульяна слишком увлечена состязанием на перегибание руки с Валерой*). Ты, Танька, будешь товарищ кабинета министров... (*в этот момент Хозяин, с момента своей последней реплики боровшийся со сном, сидя за столом, вскакивает и, не ожидая своего назначения на должность, броса-*

ется к входящему щетинистому парню, размахивающему бутылкой водки).

ХОЗЯИН (*громовым голосом*): Ваблякин Ванька!!! (*Кидаются Ваблякину Ваньке в объятия*).

ЛЕНА и ГАЛЯ (*испуганно прижимаясь к Л. П. и Сашку соответственно*): Ой, какой страшный!

Их испуг можно понять — лицо Ваблякина Ваньки разбито в кровь, рубаха навыпуске разорвана у ворота, волосы всклокочены. Вопреки предположениям, он без кодлы. Говорить он может еле-еле, отчасти от негодования на нечто только что пережитое, отчасти потому, что пьян.

ВАБЛЯКИН ВАНЬКА (*рыдая и смеясь у Хозяина в объятиях*): Ну, суки позорные... закрывать на перерыв хотели... с ракетами ихими гадскими... (*внезапно, глядя на В. Н.*): А это что за рожа? Что за большевик?

ХОЗЯИН: Да что ты! Он компанейский парень...

ВАБЛЯКИН ВАНЬКА (*угрожающе рычит*): Он сейчас узнает, какие есть компанейские ребята!! (*В. Н. испуганно сжимается в комок*).

РЮРИК (*появляясь из другой комнаты в том же виде, как и раньше, и кровожадно направляясь к В. Н., которого знает лет 15*): Он надолго запомнит этот день!

Все трое — Хозяин, Ваблякин и Рюрик — леопардовым прыжком оказываются у стола, намереваясь тут же разделаться с В. Н. или его защитить; но, достигнув стола, едва не спотыкаясь об него, наливают, выпивают и тут же засыпают.

В. Н. (*облегченно*): То-то... я говорил — пить меньше надо...

ЛЕНА: Вадик, а вы пробовали не пить? Это трудно?

В. Н.: Да ничего трудного! Я, бывало, часами не пил...

ВАЛЕРА (*вдруг вскакивая с места, как бы потрясенный осознанием открытия*): Уля! В магазин! Может, там дерутся!

В. Н. (обладающий способностью укрощать Валеру одним внушением): Сядь! Дамы и господа! После исторической речи вождя нам остается только отдать все силы на воплощение этих животворящих идей в жизнь! Слава! По всей стране веселые ребята в простых коричневых рубашках строят новую жизнь! Китайские ракеты надежно стерегут мирное небо над Бухарестом! Канадские хлеборобы не жалеют ни сил, ни средств, чтобы обеспечить нашу родину хлебом! Прекрасное есть выпить и закусить! За здоровье прекрасных дам!

Все пьют, даже не дожидаясь конца здравицы. Наступает маразм как высшая стадия алкоголизма. Дамы и господа пьют водку и пиво, как цветы росу на заре. Разговоры сменяются произнесением безадресных фраз, хохотом и безошибочным чтением мыслей.

ЗВЕРЕВ: Россия... кино тюрьма народов... гостиница жандарм Европы...

В. Н. (бормочет, стараясь не дышать на Лену, держащую его за рубашку): Господа... алкоголь ужасный яд...

ЛЕНА (тряся В. Н.): Вадик, слышишь! Познакомь меня с Гиппием и Платоном! Это прекрасно — выпить, закусить, а затем обладать здоровенной рабыней!

Л. П. (тряся Лену): Лена, слушай! Да Витьку-то Гиппия посадили за мужеложество! Ему пять лет дали и правильно сделали! Да и этому (*показывает пальцем на В. Н.*) туда дорога!

НАТАЛЬЯ (Таньке): Я заняла, говорю — что дают? Они говорят — сейчас скажут, сказали — будут давать! Я говорю — по-скольку в одни руки, а они говорят — говорят, без ограничений, а я говорю — а не кончится?, а они говорят — не, сказали, весь день будут давать...

ТАНЬКА (Наталье): Я ему говорю — гад ты, гад, гад! Уже к себе домой со своей паскудой припер-

ся, а он только икает, и говорит — тс! тс! это твоя сестра...

КОЛЯ: А Лобачевский знал — вся наука от народа... он говорит старикам на селе: старики! как вы скажете за параллельные прямые? А они говорят: Коль, это дело хитрое. Кто их знает — может, они и сходятся? А он им толкует — а как же там тангенс? А они говорят: э, говорят, Коль, уж если ты до тангенса доигрался, то надо тебе рассмотреть присоединенную алгебру Клиффорда...

САШОК (*ухаживая за Галей*): А если взять плодово-выгодного за рупь 37 и дешевого, но противного вермута за рупь 27 две бутылки, то у тебя еще останется 42 копейки и еще ты на троих можешь сговориться у магазина...

ГАЛЯ (*почти до бессознательности споенная Сашком, млея от восторга*): Ой, Сашок, ты такой культурный! (*В порыве благодарности и усваивая новый стиль*). Ты, а что такое унификация вдохновения? А то я сектором заведую, а Говиан...

УЛЬЯНА: Не, лучше всего прямым в нос. Ну, а дружинники, ясное дело, садисты. Таких вот и надо: коленом горло придавить и держать, пока не обгадяतся...

ВАЛЕРА: Не, Уль, я цветы люблю: розы... астры два рубля букет...

ЗВЕРЕВ (*тихо бормочет в полусне, опровергая любимую теорию Коли и В. Н. на тот предмет, что повествовательная речь без частицы «бля» невозможна*): Асры, вашё! Два рубля букет, вашё!

Засыпает. Когда он просыпается, а это происходит на другое утро, в комнате следы вчерашнего, и никого нет, кроме храпящего на полу Хозяина и спящей на диване продавщицы Райки. Райка просыпается в то же время и удивленно смотрит на Зверева, чье присутствие тут столь же удивительно для нее, как ее присутствие для него.

ЗВЕРЕВ (*хрипло*): Ты, деньги есть?

ВИЛЬЯМС Николай Николаевич родился в Москве в 1926 году. В 1945 г., будучи студентом мехмата МГУ, арестован и приговорен на семь лет по ст. 58-10, 58-11. (Об этом студенческом деле см. Ю. Гастев. Судьба «нищих сибаритов». — «Память» № 1 и 3.) По пересмотру дела срок был сокращен до пяти лет. Освободился из лагеря в 1950 г., жил и работал сначала в Тульской обл., затем в Тарту. В 1954 г. вернулся в Москву, поступил снова на мехмат и закончил его в 1960 году. Преподавал математику в московских вузах. В 1968, за подписи под несколькими письмами протеста, был отстранен от преподавательской («идеологической») работы. Защитив в 1970 г. диссертацию по алгебре, вновь был допущен к преподаванию. В 1977 г. эмигрировал. Живет в США, преподает математику в Тэрритауне (штат Нью-Йорк).

23-го июля 1980 года в автомобильной катастрофе погибла Ира Каплун. В апреле ей исполнилось 30 лет. Осталась без матери годовалая дочка Женька.

Не передать словами нашей боли, нашего горя и возмущения чудовищной жестокостью судьбы.

Ира жила сильно, трудно, страстно и счастливо, потому что вся ее жизнь была борьба с неправдой и злом во имя добра и любви. Ее преследовали — она сидела в тюрьме, ей приходилось терять друзей, отчаяваться, надеяться, радоваться. И ни на секунду не замолкала, звенела главная струна ее сердца: помочь, спасти, оградить человека от произвола и беззакония. Этим жила Ира Каплун.

Так жить не всякий умеет. Она умела.

Ее удивительное лицо, ее глаза, полные огня и жизни, ее смех — веселый,sarкастический и всегда от души, ее органическая неспособность к лицемерию, ее безоглядная прямота и честность в любви и нелюбви — вся она, как живая, перед нашими глазами. Живою в нас и останется.

Родные и друзья

ИЗ КНИГИ «МЕТРОПОЛИЯ»

* * *

Я не люблю парадный Петербург,
Царей российских римские затылки
И тощих шпилей золотые вилки
Во мне рождают не восторг — испуг.
Викторианский скрежет колесниц
Мемориальность триумфальных танков,
Скупые жесты бронзовых десниц
Одетый камнем департамент тайный,
Вот почему державная Нева
Напоминает ледяную Лету,
И ведаю: Бог призовет к ответу,
Не зная, в чем была моя вина...

* * *

И все-таки она — одна,
Так безначальна, неделима,
Неопалима купина
В своем соцветии целинном.
И все-таки она — в крови
Монаха, ратника, монарха,
И поколение хранит
Мощам истлевшим патриарха...
Как хочешь это назови.
Тогда я назову любовью
И страстотерпие воловье,
И в красном пламени овин...
Мужей стальные стремена
И жен кандалльные браслеты,

И душ томление по свету
И в списках — павших имена...

* * *

Не мне глядеть «в глаза семи морей»,
Смотрюсь в одно-единственное море,
Как в зеркало слепой судьбы своей.
(Не спрашивай, любимый, о Босфоре!)
Державен дух, но — горе — плоть хрупка,
Так инородно собственное тело,
Что чужестранкой правая рука
Все норовит сместиться круто влево.
Подводным рифом ранена ступня,
«Бродяжий посох» вдруг не зацветает,
Тень Судного, спасительного дня
Над хатой чернокнижника витает...

* * *

B. B.

Путешествие в Павловск на сытых моих рысаках,
Быстроногость езды по укатанной, барской дороге,
Крутолобой горы далеко не пигмейский раскат,
Отступление в тыл затаившейся в теле тревоги.
Этот, прямо на улице, сивый березовый лес,
Тополиное племя стреноженных выгой бульваров,
Коротает свой век на завалинке стриженый бес,
Чтобы в тартарары не слететь с голубых тротуаров.
Золотого интима — трескучей костра — говорок,
Позапрошлых свиданий раскрытые настежь ворота,
И любимого друга исходный, лихой кувырок,
И прощальный платок вон за тем удалым поворотом...



Декабрь, раскольник, старовер,
Я оступилась на пороге,
Я отступила от дороги,
Войдя в потусторонний сквер.
Метели белое тавро
Прожгло деревьям лбы и спины,
Бредут с котомками осины
Не в сквер, а в северный острог,
И отступившись от всего,
Им ничего теперь не жалко...
Декабрь! Я — тоже каторжанка
На каторге твоих снегов.



С карточки смотрит девочка
В прикурковатой мгле,
Простоволосой ведьмочкой
Скачет на помеле.
Прошлое нас не мучает,
Времени узок спектр.
В небытие дремучее
Движется твой проспект.
Дом на ветру сутуился,
Дочки твои растут,
Чью-то другую улицу
Ольгинской назовут.
Там за ее границами —
Чудо из всех чудес:
Горько пропетый птицами
В трауре зимний лес.





В стороне от дороги Фавора,
На окраине Павловской чащи,
Человек, упакованный в ящик,
Дачный житель, сокрытый от взоров.
Водит дружбу с маэстро Гонзаго
(Старику докучает изрядно
Плодоносный соседский курятник
И явления тайного знака).

Так и делят глухую опалу
В резиденции мертвого Павла
Муз служители в дачном обличье
В стороне от любви и величья,
Неподвластные даже увечью
На пороге в открытую вечность...



Не подавай руки мне, брат,
Не дай себя на поруганье,
Пусть за решеткой райских врат
Пойду, как девка, по рукам я,
А ты в ознобе не стенай,
И рук заламывать не надо:
Я — истина. И мой Синай —
Вдали от блеющего стада.
Я отступлю за горизонт,
Я превращусь в Фата-Моргану...
На мой китайский, яркий зонт
Небесная струится манна...
Так подставляй ладони, брат,
Носи мешками Божью милость...
... Пора бы парус вверх, пират,
Пока я в трюм не просочилась?

* * *

Не потому, что колокол звонил,
А нам казалось время неурочным,
И мы старались из последних сил —
Ни шагу к центру со своих обочин,
Не потому, что звон его дрожал,
Как бедная земля в землетрясенье,
Как будто лава раскаленных жал
Терзала нашу притчу о спасеньи,
Не потому мы каялись в грехах,
Когда ловцы в тенеты нас ловили,
А потому, что звон, и дым, и прах —
Едина плоть. И мы ее любили.
Но дьявол сторожил на полпути
И угасало колокола пенье,
И он болтался скоморошьей тенью
На полпути...

* * *

Образ этого края,
Злая даль бездорожья,
Нас забвеньем каая,
Песнопеньем осторожным,
Нам грозит на рассвете
Отлученьем от дома,
Где растут наши дети
И стареют мадонны...

ВЕСТИ ИЗ СССР

Информационный бюллетень содержит по возможности полную и в то же время краткую информацию о состоянии правозащитного и демократического движения в СССР, включая религиозную и национальную оппозицию. В бюллетене содержится регулярная информация о политических репрессиях в СССР, о положении советских политзаключенных, о состоянии выезда граждан СССР за границу.

В бюллетене Вы найдете информацию о существе обвинений против инакомыслящих, их краткие биографии, адреса их родственников, адреса советских тюрем, лагерей, мест ссылки, психиатрических больниц и тюрем, куда заключены люди только за свои убеждения.

Бюллетень выходит по-русски два раза в месяц, по-немецки один раз в месяц.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА НА 1 ГОД — 90 F.F.,
40.— D.M., 25 doll. USA

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО ВЫПУСКА — 10 F.F.,
5.— D.M., 3 doll. USA

Все, желающие получать ТОЧНУЮ, ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕСЛЕДОВАНИИ ЗА ВЕРУ, УБЕЖДЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНУЮ ОППОЗИЦИЮ СОВЕТСКОМУ РЕЖИМУ, заказывайте бюллетень в Немецком Обществе прав человека:

*GESELLSCHAFT FÜR MENSCHENRECHTE e. V.
Kaiserstraße 40,
Postfach 2965
6000 Frankfurt am Main 1
WEST GERMANY*

В КРЫСИНОМ ЗАБОЕ

(Отрывок из романа «Кенгуру»)*

Простить себе, Коля, не могу, что, когда мы обговаривали с Кидаллой условия, я попросил отправить меня в лагерь с особо опасными врагами Советской власти, бравшими Зимний, и с соратниками Ильича, которых подловили в тридцать седьмом.

Отошел я от наркоза в кузове трехтонки. Катаюсь по кузову в черном бушлате, на ногах кирза, на грапках брезентовые рукавички, на стриженой, на бедной моей голове солдатская, фронтовая еще, ушаночка с дыркой на лбу и за ухом. Ветер в этой дырке свистит. Сентябрь. Тоска на земле. Даже выглядывать из кузова неохота. Знаю: на воле, по черным полям, по земка метет, белая, как глаза у Кидаллы, и вдалеке несчастные огоньки на вахтах мерцают.

В сорок восьмом я как-то летел в Хабаровск на встречу с Томом-контрабандистом, так веришь, Коля, самолеты тогда низко летали, ночью вся земля под крылом желтыми квадратиками была расчерчена, одни больше, другие меньше: на освещение предупредительных зон в лагерях току не жалели. К тому же много строилось новых ГЭС и электрификация всей страны шла как по маслу. Сердце у меня кровью в том полете обливалось: лагерь на лагере, лагерь на лагере. Ты-то ведь сверху ни разу на это безобразие неknокал, а я нагляделся. Где-то тут, думаю, и твой лагерек, дорогой Фан Фаныч.

Приехали. Растрясл меня на колдобинах. Печенька — в одном углу кузова, мочевой пузырь — в

* Роман выходит в этом году в издательстве «Ардис», США.

другом, в остальных — руки-ноги. Вылезаю. Отдол-
донил: «Он же, он же, он же, он же, Харитон Усти-
ныч Иорк... пятьдесят восьмая: раз два три четыре
пять через скотоложество с подрывом валютного
состояния Родины... по рукам, по рогам, по ногам и
тэдэ».

Вышел поглядеть на меня сам Кум — здоровен-
ный хохол. Я ему сходу раскинул чернуху, что чис-
люсь за самим Берий и пусть сделает из этого вы-
воды, так как, — говорю, — ваша псарня создана для
моей охраны, ибо меня официально хотят выкрасть
пять разведок мира.

— Прошу, — говорю, — нары в правом дальнем
углу и в теплом бараке.

Тут кум меня спрашивает:

— Упираться, чума, будешь? Говори сразу!

— Всегда, — говорю, — готов, но надо суток
трое оклематься после общего наркоза. А потом гу-
дите громче гудками и бейте, господа, морожеными
своими руками по заиндевелой рельсе. На общие,
кстати, работы я сроду не выходил, поскольку, —
поясняю, — номенклатура, а вот полное собрание
революции зеркальца нашего ясного, Льва Николаеви-
ча, девяносто томов согласен начисто переписать
ровно за двадцать четыре года и шесть месяцев. Пол-
года, извините, господа, пропало у меня на предва-
рительное тюремное заключение. И если, — добав-
ляю, — можно, то пожалуйста, дерните из Иркут-
ского централя какую-нибудь завалившую Софью Ан-
дреевну мне в помощницы.

Короче, Коля, так я истосковался в своей третьей
комфортабельной по отвратительным человеческим
лицам, что растрёкался неимоверно. К тому же ото-
грелся на вахте. Кум на всякий случай кое-что из мо-
его трёканья записал. И пришел я в барак веселый,
оттого что я живой, руки-ноги кукарекают, небо сияет
по-прежнему над головой, земля, хоть и казенная, но-

сить меня продолжает, и главное, самое страшное позади, а впереди что будет, то будет, спасибо тебе, Ангел-Хранитель, друг любезный, и прости за выпавшее на твою долю трудное дело вырвать такого окаянного человека, как я, из дьявольских лап уныния и смерти!..

Вхожу, значит, в барак вместе с кумом Дзюбой! Глаза у него были темно-карие, а белки желто-красные. Он напоследок сказал, что если начну чумить, то он быстро приделает мне заячий уши, потому что лично расстрелял и заставил повеситься от невыносимостей следствия тысячу девятьсот тридцать семь человек в честь того замечательного года и не дрогнет перед тридцать восьмым, хотя ушел вот уж как год в отставку.

Пока мы шли в барак по зоне, я успел спросить, были ли среди расстрелянных Дзюбой врагов знаменитые люди? Оказалось, что были. Каменев, Розенгольц, Блюхер, граф Шереметьев, графиня Орлова, сыновья Дурново и в общем все больше представители высшего дворянства и священники, а выдвинули его на это дело после того, как он без промаха поразил свою высшую цель — царского сыночка Алешу, оказавшего чекистам сопротивление невинным и тихим взглядом.

— Еще, — говорит, — премию мне на проводы дали: вывод в расход составителя учебника арифметики Шапошникова и писателя Симонова.

Я говорю:

— Не чешите мне уши, гражданин Дзюба, все они живы и на свободе. — А он отвечает, что я, хоть и чума, известная всему миру, но фраер, если не просек, что и арифметик, и «Жди меня и я вернусь» не настоящие, а заделанные после расстрела в номерной мастерской.

— За что же их, — спрашиваю, — замочили?

Ну, когда Дзюба сказал, что Шапошников в учебнике навредил и Дзюбин сын поэтому таблицу умно-

жения третий год выучить не может, а жену Дзюба застукал со своим родным брательником и патефон в этот момент играл песню Симонова «Жди меня и я вернусь», то я понял, Коля, что Дзюбу пошарили в отставку по этому делу. Поехал он. Стебанулся, злодей.

Входим в барак. Все встают, как в первом классе, только медленно. Дзюба говорит:

— Вот вам староста, фашистские падлы! Выкладывайте, международные арены, пока шмон не устроил, сутки в забое продержу!!! Живо!

Смотрю, таранят несколько зэков какие-то дощечки и тряпочки с какими-то стрелками и кружочками. Они на этих дощечках и тряпочках, поскольку жить не могли без политики, занимались расстановкой сил на международной арене.

— Сколько можно напоминать, проститутки, что азартные игры запрещены? Фишек не вижу! Живо сюда свои монополии, концерны, картели, колонии, буржуазные партии и так далее... Экономический кризис капитализма опять притырили? Не дождется, бляди, нашего поражения, сколько бы вы ни тешили себя на нарах! Расстановка сил на международной арене снова в нашу, а не в вашу пользу! Поняли, кадетские хари и эсеровские рожи? У нас бомба водородная появилась! Съели, гаденыши?

Ты бы посмотрел, Коля, что стало при этом известию твориться в бараке! Эти зачуханные, опухшие, седые, худые, забитые, голодные, бледные зэки заплясали от радости, начали трясти друг другу руки, обниматься, целоваться, а один, жилистый такой, с бородкой и в пенсне, слезы вытирает и говорит Дзюбе:

— Да поймите вы наконец, гражданин надзиратель, что у нас и у вас одна конечная цель — мировая коммуна, и если мы разыгрываем на самодельных международных аренах классовые бои, то это исключительно из желания, чтобы некоторые наши

тактические и стратегические задумки стали оружием в борьбе пролетариата против фашизма и капитала. Поймите и то, что мы приподнялись над личными трагедиями, над наветами, над самой страшной для человека нового типа из всех земных мук — мукой отлучения от партии и ее дел. Приподнялись ради веры в объективный ход истории, ради глубокого уважения к несгибаемому слуге Исторической Необходимости Сталину. Отошлите наши труды в Цека. Товарищи оценят ваш шаг. Вы окажете неоценимую услугу рабочему движению! И разрешите нам передать приветствие партии в связи со взрывом водородной бомбы?

Дзюба на это отвечает:

— Про взрыв, Чернышевский, забудь. Тебе не положено иметь информации. А задумки свои стратегические и тактические давай.

Чернышевский по-новой его спрашивает:

— Спасибо. Партийное спасибо. Скажите, а на наше предложение совершить террористический акт против Тито и его клики пришел ответ?

— Пока нема ответа. Думает партия.

— Странно. Сейчас очень выгодный момент для ликвидации Иуды и превентивного нападения на Югославию. Неужели Цека не понимает, что ревизионизм должен быть уничтожен в зародыше? Скажите, гражданин надзиратель, проект о внедрении в ряды республиканской партии США и консервативной партии Англии наших товарищей отослан Кагановичу?

— Отослан. Разглядывают его. Прикидывают, что к чему.

— Как мы все-таки медленно чешемся! Как мы привыкли к тому, что время работает только на нас! И еще один вопрос: два года тому назад вы сказали, что наш план объявления Америке экономической блокады одобрен Сталиным. Как в таком случае обстоят дела?

— Дела обстоят, как говорят, неплохо. На бирже у них паникуют. В половине штатов рабочие объявили безработицу. Пить начали. А как побросали наши послы яду, который ваш этот... ну он еще дуба дал... ага, Хабибулин, то пшеница вся полегла, скот мрет и в Чикаго мясокомбинат прикрыли. Такие дела. Бурлит Америка.

— Вот это — радость! Товарищи! Почтим минутой молчания память настоящего партийного химика Самуила Хабибулина. Он не дожил двух дней до победы. Ведь это же кризис мировой капиталистической системы!

И опять, Коля, бывшие большевики начали целоваться, а Дзюба говорит:

— Я знаю, Чернышевский, куда ты, пропадлина, гнешься, но мне мозги заебать трудно. Кто их заебет, тот и дня не проживет. Скидывай портки, вставай раком, вертай обратно фишку мирового кризиса! Вот так! Ты гляди! И национально-освободительные движения ухитрился туда же засунуть! Вот чума! Староста! Как заметишь, что снова гады не сплят, а силы на аренах расstanавливают, так сходу стучи на вахту! Спать, сволочи! Отбой!

Отвалил Дзюба, а Чернышевский, Коля, подходит ко мне и руку протягивает:

— Вы давно с воли, товарищ?

Я отвечаю, что уж полгода, как захомутали, и тогда они на меня, как мураши на палого жучка, накинулись и давай тормошить. «Что нового?.. Что нового?.. О чем думает Ленинградская партийная организация? По-прежнему ли кадры решают все? Издают ли Маяковского? Большие ли очереди в мавзолей? Скажите, как Сталин? По-прежнему ли Микоян курирует еду и экспорт, а Каганович Украину и метро? А как молодежь? Будьте добры, товарищ, пару слов об энтузиазме масс и международном по-

ложении, будьте добры! И главное, понимает ли так называемый свободный мир, куда он катится?»

Надо сказать, Коля, что режим у этих фраеров был сверхстрогим. Они ни хрена не слушали радио и забыли, что такое газета «Правда». Ну, я и понес им парашу за парашей.

— Черчилля, — говорю, — пырнул ножом Чарли Чаплин, и ему ничего не было, а в Швейцарии к власти пришли люди с чистой совестью — украинские партизаны-разведчики, и весь почти мировой капитал теперь наш. Ну, что еще? Еще ленинградская организация думает, что ее вовремя и совершенно верно обезглавили. А над Африкой летают наши воздушные шары и кидают вниз несгораемые призывы резать белых колонизаторов. Латинская Америка бурлит. Все обречено на провал. Основным фактором этого провала является образование Китайской народной республики.

Ну, Коля, тут они совсем очумели.

— Он был прав!.. Ильич был прав!.. Все-таки Джугашвили при всем его хамстве — гениальный практик! Ура! Надо сделать из простыни мировую арену и взглянуть, что же это теперь у нас получается! Поем про себя «Интернационал»!!!

Это сказал Чернышевский, и все они, Коля, встали обалдело, по щекам слезы текут, по горлянкам кадыки так и ходят, кого-то на нары уложили: сердце схватило, но допели про себя свой гимн до конца. Допели, Чернышевский, жилистый, желтолицый, партийное собрание открыл. Выбрали они почетный президиум в составе Кырлы Мырлы, Энгельса, Ленина, Сталина, Бухарина, Буденного, Жака Дюкло, Тореза, Николая Островского и Ежова. Резолюцию приняли: одобрить деятельность политбюро, голосовали, кто за, кто против, воду из чайника выступавшие пили. Все чин по чину. Хлебом, я понял, их не корми, а дай посидеть на собрании.

Потом Чернышевский мне говорит, чтобы я рассказал партгруппе о себе.

— Ну, я, — говорю, — буду краток: ваш ум, вашу честь и совесть вашей эпохи я в гробу видел в красных тапочках. Мир переделывать никогда не желал. Милостей у природы силой не брал. Экспроприировал только лишнее у сильных мира сего. Двигал фуфло многим государствам, но людям зла не причинял, хотя знаю шесть с половиной языков. Принципиально неучаствую в строительстве сомнительного будущего. Оставил на свободе музей бумажников, портфелей и моноклей выдающихся политических деятелей Польши, Румынии, Англии, Японии, Марокко, Германии, Коста-Рики и других стран. Болел два раза триппером. Изнасиловал и зверски убил в Московском зоопарке в ночь с 5 декабря 1789 года на 14 июля 1905 года кенгуру Джемму, за что и приговорен к четвертаку Нарсудом Красной Пресни. А теперь, — говорю, — благодетели человечества, друзья народа, друг к другу прижатые туго, бай-бай, ладошки под щечки.

Пошумели они, посовещались и вынесли, Коля, резолюцию, что подсадка к старейшим членам партии, бравшим Зимний и бок о бок работавшим с Лениным, уголовника-рецидивиста — злобный цинизм и нарушение Женевской конвенции о чудесном отношении к политическим заключенным. Постановили также рук мне не подавать, товарищем не называть, но поправку Чернышевского об объявлении мне красного террора отклонили как противоречащую ленинским нормам полемики с идеяным врагом. Я им многое еще чего натрекал о внутреннем положении, о голодухе, о подсадках, о великом полководце всех времен и народов, которого надо бы пустить по делу об убийстве и расчлененке миллионов солдат, о сроках за опоздание на ишачью работу, о том, как колхознички девятый член без соли доедают, а старички сказки им передают родительские о крепостном праве и светлой

доколхозной житухе. Натрекал я им, как простой человек, пока из конца в конец Москвы до работы доедет, намнется в трамваях и редких троллейбусах, перегрызется с такими же затравленными зайдами и собраниями харями, как он сам, что встает на трудовую вахту в честь выборов в нарсуды злой почище голодного волка. И только из страха, что посадят, поджимает свой хвост и зубы скалит после стакана водяры.

— Зато у нас самая низкая в мире квартплата! — говорит мне, сверкая тупыми глазами, Чернышевский.

Тут я им, спасителям нашим, врезал кое-что о плотности душ на метр населения в коммуналках и как в комнатухе невозможно достойно похариться папе с мамой, потому что детишки просыпаются и плачут или же смеются, не понимая душевного, простого и великого, почище, чем рекорд Стаханова, события, происходящего на узкой кровати. Молодым же людям разгуляться негде после свадьбы: какое же при родне в одной комнате гулево? Какая любовь? Я, Коля, до звонка от Кидаллы давал многим соседям консультации насчет прерванных половых сношений и перманентной неудовлетворенности. Я все про это дело съел и полные штаны наложил.

— Самая низкая квартплата, сучий ваш потрох, — говорю, — парчевилы преступные! Вы бы поглядели, как самые передовые люди планеты глотки друг другу грызут на кухонках перед краником одним-единственным или же в очереди в сортир! Вы бы поглядели, как они харкают в борщи соседей, шпарят их кипятком, выживают, доносят, травят, песен петь не дают, пустые бутылки считают. Я сам соседке Зойке клопа перед арестом подкинул из уважения к живому существу. Вы бы поглядели, спецы херовы по народно-освободительным движениям, как ваши люди нового типа яростно вознавидели одно только сосед-

ство с другими двуногими и сходят от этой ненависти с ума или же перекашивают их несчастные рыла инсульты и разрывают ожесточившиеся и слабые сердца инфаркты! Вы бы поглядели! А в отдельных, — говорю, — квартирах живут отдельные же товарищи, их по пальцам сосчитать можно, и прочие народные артисты, они же майдодыры, они же Броненосец Потемкин, они же мистеры твистеры, они же разгромы, они же железные потоки, они же рабочий и колхозница, они же коммунисты на допросе, они же веселые ребята, они же атомная бомба, танец сабель, короче говоря — утро нашей родины.

А Чернышевский все не унимается:

— Весь мир завидует нашему бесплатному медобслуживанию, нашим лекарствам и нашим человеко-койкам! Вы и это отрицаете?

— Да, — говорю, — отрицаю, потому что жил с пятью участковыми врачихами, и они мне такого по-рассказали о бесплатном медобслуживании, что у меня волосы дыбом стали. Ведь у них, — говорю, — времени на больных нету! Они их шуррут быстрей, чем детали на заводе Форда, а за ваше бесплатное обслуживание приходится платить самym дорогим — здоровьем. К тому же, если врачиха долго держит работяг на больничном, то ее в партком дергают, и последнюю мою бабу за саботаж просто посадили, из-под меня в четыре утра взяли. Она, видите ли, вовремя не выписала на работу какого-то бригадира монтажников, а они без него запили и к первому мая Берию и Молотова не успели повесить на Доме Правительства. Так что, — говорю, — помалкивай, Чернышевский, он же «Что делать?».

Эх, и завизжал он, Коля, забился:

— Энтузиазм двадцатых годов! Энтузиазм тридцатых годов!

А я ему отвечаю, что если энтузиазм двадцатых годов вычесть из энтузиазма тридцатых годов, то

остается всего-навсего десять лет за контрреволюционную пропаганду и агитацию. И вообще, — говорю, — идиоты, ваше счастье, что играете вы здесь на казенных нарах в игрулочки, в капиталистов-разбойников и в палочку-выручалочку кризиса и ни хрена не знали и не знаете реальной жизни, ибо всегда вы ее боялись и ваша же партия избавила вас, самых нежных ее членов, от страха смотреть на построенный новый мир с Никемом, ставшим Всемом. Поняли, — говорю, — сохатые? А я специально приехал вам спасиочки сказать, потому что кого же мне еще благодарить, как не вас, за все, что происходит с нормальным человеком Фан Фанычем? Историческую необходимость? Ей лапку не пожмешь! Говоришь, Чернышевский, что замысел у тебя был толковый, а исполнение вшивое и ты за него не ответствен? Хренушки, братец, хоть я и матюгаться ненавижу! Ежели я, Фан Фаныч, решаю, например, молотнуть германского дипкурьера на пароходе «Титаник», то я всё стараюсь прикинуть. Я понимаю, что он думает о своих нотах, меморандумах, пактах больше, чем о лопатнике с долларами. Я замечаю, что до обеда курьер нервничает сильней, чем после ужина. Я прислушиваюсь к интуиции, думаю о катастрофах на море и решаю, что вообще, хрен с ними, с долларами, провались они пропадом, потому что ноет как-то душа к неприятности и подальше, подальше велит уносить ноги от исторической необходимости молотнуть дипкурьера. Сами знаете, что в тот самый раз произошло с пароходом «Титаником». Вот что значит как следует обдумать замысел и не приводить его в исполнение! В замысле искать надо ошибочку!

Неожиданно, Коля, четыре рыла побросали Чернышевскому свои партбилеты и залегли на нарах.

— И я, — говорю, — с этапа устал, спать хочу, скорей бы утро — снова на работу!

Выпьем, Коля, друг мой, душа моя, за антилоп, обезьян и рыжих лисиц! Если мы с тобой неважно себя в лагерях чувствуем, то представляешь, каково им? Об этом лучше не думать. Особенно антилопе тяжело. Ей же убегать от львицы надо! А лисичке каково? Ходит нервно из угла в угол, как ходят обычно врожденные мошенники по камере и вспоминает, рыжая, хитрые свои обманы петушков и курочек. Обезьяне-то один хрень где в человека превращаться. Но все ж таки, Коля, на воле лучше, а главное, превращение обезьяны в человека на воле происходит гораздо медленней, чем в зоопарке. Проклятое, грешное перед микробами, змеями, бабочками, китами, травками, птицами, слонами, водой, горами и Богом человечество!

Но ты знаешь, заснуть мне в ту, первую в лагере, ночь Чернышевский, пропадлина, никак не давал. Устроил дискуссию: кончать меня или не кончать. Мое появление, видишь ли, поставило под угрозу единство рядов ихней подпольной партгруппы и внесло в сознание членов бациллу ликвидаторства и правого оппортунизма. И вообще, я — Фан Фаныч, собрал в себе, как в капле воды, все худшее и вредоносные взгляды мещанского общества, для которого цель жизни — в поездке на работу в пустом троллейбусе, в сиденьи по целому часу со своими любимыми болячками, сосудами и раками в кабинете врача, во фланелировании по магазинам, заваленным продуктами и промтоварами первой и второй необходимости, которую это мещансское общество цинично противопоставило, в своей так называемой душе, необходимости исторической, самой любимой необходимости партии и правительства.

— Господину Йорку и ему подобным господам, — говорит Чернышевский, — плевать на все трудности наши, плевать на происки реакции, плевать на то, что лучшие сыны народа США брошены в застенки, плевать на трагедию Испании, Португалии и кня-

жества Лихтенштейн. Плевать на раны войны, залечиваемые комсомолом, плевать на шедевральное открытие марксистской экономической мысли — трудо-день, плевать на план ГОЭЛРО, плевать на ленинскую простоту и скромность, плевать на наши органы, работающие в сложнейших условиях, подчас в темноте и наощупь, плевать на ВДНХ, ОБХЭС, ВЦСПС, РСФСРЭ, Центросоюз, ИМЛИ, ЦАГИ, ВБОН, МОПР, плевать на Стаханова, на Кожедуба, на Эйзенштейна, на Хачатурияна, на Кукрыниксов, а главное, на голос Юрия Левитана, мировой экономический кризис и ЦПКиО имени Горького. Всё взять от партии и не дать ей ничего, кроме черной неблагодарности за бесплатное медобслуживание и самую низкую в мире смертность и квартплату, — вот, собственно, в двух словах, — говорит Чернышевский, — цель новой оппозиции. И не мудрено, что она бесится с жиру, разлагается и уже дошла до сожительства с представителями экзотических животных, направленных партией и правительством в зоопарки для сохранения в неволе своих видов от полного уничтожения на свободе сыновьями мультимиллионеров и горе-писателем — душегубом Хеммингузием. Позволительно, — говорит Чернышевский, — спросить у господина Йорка, когда он проснется, сколько сребренников получил он от плана Маршалла за бешеную, за ядовитую карикатуру на наши коммунальные квартиры, эти прообразы коммун грядущего? Мы обязаны сейчас же вынести на голосование две резолюции. Первая — о кооптировании в члены ЦК старшего надзирателя Дзюбы, ибо он в сложнейшей внутриполитической ситуации служит связным между нами, субъективными жертвами объективной трагической ошибки, и Сталинским политбюро. Вторая резолюция: мы, старые большевики, с риском для жизни бравшие Зимний и работавшие бок о бок с Ильичом, полны решимости ликвидировать пробравшегося в наши ряды ликвидатора, оппор-

туниста и злостного кенгуруложца Йорка Харитона Устиновича. Кто за? Предлагаю голосовать за обе резолюции сразу.

Подсчитал, Коля, Чернышевский голоса, претер пенсне, потеребил бородку, и, оказывается, все воздержались. Он один проголосовал за кооптирование в члены ЦК Дзюбы и мою ликвидацию. Проголосовал, спросил уныло собрание: «Что делать?» — и сам же себе ответил: «Делать нечего. Приговор партии будет приведен в исполнение. Мы вынуждены сделать принципиальную уступку нечаевщине».

Все же, Коля, интересно мне было побывать, первый и последний раз в жизни, на партсобрании. Конца его я не дождался. Закемарил. Сладко спалось мне на нарах, лучше, чем на тахте, отначенной Ягодой у Рябушинского. Только сон приснился страшный, будто пасусь я на горячем асфальте города Мельбурна, ищу зеленые травинки в трещинах. Губы жжет мои замшевые, нос высох, жрать охота, в душе тоска по траве, толкают меня, пихают, а я ведь в шкуре меховой — жарко, и задыхаюсь от воници бензиновой. Безнадега. А мне надо детишкам травки принести, желательно зеленою. Они ведь ждут меня. Я их подбросила на часок в приемную Шверника на Моховой улице. И ужас меня разбирает оттого, что я одной ногой в Мельбурне, а другой там, в Москве. Но это еще ничего. Нашла я наконец травку. Росла она в метро на выходе с эскалатора, пробивалась между зубьев стального гребешка, под который ступеньки уносит. Откуда она там взялась? Ноги ведь, ноги, ноги топчут ее... Нарвала травки, набила полную сумку, вдруг чую, как в нее кто-то залез. А я его хвать за руку, суку, а это ты, Коля, оказался и говоришь, чего же я скрываю, что карман имею, в нем пиво на футбол таскать можно. И жареные семечки. И так мне обидно стало, что ты ко мне в карман залез и что детишки мои от голода в приемной Шверника и Калинина по-

мирают, что завыла я на все метро, эскалатор остановился, и я вниз поскакала. Поскакала по ступенькам вниз, а им конца не видно. Я опять и завыла. Ву-у-у-у-а?

Тут у меня вдруг из левого шнифта искры посыпались, очень сильно стало, я просыпаюсь, думаю в первый момент, что Чернышевский, псина, покушение на мою особу устроил, и решаю со злости ноги у него, извини, Коля, из жопы выдернуть, поскольку я не либерал какой-нибудь, Витте, а нормальный человек — Фан Фаныч.

Просыпаюсь, значит, окончательно, а в бараке последний день Помпеи! Света нету, шум стоит, зубы скрипят, хрип. Зажигаю спичку. Человек двадцать боятся в падучей в проходах между нарами и отдельно друг на дружке. Совершеннейшая каша.

И ты представь, Коля: в бараке — каша, в окно луна светит, на вышках, на всякий случай, стреляют в эту белую луну, а эпилептики от выстрелов попадали с нар, боятся в падучей, стонут, хрипят, языки перекусывают, зубами скрежещут. Надо им под головы подушки подкладывать, ложками языки прикусанные освобождать, руки-ноги держать, жалеть, испарину со лба вытираять, а Чернышевский сидит на нарах, покуривает солому из матраца и говорит мне, как ни в чем не бывало:

— Эта эпилептическая зараза от Достоевского у нас пошла. Почему мы с Белинским тогда его не ликвидировали? Не понимаю. Ведь ничего подобного мы бы сейчас с вами не наблюдали.

Пришел надзор с керосиновыми лампами. Стоят мусора, от хохота надрываются, за животы держатся, некоторые даже своих баб и детей привели посмотреть на такое представление. Начали я и еще четверо, побросавших вечером свои партбилеты, успокаивать больных. К утру успокоили. Смотреть на них было страшно. Рыла синие, рты в крови, еле дышат, и не-

счастные у всех, мертвые уже почти, нечеловеческие глаза. В зрачках по желтой лампочке Ильича. Они зажглись под утро. Чернышевский и говорит:

— Резиденты не дремлют! Хотят вредительски дискредитировать ГОЭЛРО. Не выйдет, господа! Свет, который мы зажгли, не потухнет вовек!

Покемарить, Коля, в ту ночь я так и не успел. Рельса звякнула. Подъем. Птюху притаранили, потом по миске ржавой шелюмки. Подхожу к Чернышевскому и говорю, что если только просеку прямую попытку покушения на мою личность, то вечноголодные вохровские псы обгладают его, Чернышевского, до самой скелетины, а обглоданную скелетину я, освободившись, оттараню в музей Революции и выдам за останки батьки Махно, Родзянки или еще какого-нибудь политического трупа. Схавал он мои слова и отвечает, что речь шла, действительно, обо мне, но не о покушении на меня, а о попытке привлечь к изучению истории партии, которое эквивалентно моей ликвидации и даже еще более эффективно.

— А теперь расскажите, товарищ Йорк, что еще нового на воле? Как организация объединенных наций? По-прежнему ли это послушное орудие действует по указке и неужели партия не понимает, что Вышинский — палач и провокатор охранки на трибуне ООН — компрометант? Ведь мы сами компрометируем себя на каждом шагу! — Тут, Коля, Чернышевский потрепал меня по плечу, ухмыльнулся, как провинциальный бояк, и говорит:

— Ну, хватит, хватит. Мы раскололи вас. Вы — английский товарищ. Чувствуется почерк Галахера. Большой мастер. Я не удивлюсь, когда узнаю, что английский двор вступил в партию. Где ваш мандат, Йорк?

Тут я сходу затемнил, разошелся, похвалил всех за то, что не поддались на провокации и продолжают оставаться крупными деятелями Коминтерна и МОГПРа.

— А посажены вы, — говорю, — лично Сталиным по согласованию с Торезом, Тольятти и Тельманом для сохранения ваших жизней. Ибо на воле во всем мире идет тотальная война на уничтожение старых большевиков, бравших Зимний и работавших бок о бок с Лениным и Свердловым. Даже внутри нашей, — говорю, — страны, трудно поддающиеся разоблачению силы не останавливаются ни перед чем. Поэтому план партии вынужден был быть, как всегда, гениальным и простым. Так что от имени политбюро тридцати компартий имею честь передать вам, героям нашего времени, о том, что вы не осуждены. Вы, товарищи, тщательно законспирированы, и ни Гестапо, ни ФБР, ни Сюрте женераль, ни наш Интеллигент сервис и другие выдающиеся лягавки мира не дотянутся кровавыми своими руками до ваших жизней!

Сначала, Коля, я просто растрёкался от злобы и мертвотоски, но смотрю: разрыдались по-новой, слушая меня, мои большевички, за руки взялись, и даже те, которые после групповой падучей, закукарекали потихонечку, задышали поглубже, бедняги, глаза у них слегка ожили, и синие губы порозовели.

Опять стоят и поют, мычат, от волнения голоса обрываются внутрях, свой гимн. Мы наш, мы новый мир построим... Пойте, думаю, птички, пойте, стройте на самодельных международных аренах новый мир и перелицовывайте под руководством своего главного закройщика и бухгалтера мировой революции Кырлы Мырлы мир старый.

Давай, Коля, выпьем за всех пойманных и распятых бабочек, и за жуков, и за живых птиц, ставших чуделами, и за то, чтобы нам с тобой никогда не перелицовывать ни старых костюмов, ни старых пальто.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Мастерская

СТИХИ ЭДУАРДА ЛИМОНОВА И ЕЛЕНЫ ЩАПОВОЙ

Взялась написать предисловие — не столько к конкретным стихам двух данных конкретных авторов, сколько к некоторым нашим прежним и будущим стихотворным публикациям (далеко не ко всем, разумеется). Что до «данных конкретных», то, каюсь (впрочем, отчасти это входит в замысел), — не одолела. Даже настолько не одолела, насколько положено моими редакционными обязанностями выправлять опечатки в машинописи, чтобы типография их не повторила. Так что, если авторы наделали сами опечаток, пусть читатель думает, что это входило в их поэтику.

Вопрос не в том. Я — для многих читателей — вроде бы состою в редакции в должности «поэта», а следовательно, прежде других отвечаю за «качество» печатаемых стихов. Не хочу сказать, что я этого «качества» не умею оценить и что не знаю цены многому из того, что мы печатали. На распространенную мысль о том, что поэты так пристрастны, что не любят ничьих стихов, кроме своих, что мнений поэтов о стихах не надо слушать, как-то в одном нашем общем разговоре ответил Бродский: «Нас-то с Наташей и надо слушать: мы — эксперты».

Мы — эксперты, это верно, и в чем-то мы с Иосифом никогда не разойдемся во мнениях. Но за пределами нескольких несомненностей стихотворная экспертиза оказывается еще неопределенной, чем психиатрическая. Тот же эксперт Бродский первым рекомендовал нам и нашим читателям стихи Лимонова — значит ли это, что каждый читатель (включая, например, меня) должен разделить его энтузиазм? А если у меня для этих (и других) стихов слова доброго не находится, значит ли это, что каждый читатель должен вслед за мною отмахиваться?

Думаю, что в отношении стихов, как никакого другого литературного жанра, среди читателей господствует субъективность и разделенность во мнениях, ибо мнения эти всегда рождаются на уровне эмоций, на уровне любви и отвращения, и только потом находят себе иногда рациональные обоснования. Устрой мы анкетный опрос среди тех читателей «Континента», которые жалуются, что напрасно мы печатаем плохие стихи, — и выяснится, что

список «плохих» у каждого свой и что «плохие» одного читателя попадают в «хорошие» — кто у другого, кто у третьего, кто у четвертого.

Так что, я думаю, наша, редакционная, и моя в частности задача — выглядывать в стихах не столько несомненное «качество», сколько потенциальную возможность, предрасположенность этих стихов иметь «своего читателя». Невзирая на личные вкусы. Может быть, иногда это «невзирая» заводит нас слишком далеко, и мы начинаем подозревать поэзию (которой заведомо нет для нас, но — вдруг она есть для других, а?) там, где она действительно не почевала. Это неизбежные издержки. Было бы, наверно, хуже, если бы я, скажем, заняла пост (не существующий в «Континенте») завотделом поэзии и печатала только тех, кого всерьез считаю поэтами. Тогда бы (оставив в стороне переводы), кроме давно мною любимых Бродского и Бобышева, недавно открытых Кенжеева и Кублановского, да меня самой, кого бы еще печатал «Континент» в последние годы?

Давши это объяснение, я хочу покончить с недоразумениями, но отнюдь не с критикой — услышать ее будет полезно и нам, и нашим авторам, в особенности тем, кто напечатался впервые и, может быть, трепетно ждет первой реакции своих первых читателей...

Н. Г о р б а н е в с к а я

Эдуард Лимонов

ЭПОХА БЕССОЗНАНИЯ

Из эпохи бессознания
миража и речки Леты-Язы
завёрнутый в одно одеяло
Вместе с мертвым Геркой Туревичем
и художником Ворошиловым
Я спускаюсь зимой семидесятого года
Вблизи екатерининского акведука
по скользкому насту бредовых воспоминаний

падая и хохоча
в алкогольном прозрении
встречи девочки и собаки
всего лишь через год-полтора.

Милые!
мы часто собирались там где Маша шила рубашки
А Андрей ковырял свою грудь ножом
Мы часто собирались
чтобы развеяться после
снеговою пылью над Москвой
медленно оседающей в семидесятые годы
простирающей свое крыло в восьмидесятые
За обугленое здание на первом авеню в Нью Йорке

Все та же жизнь
и тот же бред
настойки боярышника
«это против сердца»
сказал художник-горбун из подвала
впиваясь в узкое горлышко пятнадцатиграммовой
бутылочки

против сердца —
против Смоленской площади
где троллейбус шел во вселенную
где встречались грустные окуджавы
резко очерченные бачурины похожие на отцов
где на снегу валялись кружки колбасы
и стихи и спички
и пел Алейников
и подпевал ему Слава Лен.

В краю поэмы и романа
Всегда бывает хорошо
В лесах охотится Диана
Меркурий радостный прошел

И на груди у Аполлона
Уснула рыжая сестра
Так было все во время оно
У греко-римского костра

К утру натягивали тоги
И грели сонные тела
И были Боги — Жили Боги
Любовь и ненависть была

.....
В дневном пожаре, в тяжком горе
В Египет проданный я плыл
И Афродиту встретил в море
И Афродиту я любил

Молился ей среди пиратов
Пытался пальцы целовать
Она смеялась виновато
Но изменяла мне опять

Она на палубе лежала
Матросов зазывая вновь
Текла по палубе устало
Моя расплавленная кровь

Смеялись воды. Рты смеялись
Смеялись крепкие тела
Дельфины горько удалялись
Их помощь временной была

Не умирая в божьей воле
Привязан к мачте я стоял

Во тьме ночной агентства «Золи»
Пустые окна наблюдал

Она являлась на машинах
Она шаталась и плыла
Вся в отвратительных мужчинах
И шляпка набекрень была

Я так любил ее шальную
Гордился что она пьяна
Что в красоту ей неземную
Душа неверная дана

Я был поэт ее и зритель
Привязан к мачте я стоял
Глядел как новый похититель
Ее покорно умыкал

Смеялись воды. Рты смеялись
Вдали Египет проступал

И все провинциальные поэты
Уходят в годы бреды Леты
Стоят во вдохновенных позах
Едва не в лаврах милые и в розах

Расстегнуты легко их пиджаки
Завернуты глаза за край рассудка
Когда-то так загадочно и жутко
Стоят на фоне леса иль реки

Где вы ребята? Кто вас победил?
Жена, страна, безумие иль водка?
Один веревкой жизнь остановил
Другой разрезал вены и уплыл

Аркадий... Ленька... Вовка...

Люди, ноги, магазины
Все изделия из фасона
Из стекла и из резины
Продаются монотонно

.....

Непреклонною рукой
Свое лице умой

Соберись поутру строго
Ты — Елена. Вот дорога.

— Уходи куда-нибудь.
В черный хаос выбран путь

Дура девица. Тогда
Были лучшие года

У тебя и у меня
Был разгар земного дня.

Ну а ныне эти люди
Для которых моешь груди

— беспросветные лгуны
Не из нашей тишины

Не из нашего отряда
Ты ошиблась — мое чадо

Сверхвлюблённое
Чуть пригубленное

Потерял тебя навек
Эдъка — смелый человек

Эдька умный. Эдик грустный
Эдичка во всем искусный

Эдинька вас в каждом сне
Видит словно на луне

Там вы ходите поляной
В пышном платье. Рано-рано

и в перчатках полевых
Эдинька находит их

Из травы их подымает
И целует и кусает

И бежит к тебе-кричит
Добрый дядя — тихий жид
На горе в очках стоит
И губами улыбается
Он любуется, качается...

Там есть домик в три окошка
Яблоко висит блестит
«Хватит бегать — моя крошка»
произносит добрый жид

«Ну иди обедать детка!»
Детка-длинною ногой
Сквозь траву шагая метко
Направляется домой

С нею дикие собаки
Я последний прибежал
И за стол садится всякий
И целует свой бокал

Так мы жили. Нынче ужин
Я один съедаю свой
И не я ни жид* не нужен
Деве с легкою ногой

.....

Чтобы вас развлечь — малютка
Я все это написал
Эдька знает — жизнь минутка
Жизнь — мучительная шутка
Лишь искусства яркий бал

этот хаос освещает
Потому взгляни легко
Счастлив тот кто сочиняет
сочиняет сочиняет
и витает высоко
Пусть тебя не омрачает
Жизнь тебя не омрачает
Пусть земное не смущает
Будет очень далеко...

И двери туго затворялись
И в верхних окнах свет мелькал

Я шел один, я был в экстазе
И Бога я в себе узнал
Однажды на зеленой вазе
Его в музее увидал

* Автор считает своим долгом заявить, что не вкладывает в употребляемое здесь слово *жид* никакого злого или обидного содержания.

Он там сидел простоволосый
И дул в надрезанный тростник
Как я скуластый и курносый
Мой древнегреческий двойник

Да он любил ее больную
И ни за что не осуждал
И только песню еле злую
Он за спиной ее играл

Фотография поэта
В день веселый и пустой
Сзади осень или лето
И стоит он молодой

Возле дерева косого
Морда наглая в очках
Кудри русые бедово
Разместились на плечах

Впереди его наверно
Рядом с делающим снимок
Кто-то нежный или верный
(Или Лена, или Димок)

Фотография другая —
Через пять кипящих лет
Маска резкая и злая
Сквозь лицо сквозит скелет

Никого на целом свете
Потому тяжелый взгляд
По-солдатски на поэте
Сапоги его сидят

Ясно будет человеку
Если снимки он сравнил
Счастье бросило опеку
И страдание гостит

Елена Щапова

КРИМИНАЛИСТ

День начинался со звона
Утро с газона
Бежала собака
От таблички «Запрещается гул.соб.»
Криминалист не спавший ночь
изучал улитки хвост
«Это улика»
Улыбка милой
Была неестественной
Думалось о несчастном случае
Чайник вскипел слишком быстро
«Никитин — бестия»
продает лекарства один к пяти
У Мити свадьба а что дарить?

А все-таки почему?
У улитки нет ни одной лапки
Почему Лида говорит что была у тетки?
А тень тем не менее видела
Самое большое лакомство с утра
— Клубника со сливками
А она не купила

Хорошо бы поехать в Ялту
но Симащук удавится
а отпуска не даст
Да и все равно
в море локтями пихать локти

А кто это под дверью
Звонит битых пол-часа?
Наверняка Наташа?
Попросит сигарет?
А сама сексуальным взглядом
А ведь всего шестнадцать...
Чертовски запутанная история

Янкель говорил что всегда нужно собраться с мыслями
и сосредоточиться

Итак
ПОЧЕМУ?
калитка не заскрипела
при прикосновении улитки
А Лида видела эротические сны
Хотя ночевала у тетки?

Во сне колдунья колдовала
Какие страсти про тебя
Мой милый
Подними забрало
У существующего дня

Ты хочешь знать
чем славен остров
Здесь рыбы

любят женщин так
Что остается только остав
Но в это верить не хотят

Тщеславью льстит
спина морская
И незнакомый холодок
Вот эта линия кривая
Его отпустит за порог
Тот час известен
Урожаем свеклы
все будет красное вокруг
И глупый Яшка засмеется
Что у кого-то есть испуг

И Кэт — что погостить у Бога
Ушла шесть лет тому назад
Вернется. И пирог в дорогу
И непристойный всем обряд

Раздастся вопль
Кошки!
Кошки!
И мы на крыше
И они
А та что вечно на обложке
Из черной узенькой трубы

Послушать
Значит не поверить
Признаться — значит обмануть
Рукою с линией махнуть
И переплыть на дальний берег.

Мы на белом петухе
Улетаем в небо
Что нам делать на земле
До сытного обеда
Мы на белом петухе
Облетим окраины
И назло всем временам
Оправдаем Каина
Ни на что не жалуясь
Подомнем поляну
И на карте мира
Будем есть бананы
А потом петух
нам скажет
Что на свете
есть одна
Потрясающая кура
Светлосинего пера
И что с нами хорошо
Ну а с нею лучше
И прошли уже года
Арбалетов лучников

Разойдется закричит
красной лапой топнет
«Личной жизни никакой!»
— поорав замолкнет
Мы же
будем пить вино
из тростниковой дудки
До чего же хороши
Все лесные сутки
У тебя в глазах цветы
Мнимые мнимые
У меня в глазах поля
Озимые озимые
Твой мир от дедушек и бабушек

Мой от амеб и букашек
У петуха от будущего яйца.

Над головой ходили
Топ.
Иконы смотрели
Хм.
Время уходит
Топ. Топ.
Одиночество
Хм.

Мыши
Топ.

Лошади
Топ.
Джаконда
Хм.
Часы на части...
Глупости
Все топ и хм.

Баб в лаптях
Лап!
В сапогах
Лап!
В туфлях
Хвать!
Бежать!
От прошлого
Настоящего
Будущего

В пантомиме
Женщина
Мини.
Макси.

Бросьте!
Деформированы кости
Мозги лепите как хотите
Тяните губы из пластилина.
Глаза Изиды.
Морг.

В морг
Перевозчик в последний раз
Лап!
Хвать!
Некуда бежать.

Ко мне приходит вещь фламинго
Мигает на одной ноге
Фламинго нежно миловидно
С доброжелательством ко мне

— Минуты ваши не считаю
Давно вы сброшены с часов
Всерьез никто не принимает
Ни одиночества ни слез

Умрете вы ужасно старой
В каморке из сушеных роз
И не с фламинго
С толстым арой
Что знай кричит «Туберкулез!»

Так ваша тетя умирала
Актриса быстрого кино
В грязно-лиловое пальто
Была завернута гитара

Обрывки кружев и газет
Кусочки хлеба, горстки соли
На поле пыли выл валет
От пародийной роли

Смотри, Смотри —
кричал ей ара
Смотри как постарела рано
Твой рот — одна большая рана
Ты на цепочке держишь тень
Давно причесываться лень

Да и вставать с кровати
В измятом черном платье

Твой муж убит
А дочь не родилась
Твой предок знаменит
Хоть мать его спилась
У брата все надежды
А у сестры одежды

Ты же уродина
Живешь
слугой у попугая
И с перьев краску объедая
Все думаешь как бы опять
На семечках, но обсчитать

Россия и действительность

Виктор Некипелов

ХЛЕБ И БЕЖЕНЦЫ

Можно ли оставаться равнодушным, когда слышишь эти сообщения о тысячах беженцев из коммунистического Вьетнама на кораблях и баржах, на лодках и плотах?

Кажется, со времен второй мировой войны не знал мир таких трагических сводок.

Пловучий ад! Неделями и месяцами дрейфуют эти несчастные, *не нужные никому люди* (у них уже есть название «лодочные люди») вдоль побережья Малайи и Филиппин, и лодки переворачиваются, и дети гибнут от голода на руках матерей, и ни одна страна не позволяет им сойти на берег, а кое-где уже и открывают огонь...

А гуманисты всех стран взывают к милосердию и требуют от своих правительств помочь несчастным. И какие-то французские доброхоты отчаянно и одиночко фрахтуют на последние свои сантимы благотворительные корабли, они призывают мир: не спите!

Но почему не должны спать все мягкие сердцем в то время, как спокойно спят — и ничто не встяхнет их безмятежный сон — правители коммунистического Вьетнама? А днем они будут делить посты и привилегии, и смотреть планы концентрационных лагерей, и сочинять обманные речи, и примеривать медовые улыбки для предстоящих конгрессов и ассамблей. И, что самое невероятное, — мир поверит этим улыбкам! И пошлет в эту страну послов. И примет ее в ООН. И предоставит ей кредиты...

К счастью, крик тонущих в Южно-Китайском море «лодочных людей» был услышан. Будем надеяться, что вовремя, благодаря стараниям Маргарет Тэтчер и Курта Вальдхайма, денежные средства ряда стран, предназначавшиеся для помощи коммунистическому Вьетнаму, будут теперь употреблены на помочь его жертвам. И западные страны примут 260 тысяч индокитайских беженцев. И будут построены дополнительные лагеря для беженцев, и выделят медикаменты и одеяла...

Женевская конференция по проблемам беженцев в Юго-Восточной Азии 20-21 июля 1979 г., безусловно, имела какое-то гуманное (это слово с удовлетворением подчеркивают даже советские газеты) значение. Но, прикоснувшись к проблеме, конференция не решилась заглянуть внутрь. И это было похоже на действия хирурга, который, обнаружив у больного опухоль, ограничился тем, что легонько, осторожно потрогал ее пальцами.

— Только никакой политики!

— Основная цель конференции — обсудить гуманные аспекты! — (Это сам Курт Вальдхайм.) — Главное — избежать политических дебатов!

А почему избежать? Прикрыть глаза на происходящее, попытаться решить политическую проблему с помощью дополнительных сантимов и более вместительных кораблей? то есть с помощью одной благотворительности? Загнать болезнь внутрь, чтобы она с удвоенной силой вспыхнула при очередном коммунистическом перевороте в каком-нибудь новом географическом углу? Как правило, такой переворот сопровождается колоссальным исходом, да не исходом даже — «избегом», «выбегом» из страны, в которой это случается, десятков тысяч людей.

Вьетнам-78, Камбоджа-75 и 79, Ангола-77... А в свое время — Куба, Китай, Чехословакия-68, Венг-

рия-56 и в самом истоке, в зародыше всех будущих отчаянных бегств — Россия-1917.

Бегство из коммунистического, социалистического, народно-демократического и т. п. «райя» происходит повсеместно и постоянно. Оно совершается беспрерывно, каждую текущую минуту, и если вот сейчас, в это мгновение, кто-то не шагнул через пограничную полосу, то обдумывает, как это сделать.

Нет, я не имею в виду естественную межгосударственную миграцию — соединение с родственниками или исход инженерии, ученых, творческих работников, просто предпримчивых людей (то, что принято называть «утечкой мозгов»). Этот неизбежный, происходящий по законам сообщающихся сосудов процесс, когда уходят трезвые и приспособленные, уверенные в том, что в другом месте встретят больше возможностей для употребления своих знаний и способностей, в чем-то даже полезен, так как он помогает экономическому выравниванию, развитию науки и культуры — одним словом, способствует экономической и духовной интеграции в мировом масштабе.

Говоря о бегстве, я имею в виду тех, которые уходят без оглядки, не думая, в том числе и тех, кто заранее знает, что едва ли найдет применение на чужбине.

Почему же бегут из коммунистических стран?

И почему мир не знает противоположных примеров, когда люди *бежали* бы, даже не массой, в обратном направлении, скажем, из США — в СССР, из Японии — в Китай, из Федеративной Республики Германии — в ГДР?

Одной из ведущих причин является, конечно, бегство от материальной нужды. Но не только потому бегут люди из Вьетнама и Китая, что за 1 час рабочего времени они могут купить меньше риса и мяса, чем в Японии или США. Они пытаются, кроме того, выскочить из порочной системы хозяйствования, в которой обезначен как сам труд, так и его плоды, в которой у

людей отнято главное: свобода предпринимательства и личной инициативы. (Подумать только, они бегут туда, где есть безработица, оттуда, где ее нет!)

Они уходят от духовного рабства, от подчинения Молоху обязательной идеологии, от безбожия, цензурованного чтива, от скуки и лжи, а часто — от чисто физической непрочности собственного бытия. Элементарный страх за свою жизнь является причиной многих исходов из коммунистических стран. Паническое бегство от политического террора и дискриминации всегда сопровождает т. н. социалистические революции.

Своих беженцев коммунистический Вьетнам осуждает: «Каждый вьетнамец обязан внести активный вклад в строительство страны, а не искать легкой жизни за границей».

Вот как! Полмиллиона любителей «легкой жизни» пускаются вдруг на ее поиски в утлых лодочонках, вместе с детьми и стариками, под пули пограничников, в тайфунный ужас!

На протяжении 60 с лишним лет происходит бегство из государства высшей социальной справедливости, из форпоста мира и социализма — СССР.

Диву даешься, сколько изобретательности и отчаяния вкладывается в эти побеги! (Я не говорю о тех, кто заполняет в последние годы кабинеты ОВИРа, надеясь получить разрешение на выезд.) Люди прыгают за борт, завидя иностранное судно, прячутся в портах, отстают от туристских групп, похищают самолеты (слава Богу, редко), крадутся ползком через границу, заведомо зная, что не переползти ее...

До глубины души потряс меня случай в посольстве США в Москве 28 марта 1979 года, когда ворвавшийся туда якобы с бомбой молодой моряк Юрий Власенко, требовавший визу на выезд из СССР, был расстрелян советскими милиционерами прямо в каби-

нете посольства... Трагедия эта не привлекла внимания: американцы легко приняли объяснение советских властей, что Власенко был психически больным человеком, поскольку в 1978 году в больнице лежал. Мир знает, кто и за что может попасть в советскую психиатрическую больницу. А случай, если задуматься, страшнейший. Как же должно было быть плохо Юрию Власенко в своей стране, если, чтобы покинуть ее, он пошел на действие, имеющее альтернативой СМЕРТЬ! И как же безнадежно обстоит дело с выездом из этой страны!

Альтернатива — смерть. Какие гигантские баржи потребовались бы для всех, желающих покинуть это царство «подлинной свободы и демократии», не предпринимай его властители столь жестоких антиэмиграционных мер?

Сейчас, после проведения *гуманной конференции* в Женеве, решавшей вопросы практической помощи индокитайским «лодочным людям», следует подумать о созыве *политической* международной конференции по вопросу о беженцах, а точнее — по проблемам *бегства* вообще. Не боясь ни политических дебатов на этой конференции, ни противостояния политических взглядов. Тут г-н Курт Вальдхайм должен быть решительнее.

Трудно предлагать какие-то другие повседневные действия. Но очевидно, что ООН и другие заинтересованные организации должны шире публиковать статистические отчеты о числе беженцев из разных стран (сравнительного характера), а также сведения об оказанной им помощи и о долевом участии в ней стран, входящих в ООН.

Было бы справедливо требовать от стран коммунистического блока большего участия в помощи беженцам из стран с той же структурой, включая и помочь в их расселении (приеме на жительство). Кстати, народы СССР и других восточноевропейских соцстран

плохо осведомлены о работе ООН по программам помощи беженцам, народам слаборазвитых стран, о деятельности комиссии по правам человека при ООН. Доклады и отчеты ООН, так же, как материалы ее сессий и ассамблей, в СССР никогда не публикуются.

Пользуясь случаем, я хотел бы выдвинуть предложение о создании при штаб-квартире ООН радиостанции, в задачу которой входила бы передача на основных языках всех материалов и документов ООН, в том числе программ ее помощи.

И вторая глобальная проблема, вторая величайшая безнравственность, которую творит на земле сегодняшний коммунизм. Между прочим, теснейшим образом связанная с проблемой беженцев. Кстати, здесь, как и в случае с «лодочными людьми», спасительную и вместе с тем побуждающую, стимулирующую злодейство роль играют благотворительные западные корабли...

Наверное, каждый Божий день, хотя об этом никогда не сообщалось в советской печати (это строжайше запрещено: «клевета! подрыв!»), прибывают в советские порты корабли с зерном и другим продовольствием из ближних и дальних стран. Всегда из «капиталистических», меньших по размеру, порою даже не из самых богатых. Канадская и американская пшеница, новозеландское и южноамериканское мясо, европейские куры, французское сливочное масло — даже австралийское появилось где-то в советских магазинах!

Количества ввозимого продовольствия, хотя это все равно не может ликвидировать острую нехватку продуктов питания в СССР, баснословны. Только одного зерна из Соединенных Штатов ввозится ежегодно 12-15 млн тонн, а в нынешнем «предолимпийском» году, кажется, достигнута договоренность о закупке в США 25 млн тонн зерна. И это все в то время, когда

страна имеет невиданные, необозримые просторы, крупнейшие в мире сельскохозяйственные угодья, располагая свыше 150 млн гектаров посевных площадей только под зерновые культуры!

Житель этой страны, я не могу без кома в горле смотреть на этот вселенский, безудержный, теперь уже видный всем, однако упорно творимый во имя не просто мертвых — окаменевших — политических доктрин развал.

Я живу во Владимирской области. Это центр Европейской России, ее историческая праматерь-земля. Отсюда, от этих лесов и полей, пошла быть Русская земля. Климат относительно мягкий, добрый. Не Бавария, конечно, но всё же — сладкие бортные травы, просторные, влажные леса, поля. Да, это здесь выспевает владимирская вишня (ее еще суздальские монахи выращивали-хвалились), да, это здесь топорщатся на грядках известные муромские огурцы.

Какая вишня? Какие огурцы??!

Летом, довольно часто, прохожу я, направляясь в ближайший лес за грибами, через колхозное (ох, оговорился по привычке: не колхозное, а совхозное поле теперь! Повывелись колхозы, это уродливое детище, гибридный монстр социалистических реформаторов от «капитала». Пузырились вокруг, и вдруг в одночасье не стало их, кончились втихомолку, бездекретно, бесславно) поле. Господи, как же больно смотреть на эти худосочные, выморошенные, выжженные удобрением, разбрасываемым ранней весной неровно — где пусто, где густо, задущенные сорняками овсы... Сорняки по овсам, или овсы в сорняках заблудились?

Что же это? Чьи злонамеренные холодные руки умертвили да еще вот так бессмысленно обезобразили щедрое, ладное поле земли?

Вот так «хозяева»! — Будто насильники переходные надругались и бросили тут же при дороге...

А чуть дальше, за болотом лесным, попадается навстречу и совхозное стадо — десятка три мослатых, нервных, шарахающихся в сторону при резком окрике буренок, с выдавленными, чуть не протыкающими кожу крестцами, со впалыми боками, исхлестанными — так и присохла на них серыми струпьями грязь — пастушьим кнутом.

А трав-то вокруг, цветов!

Да где же эти крутобедрые, гладкие, блестящие, вальяжные симменталки, каких видишь в журналах или на банке (теперь, увы, тоже довольно редкой) со сгущенным молоком и еще редко-редко во дворе далекого села? Глаза у коров безжизненные, усталые, только и тлеет в них тревожным светом плохая, ох, и плохая, жизнь. Это в пору выпаса. А зимой, под весну, когда за две недели до новой травы кончились даже и гнилая солома, и вонючий закисший силос! Видели мы такие глаза за изгородкой скотофермы в селе Эдемском Владимирской области 1 мая 1979 года. Эти несчастные животные стояли во дворе, по колено и глубже в холодной жидкой грязи, безучастные и бессильные протянуть головы к людям.

В 1978 году в «Литературной газете» был напечатан очерк Аркадия Вайсберга, в котором описан чудовищный падеж скота в одном из совхозов Владимирской области. Страшный очерк. Год спустя мы увидели почти такую же картину.

Владimirская область занимает площадь в 29 тысяч кв. км. Это немногим меньше Бельгии или Нидерландов. Но какой же разительный контраст в состоянии сельского хозяйства!

Я думаю, как умудряются, например, датчане на своих болотах занимать первое место по количеству молока. И как тут, на наших травах, надо умудриться каждый год иметь такой падеж скота из-за недостатка кормов, что во многих хозяйствах стадо за зиму сокращается наполовину.

И ведь был такой случай в Горьковской области, когда какой-то шутник воткнул среди поля в снег раскоряченный труп теленка со словами: «Догоним Америку по мясу и молоку!».

Положение в нашем сельском хозяйстве, кажется, признается всеми уже — от министра до колхозника — катастрофическим.

Мне хочется в этой статье поставить вопрос в такой плоскости: является ли в наши дни ведение хозяйства, в частности — производство продуктов питания, — внутренним делом одной страны? Имеет ли моральное право страна, обладающая такими сельскохозяйственными угодьями, как СССР, ежегодно завозить из других стран колossalное количество продовольствия, отнимая его тем самым у голодающих слаборазвитых стран Азии и Африки?

Стягивая на себя значительную часть продовольственного мирового запаса, Советский Союз способствует голоду в Индии, в Африке, в тех странах, которым, может быть, нечем заплатить за мясо и зерно. А население всего мира, налогоплательщики всех стран добровольно качают на плечах этих новоявленных богдыханов.

Это самый страшный, самый изощренный вид эксплуатации и тирании, который пришел на смену видимым тиранам.

Казалось бы, страна с такими сельскохозяйственными угодьями сама должна кормить полмира. Но она (это с заморской-то помощью!) не может обеспечить даже свое население мясом, маслом, молоком, рыбой. Правительство страны, которая способна кормить себя и многие народы и не делает этого от лени, бесхозяйственности и какого-то патологического равнодушия, преступно дважды — перед своим народом и перед миром.

Беженцы и хлеб — две высших безнравственности, которые совершаются сейчас по отношению ко всему

человечеству сегодняшним коммунизмом. И мне кажется, настало время сказать об этом во весь голос, сказать не менее громко; чем говорится в последнее время о правах человека, о разоружении. Кстати, и разоружение в значительной степени зависит от этих двух моральных проблем.

Должен быть какой-то контроль общественности в странах-экспортерах продовольствия — кому, в какую страну продают они хлеб и мясо? К этому одновременно был проявлен интерес в Сенате США, но потом опять интересы коммерческого прагматизма (деньги не пахнут!) взяли верх.

А деньги пахнут!

Деньги, полученные за зерно от СССР, пахнут голодом какой-нибудь Танзании или Анголы, пахнут слезами матерей рахитичных детей.

Я не призываю к прекращению поставок продуктов питания в СССР и другие коммунистические страны, ибо в конечном счете в них так же остро нуждается население этих стран. Но вещи должны быть названы своими именами. Преступное ведение хозяйства — вот причина ввоза продуктов в СССР.

Сейчас в развитых странах остро ощущается энергетический голод. Но будет остро ощущаться и голод желудка. И главная вина за него ляжет на 1/6 часть мира, которая довела свое экономическое положение до минимума.

Безнадежно исправлять систему СССР извне, но моральное осуждение ее необходимо.

Эта огромная раковая опухоль может захватить многие области, если сделать вид, что ее нет. И однажды может случиться, что исправлять положение будет уже невозможно, потому как будет *поздно*.

Октябрь-ноябрь 1979 года

НЕТЕРПИМОСТЬ С ОБРАТНЫМ ЗНАКОМ

Вопрос, «почему это вы, русские, всё время ссоритесь», мне кажется, не слишком серьёзен: ссорятся все, и не только в эмиграции, которая, будучи микрокосмом, способствует замкнутости жизни и преувеличению всех проблем, а и в самом нормальном мире людей, живущих у себя дома. Достаточно с таким миром соприкоснуться в любой стране, чтобы обнаружить разногласия, конфликты, недоразумения и существование фракций и враждебных друг другу групп, ничуть не в меньшем количестве, чем среди российской эмиграции. В некоторой мере всё это облекается в иные формы, чем у нас, в результате иных навыков и форм быта, но ведь и воспринимается оно соответственно иначе. Выражение протesta или недовольства итальянца покажется непозволительно резким и грубым человеку ангlosаксонской культуры, а итальянец может даже не понять, что англичанин или американец недоволен, — и, тем не менее, степень их недовольства может быть совершенно одинаковой. По сути дела, мой долгий многонациональный опыт убедил меня, что основные эмоции и реакции носят общечеловеческий характер и что люди отличаются друг от друга традициями, укладом жизни и накопленными переживаниями и воспоминаниями — личными и групповыми. Следовательно, совершенно естественно, что некоторые основные и первичные процессы общи для всего человечества — как в добре, так и во зле. Когда же речь заходит о замкнутых и ограниченных группах, таких, как колонии эмигрантов или, скажем, члены иностранных миссий или посольств в чужой стране, то эти процессы неизбежно обостряются, иногда до патологических размеров. Поэтому видеть в спорах и

ссорах российской эмиграции некое исключительное и особо достойное порицания явление, мне кажется, нереалистично.

На этих днях вышла книга итальянского журналиста Лучио Лами, которая содержит 22 интервью его с российскими эмигрантами-диссидентами, самых разных направлений и тенденций. Автор назвал свою книгу «Крик муравьев»: интересно, что диссиденты и правозащитники СССР напоминают ему муравьев — крошечных созданий, слабых и уязвимых, но неустанных и успешных строителей, никогда не теряющих мужества и инстинктивной потребности упорно строить. Но особенно большое впечатление производит тот факт, что, несмотря на все различия умственного склада, мировоззрения и провозглашаемой идеологии, все те, с кем Лами беседовал, в сущности, сказали ему одно и то же. Говорил он с ними, конечно, с каждым по одиночке; по всей вероятности, если бы он собрал их всех вместе, такого единства и единогласия никак бы не получилось. Но он и этого не сделал, и не спрашивал ни у кого из них мнения о другом или других членах этого сообщества; вопросы касались Советского Союза, советского строя, коммунизма, и, отвечая на них, все опрошенные по основным пунктам проявили, в значительной мере, единомыслие.

Надо сказать, однако, что он не коснулся тех вопросов, которые сейчас лежат в основе главных споров российской эмиграции, да и — насколько видно отсюда — множества людей в СССР. Может быть, правильнее было бы сказать «спор», ибо это, по существу, всё один и тот же спор; и важен не факт спора, какие бы исступленные формы он иногда ни принимал, а важны и интересны темы, причины и цели его. (Причины и цели, впрочем, далеко не всегда ясны, а темы проследить можно.) Так получилось, что спор этот поляризовался вокруг Солженицына; глубинной же темой и истинным содержанием его является Рос-

сия, ее национальное лицо, ее прошлое и будущее, ее роль в мире и ее ответственность за то, что все, испытавшие его, безусловно признают злом: за существующий и с территории бывшей России распространяющийся по миру коммунизм.

Приходится оговориться: есть ряд случаев, когда создается совершенно четкое впечатление, что дело, в действительности, обстоит наоборот: подлинное яблоко раздора — это сам Солженицын, а идеи, в которые он верит и которые защищает, становятся объектом спора и мишенью нападок просто в порядке прикрытия глубоко личного характера по-человечески оправданных или неоправданных обид. Но конечный результат один и тот же: полемика, так или иначе, направлена против идей, и на Солженицына нападают за идеи, личных причин не объявляя. Иногда, впрочем, это так и в действительности, а иногда бывает и что «анти-солженицынская идеология» вырабатывается в результате личной на него обиды, личных претензий; этому все мы бывали свидетелями неоднократно, и надо сказать, что в таких случаях очень трудно вести с людьми разумный спор, ибо вопросы воспринимаются и переживаются страстно, а не разумно. Но сейчас речь идет не о том, чтобы спорить, а о том, чтобы понять механику всего этого спора, особенно в той части его, которая касается судеб России (а, следовательно, и судьбы мира). Отец Александр Шмеман недавно написал в прекрасной статье, опубликованной «Вестником РХД», что он не собирается защищать Солженицына, который в его защите и не нуждается. Так и подавно не мне его защищать, и еще менее может он нуждаться в моей защите. (Тем более, что страсть подхода ко всему, касающемуся Солженицына, вызывает обвинение в «культе личности» даже там, где просто приводятся объективные и легко доказуемые факты.)

Во всей полемике, которая в последнее время разгорелась против Солженицына на страницах эмигрантской и отчасти западной прессы, характерны, во-первых, эта неожиданная (для людей, обычно провозглашающих здравый смысл и уравновешенность своими божествами) страстность; во-вторых — передергивание и своевольное толкование фраз или даже отдельных слов, а нередко и просто приписывание высказываний, которых на самом деле никогда не было, на том основании, что «можно полагать, что он так думает». И таким образом Солженицын становится то монархистом, то консерватором-славянофилом, то сторонником авторитарного или даже тоталитарного строя, то просто фашистом или русским Хомейни. Ни одно из этих утверждений или обвинений не построено на серьёзном беспристрастном анализе его произведений; а ведь речь идет о писателе, и мировоззрение его можно понять глобально только через общий смысл его произведений, через тот *message*, который он со всех их страниц в совокупности посыпает и оставляет миру. А происходит ровно обратное: вырываются с отдельных страниц клочки фраз, ими вольно жонглируют — при такой трактовке о любом писателе можно не только сказать, а и доказать что угодно и всё, что вздумается; особенно о писателе со множеством произведений и высказываний, живо реагирующем на людей и на жизнь. Очень характерно то, что происходит с главами из «Красного Колеса», публикуемыми в «Вестнике РХД»: эти удивительные отрывки готовящегося нового произведения, художественный уровень которых очень высок, не удостаиваются ни одного слова в целом, из них лишь выделяют и подчеркивают отдельные фразы; художник рисует громадную фреску, но ее как будто никто не видит, ищут только деталей, при помощи которых стараются доказать, что ему, дескать, люб Союз Русского Народа...

Так каковы же эти идеи, за которые Солженицын подвергается критике, нередко напоминающей нравственный суд Линча? Во-первых, тут стоит вопрос отношения к России: к ее прошлому, настоящему и будущему. Если изложить контраст очень схематично, то получается так: Солженицын верит, что у русских людей, живущих под советским строем, несмотря на глубоко калечащее действие этого строя, сохранились живые силы, которые и приведут их к оздоровлению и освобождению. Эта вера очевидна не только из его политических статей или интервью, а из всего его творчества, несмотря на то, что он прекрасно отдает себе отчет в том, как страшно и сильно строй калечит — и это тоже ясно из всех его произведений. Вера же в живые силы России есть вера в живые силы человека вообще, основанная на глубоком чувстве того, что человек создан по образу и подобию Божию, что он духовно приобщен Богу. Если подвести итог, получается, что это подход к человеку и к жизни глубоко христианский. Его можно не принимать, конечно, с ним можно не соглашаться; неудивительно, что это неприятие иногда носит яростный, злобный характер, ибо наша эпоха и есть эпоха богооборческая, эпоха провозглашения смерти Бога. Недавно Иоанн-Павел II задал себе и человечеству горестный вопрос: понимают ли те, кто провозглашает смерть Бога, что тем самым они объявляют и о смерти человечества? То же самое можно сказать и о России: считая ее безнадежно и безвозвратно изуродованной и искалеченной, мы (даже не отдавая себе в этом отчета) предсказываем ее неминуемую смерть, а иногда даже считаем, что смерть эта уже произошла. По сути дела, если посмотреть в корни спора, то именно в этом он и состоит. А далее, в рамках этого глубинного, нередко подсознательного контраста, есть, конечно, множество различных вариантов, разветвлений и надстроек, о каждой из которых можно говорить, разбирать и ана-

лизировать ее и спорить бесконечно, что и делается, с постоянным отказом довести разговор до логического его заключения.

Есть такая тенденция в наши дни — всё ныне проходящее связывать и сравнивать с прошлыми моментами и течениями русской жизни; в частности, очень модно проводить аналогию с западничеством и славянофильством. (Аналогия, кстати, вполне искусственная и внешняя.) Мне кажется, что если с чем-то можно установить связь, то скорее всего с действительно сильными у нас и присущими русскому характеру нигилистическими течениями. Нигилизм в той или иной разновидности присутствовал в нашей истории, может быть, даже больше, чем в истории других наций, и он, действительно, цветет и в наши дни, с особой силой, — не только у нас, но и у нас. Всё же остальное — уход в политику, политическое, а следовательно, поверхностное толкование явлений духовной жизни и судьбы человечества. Поскольку при таком подходе никогда не затрагивается главное и настоящее, то спор может продолжаться до бесконечности, беспредметно и бездоказательно, строясь на внешних деталях и категорических утверждениях априори. Это и происходит всё время.

Об одном лишь аспекте такого построенного на внешних моментах спора, мне кажется, стоит сказать, просто потому, что он особо растет и распространяется на весь свободный мир, не только русский. Дело в том, что в упомянутом уже провозглашении смерти России особенно сильна одна тенденция, согласно которой смерть эта заложена была испокон веков в самой личности русского народа (неожиданно тут выходит на поверхность так яростно опровергаемое — обычно как раз людьми этой тенденции — понятие личности нации, только со знаком минус) или стала для него роковой неизбежностью в силу особых обстоятельств его истории (но и тут мы опять приходим

к личности нации, ибо иначе непонятно, почему именно обстоятельства истории *этого* народа были таковы; а впрочем, может быть, Его Величество Случай, учение о котором — одно из проявлений отчаяния нашей эпохи). На политический язык это переводится теорией о неизбежном в России полицейском строе и тоталитаризме, о логическом вытекании Ленина (хотя его еще кое-кто пытается спасти) и, во всяком случае, Сталина из русского духовного склада и из русской истории. Если взглянуть вглубь, то это опять-таки всё то же: смерть ли — наш естественный и неизбежный удел с рождения, или воскресение? Приходим ли мы в эту жизнь приговоренными, без возможности помилования, к высшей мере наказания — или одаренными жизнью вечной? Именно потому, что корни уходят в такие абсолютные вопросы, спор и разгорается с такой страстью (за исключением, конечно, тех случаев, когда он — направлен, запрограммирован и небескорыстен, вызывается для достижения политических или стратегических целей; но этот вариант сейчас хотелось бы оставить в стороне). Если же оставаться на уровне понятий политических и конкретно-исторических, то тут мы наблюдаем удивительное явление неспособности людей, очень четко и убежденно выступающих против советского строя и даже против коммунизма вообще (я еще раз напомню о книге Лучио Лами: она весьма показательна), избавиться от внущенного им, этим самым строем, его идеологическим аппаратом, толкования и изображения истории России, истории человечества, истории духовного развития мира.

В одной из парижских газет на днях промелькнуло заявление французского юриста о возрождении тайной полиции в Иране, со всеми прерогативами, жестокостью и всемогуществом, которыми обладала тайная полиция шаха и которые представляют собой одно из главных выдвигаемых против него обвинений. И сразу

же сравнение: «так же, как Чека воспроизвела царскую охранку и создана была на ее структурах...». Это не так, это просто фальсификация истории. Откуда же у этого французского юриста такое убеждение? Оно в значительной мере уже превратилось в общее место, и поэтому с ним так трудно бороться. Первоначально оно исходило от наших собственных писателей, от нашей интеллигенции, исполнявшей свою (справедливую и нужную) роль критика существующего порядка и борца за лучшее общество с рвением и нравственным ригоризмом, которые действительно нам были свойственны более, чем интеллигенции западной, отчего мы всё время кричали о соринках в собственном, не в чужом глазу и подчас принимали и выдавали их за бревна. Революция в значительной мере долго оправдывалась и принималась именно на основании веры в то, что плохое старое надо заменить хорошим новым. Когда стало ясно, что новое — нисколько не хорошо, могло быть в какой-то мере естественным считать, что произошел возврат к плохому старому: критика старых порядков, доступная именно как таковая, на это толкала, а кроме того есть некоторые шаблоны, глубоко засевшие в нашем сознании: «за революциями следуют реставрации — см. французскую революцию». У нас реставрации никогда не было, но появилась известная тенденция провозгласить таковой сталинскую эпоху; как это ни поверхностно и несерьезно исторически, всё же такое толкование еще понятно в советских условиях убийства памяти и ежедневного фальсифицирования истории, но менее понятно в условиях свободы и доступности широких и разнообразных исторических материалов. Нередко создается впечатление, что есть предвзятое мнение, настолько прочное и сильное, что исторические материалы подбираются под него, а не изучаются объективно и всесторонне. Трудно, конечно, пересмотреть все понятия, на которых вырос и в которых не сомневаешься ни се-

кунды; уже достаточно большое усилие понадобилось, чтобы переосмыслить действительность, среди которой живешь, и ее справедливо оценить, а перевернуть полностью все понятия о прошлом — это очень сложное предприятие. Эта трудность — тоже одно из проявлений страшного калечашего действия коммунизма, и наблюдается оно, к слову сказать, далеко не только у нас, и далеко не только в странах под коммунистической властью, а просто во всякой коммунистической среде: систематическое промывание мозгов неизбежно дает свои результаты. Однако проверить и исправить понятия о прошлом, внущенные идеологическим тоталитаризмом, необходимо ведь и для подлинного, правильного понимания действительности.

Сужение, обеднение, безграмотное упрощение и схематизация сложной, многогранной, богатой истории России и приводит к убеждению в том, что можно поставить знак равенства между реставрацией и сталинизмом (хотя к реставрации, между прочим, никто не призывает — менее всего всячески за это критикуемый Солженицын), между сталинизмом и национализмом, и появляется пугало русского национализма, которого надо будто бы бояться больше, чем коммунизма, ибо все уже поняли, как плох и опасен коммунизм, и, следовательно, с ним уже бороться не надо, в то время как русский национализм — это тот будущий злодей, который займет его место в качестве мирового зла. Игра словами в нашу эпоху идет всё время, то сознательно, то невольно. Откуда это непонимание несовместимости двух понятий — коммунизм и национализм? Всё зависит, конечно, от того, что подразумевать под словами. Если считать, что коммунизм еще не осуществлен нигде и, следовательно, и в Советском Союзе его нет, — нетрудно сказать, что то, что там есть, можно согласовать и соединить с национализмом. Если толковать национализм обязательно как шовинизм, фанатизм, ксенофобию и расизм, то тоже

справедливо предположить объединение его с тем, что налицо в СССР. Но, пожалуй, всё-таки реалистичнее и честнее, говоря о коммунизме, понимать под ним то единственное, что неизменно осуществляется всюду, где он провозглашен и государственный и общественный порядок строится на его принципах и категориях. Что же касается национализма, то даже это слово (отнюдь не однозначное с шовинизмом) не совсем точно, когда речь идет всего лишь об обретении памяти, о восстановлении исторической правды и о прекращении того калечения душ и жизней, против которого восстают все как будто единодушно и единогласно.

Действительно, непонятно, почему слово «русский» обязательно надо сделать синонимом узости, нетерпимости, авторитарности, ханжества, грубости, невежества: всё это есть среди русских так же, как среди представителей других наций и этнических групп, и всё это часто присутствует у людей, склонных прятаться за ту или иную идеологию, в том числе и за национализм, но не реже мы наблюдаем те же самые проявления и у тех, кто яро выступает против национализма и кто во имя терпимости в высшей степени нетерпимо обходится с тем, кого обвиняет в нетерпимости же. Вполне можно себе представить, что коммунистическая власть играет или пытается играть на примитивно империалистических инстинктах, которые можно найти у русских (так же, как у всех народов мира), особенно как компенсацию их полной во всем ущемленности и задавленности. Кажется ясным, что единственная подлинная и действенная борьба с такой манипуляцией и таким использованием всего самого низкого (всегдашняя тактика коммунизма — и не только тактика, а глубокий план захвата человеческой души) — это как раз восстановление подлинного национального достоинства, национального сознания и совести, которые одни только и могут позволить этой манипуляции и этому использованию противостоять.

Что же касается роли во всём этом православия, то, во-первых, стоит вспомнить, что крайне, по-настоящему шовинистические, националистические круги ищут и желают скорее ухода от христианства; есть даже какие-то фантастические разговоры о возврате к древнерусскому язычеству, которые, правда, всерьез принимать не приходится, пока что всерьез может быть попытка использования и манипуляции церковных обрядов и внешних форм православия для абсолютно внехристианских и антихристианских целей. Подобные усилия делает и коммунистическая власть, с некоторым внешним успехом, как лишний раз показал нам недавно опубликованный отчет Совета по религиозным делам СССР*. Но опять-таки достаточно даже очень коротко призадуматься над сутью и содержанием христианства, знак которого, по более или менее всеобщему признанию (не признают только крайне правые, в том числе и Западной Европы, и коммунисты), лежит на всем положительном развитии нашей эры в сторону гуманности, милосердия, принципиального равенства всех людей и уважения к человеческой личности, чтобы понять, что возможны манипуляция, обман, подмена, но настоящего союза христианства с шовинизмом или с тоталитаризмом не может быть никогда, наоборот, христианство по сути своей должно им сопротивляться. Конечно, далеко не все, имеющие себя христианами, таковыми являются. Но христианство — одна из великих положительных сил в мире, и бороться надо не с ним, а за правильное его понимание и приятие. За это боролись, очевидно, о. Глеб Якунин и многие другие, сегодня находящиеся в тюрьмах и лагерях.

Русская культура с самого зарождения своего и во всё протяжение своего существования, резко прекратившегося (в открытой форме) после 1917 года, была

* «Вестник РХД», № 130.

культурой христианской; и эта культура, русская, христианская, православная, дала миру многое из самого ценного, что у него есть в области духа и человеческой совести. Трудно понять, как объединяется в умах и системе знаний беспощадных критиков России и всего русского (просто по тому признаку, что — русское) этот огульно отрицательный подход с признанием значения и ценности хотя бы тех немногих, кого они всё-таки знают, скажем, Достоевского, Толстого, Чехова... Почему-то эти люди велики *вопреки* России и в осуждение ей; а, например, Бальзак или Золя — во славу Франции и как плоть от плоти ее; и таких примеров не счесть.

Это, мне кажется, основные темы большого спора; как уже указывалось выше, вариации на тему бесконечны, и на каждую из них истрачено много сил и много слов, но в общем они сливаются в два главных течения. Только если смотреть не на поверхность, а в суть мышления и мироощущения, деление совсем иное, чем представляется на первый взгляд. Нет этого четкого и резкого деления на авторитаристов и либералов, на прогрессистов и консерваторов (коммунистический шаблон), на терпимых агностиков и нетерпимых верующих. Нетерпимость, авторитаризм и фанатизм представлены в достаточной мере и с той, и с другой стороны, и просто нет того знака равенства, который ставится между этими явлениями и защитой России, ее истории и культуры, так же, как нет знака равенства между такой защитой и нравственностью, человеческим достоинством и благочестием. Деление идет по признаку умственной честности и углубления в изучение и понимание проблем. С этой точки зрения, все выдвинутые в последнее время обвинения Солженицыну (не возражения, а именно обвинения) просто несостоятельны.

А дальше, на уровне самом глубинном, деление идет по признаку нигилизма и богооборчества, с одной

стороны — и признания высшего начала в жизни и личности человека, с другой, хотя бы и людьми, сознательно ни к какой религии и ни к какой церкви не принадлежащими.

Все творчество Солженицына в своей совокупности говорит нам, что он принадлежит ко второй категории, и тем самым, опять-таки на глубинном, может быть и не всегда осознанном или подтверждаемом сиюминутными высказываниями уровне, исчезает всякая возможность авторитаризма, тоталитаризма, зла.

Нетерпимость с обратным знаком заставляет людей (в частности — западных) удивляться и отмахиваться, когда Солженицын говорит им о конкретном присутствии Зла в мире и о том, что коммунизм есть порождение именно этого Зла. Помню, сходную реакцию вызвали слова Папы Павла VI о присутствии диавола в мире, о его конкретном существовании и о необходимости с ним бороться. Павел VI считался «прогрессистом», и поэтому не допускалась возможность у него таких «устарелых» понятий: буквально не допускалась, негодящий хор «терпимых» протестовал — как он может такое говорить? И в голову никому не пришло задуматься — совершенно независимо от того, прав ли Павел VI или нет — на каком основании, собственно, и по какому праву, отказываясь уважать его духовный опыт и признавать полноценность его, ему фактически отказывают в свободе мысли и слова?

ИЛОВАЙСКАЯ-АЛЬБЕРТИ Ирина Алексеевна — родилась в Белграде в 1924 г. в семье русских эмигрантов. Окончила русскую гимназию в Белграде, высшее образование по русской филологии получила в Римском и Кембриджском университетах. Вместе с мужем, итальянским дипломатом, жила во многих странах мира. Занималась переводами с русского на итальянский, преподавала русский язык и литературу, русскую историю. Начала выступать как журналист в итальянской прессе, много лет была внештатным со-

трудником радио «Свобода», печаталась в «Вестнике РХД». С осени 1979 года — главный редактор еженедельной газеты «Русская мысль» (Париж).

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Почетный директор Зинаида Шаховская

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	40	75	135
Заграница	47	84	150
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	66	124	220
Сев. Африка,			
Греция, Турция,			
СССР	50	90	170
Иран	57	104	190
Австралия, Китай,			
Япония	84	158	300

Восточноевропейский диалог

Аттила К о в а р и

CUI BONO?

Покойный примас венгерской католической церкви кардинал Миндсенти приводит в своих воспоминаниях слова из произнесенной им в 1947 г. филиппки против рвущихся к власти коммунистов: «Обещать свободу вероисповедания, а на деле добиваться безрелигиозности — это вершина фарисейства» («Континент», № 3, стр. 378).

Мне чудится, что в этом заявлении проступала убежденность в аморальности антихристовой природы коммунистов, а следовательно, и в бессмысленности строить отношения с ними иначе, чем с «позиции силы». Вместе с тем, в них звучит тревожное ощущение близкого воцарения мира безбожия.

Тридцать лет спустя на страницах печатного органа ЦК Союза коммунистической молодежи воспитательница из Занка делится своими заботами с корреспондентом еженедельника: «В нашем селе половина детей посещает занятия по религии. Нам приходится быть очень осторожными и в то же время решительными в формировании их сознания. Состязаться с увлекательными повествованиями, рассказами священнослужителя, таинствами церкви... очень трудно» («Мадьяр ифьюшаг», № 19, 1978).

Миссия католической церкви в современной Венгрии, должно быть, не так уж безнадежна, как себе представлял в свое время кардинал Миндсенти, если в условиях отделения Церкви от государства и введения в 1950 г. факультативности изучения Закона Божия

в школах в настоящее время 50% детей посещают занятия по религии. Это, естественно, предполагает добрую волю если не детей, то во всяком случае их родителей, уже выросших, кстати, при новом режиме, и их готовность идти на некоторый риск, непременно сопровождающий любой афронт коммунистическим властям, во имя свободы вероисповедания.

Второе лицо в иерархии венгерской католической церкви, епископ Черхати из Калоча, заявляет в наши дни: «Церковь, опирающаяся на плюралистические принципы, не может усомниться в воле и бесспорных человеческих ценностях тех людей, которые не веруют и не желают стать членами прихода».

За три десятилетия, истекшие с момента выступления Миндсенти, как видно, имели место примечательные мутации во взаимоотношениях между главенствующей в силу традиции и по численности католической Церковью и коммунистической государственной властью. Эти перемены, понятно, органически связаны со всеми теми общественно-политическими изменениями, которые после событий 1956 года привели к особому статусу Венгрии в «социалистическом содружестве» стран Восточной Европы, занявшей в нем, если перефразировать Солженицына, место в круге первом.

Процесс либерализации в отношениях Церкви с государством формально нашел выражение в подписании, начиная с 60-х годов, ряда конвенций между венгерским правительством и Ватиканом, между венгерским правительством и Коллегией венгерских епископов и, наконец, в визите партийного лидера Яноша Кадара в Ватикан в 1977 г. и переговорах, которые он там вел. Так, на высшем административном уровне, не в последнюю очередь благодаря новому духу решений Второго Ватиканского Собора, установился статус кво, освящающий сосуществование под видом доброжелательного диалога между мирской и духовной властью.

В повседневной жизни эта беседа обнаруживает ряд весьма любопытных аспектов и заставляет задуматься о возможном исходе ее. Мне хотелось наметить хотя бы отдельные, как мне представляется, любопытные моменты этого диалога, воображенного лишь по форме, а не по сути, и поделиться по этому поводу некоторыми соображениями.

* * *

Сначала мне попалась на глаза статья профессора философии Будапештского университета Йожефа Поора, скромно озаглавленная «Атеистическая пропаганда и религиозное мировоззрение» (журнал «Парлет» — «Партийная жизнь», 1978, № 6). Относительная сдержанность тона, реалистическая прагматичность ряда аксиологических суждений, не скрою, произвели на меня впечатление. Недолго спустя я где-то вычитал, что издательство венгерской католической Церкви «Ecclesia» выпустило книгу «Христианин в социалистическом обществе»*. Через несколько месяцев книга, составленная по инициативе Объединения священнослужителей — сторонников движения борьбы за мир уезда Саболч-Сатмар, лежала у меня на столе. Чем внимательнее я в нее вчитывался, тем более противоречивые чувства мной овладевали. Возникшие беспорядочные мысли крутились вокруг вопроса: каковы реальные пределы «исторического компромисса» Церкви и коммунистического режима нынешней Венгрии. И у меня возникло побуждение *sine ira et studio*, если это вообще доступно человеку, постичь суть этих взаимоотношений.

* Kereszteny ember a szocialista társadalomban. Budapest, 1977.
В дальнейшем ссылки на это издание обозначены сокращением XCO.

Лобовое впечатление от прочитанного — ведущая интонация *взаимотерпимости*. Как в католическом сборнике, так и в статье философа Й. Поора, выступающего на страницах упомянутого ежемесячника ЦК ВСРП, во имя этой толерантности разобщены по сути два неделимых аспекта сложных взаимоотношений мирского государства, строящегося, как оно утверждает, на «научной теории марксизма», и духовной державы, которая зиждется на Слове Христовом и «пребывает во временной ссылке на земле»*, — философский (теософский) и прагматический, конкретно-бытовой.

Стоящая у власти партия программно заявляет: «Мы не пойдем ни на какие уступки в вопросах мировоззрения. Нашей задачей и впредь остается отстаивание наших позиций, упрочение и распространение нашего миропонимания» (из речи секретаря ЦК ВСРП Карола Немета, «Партелет», 1979, № 5, стр. 7).

Пропагандист высшей марксистской квалификации проф. Й. Поор, оказавшись лицом к лицу с Верой, несколько смягчает идеиную неуступчивость в духе прагматических указаний заведующего отделом пропаганды ЦК Карола Гроса, подчеркивающего, что «готовностью к культурному ведению диспутов можно преодолеть как безыдейное примиренчество, так и торопливость, замену доказательств порывами» («Партелет», 1978, № 6, стр. 7).

«Культурный» подход будапештского философа к решению основной дилеммы — Христос и Антихрист — оказывается далеко не однозначным. Не преминув, натурально, осудить «иллюзорность» религиозного сознания, его обращенность к трансценденту,

* The Documents of Vatican II. Guild Press, New York — America Press — Association Press. Imprimatur Lawrence Cardinal Shehan Archbishop of Baltimor. 1966, p. 31. В дальнейшем ссылки на это издание обозначены сокращением V. D., перевод мой. — Авт.

«консервативность», он недвусмысленно заявляет о том, что «между религией и марксизмом-ленинизмом в вопросах мировоззренческих, в деле объяснения сущности человека есть коренное противоречие» («Партлет», 1978, № 6, стр. 43). Однако чуть далее он делает такое вызывающее удивление заявление: «Изменения в религиозных потребностях проявляются и в том, что в нашей стране *по существу* (подч. Поором. — А. К.) перестала ощущаться необходимость в религиозных факторах, противостоящих марксистско-ленинскому мировоззрению (sic!) — А. К.). Решающее большинство верующих людей относится к нашим социальным целям как к своим, и их потребность в религиозной жизни ограничивается такими услугами церкви, которые не знаменуют собой противостояния строительству развитого социалистического общества» (там же, стр. 44).

Как это понимать? То ли верующий человек более не нуждается в Боге? То ли существование Абсолютного Духа уже признано марксистским материализмом, сошедшим с пьедестала философского учения и ставшим лишь политическим руководством к действию? Разумеется, ни то, ни другое. Просто делается попытка преодолеть непреодолимое путем переноса чисто философского вопроса из эмпирей онтологии в прозаический план повседневной политики. Это — практическая демонстрация (чего стоит такая «принципиальность» — ясно) самим же профессором сформулированного положения о том, что «марксизму так же чужд громогласный, голословный, строящийся исключительно на 'просветительстве', не считающийся с конкретными обстоятельствами атеизм, как и примирение с религией, отказ от атеистического учения, от атеистической пропаганды» (там же, стр. 48). В политике, как видно, все средства хороши: там, где ей нужно, она бесстыдно переставляет знаки или вовсе их стирает.

Теологические рассуждения рупоров нынешней католической Церкви, выступивших на страницах ХСО, не в меньшей мере подчинены стремлению стереть или обойти острые углы. Я имею в виду, прежде всего, помещенные в первой части сборника теоретические статьи Ласло Каща и Яноша Гояка, якобы разъясняющие догматы Второго Ватиканского Собора.

Вчитываясь в статью викария Каща «Божий люд в миру», видишь контуры субституции, по сути идентичной подмене, произведенной Поором: теософские дебаты переносятся в плоскость абстрактно-гуманистических рассуждений этического порядка. Подступ к ним таков: «...лишенная социальной, кинетической энергии, Церковь может полагаться исключительно на свои имманентные жизнеутверждающие ценности, на увенчивающие человеческое существование истины, излучающие Свидетельство» (ХСО, стр. 28). Под пером Л. Каща это звучит как истины скорее всего антропологической и общеэтической природы. В лучшем случае, его слова могут быть отнесены — с равным успехом — как к Божественному началу, так и (если отвлечься от некоторых декларативных, чужеродных для логической конструкции текста пассажей) к внутрисоциальной причинности. Автор явно перебарщивает в подведении теоретической базы под упрочение связи Богова с кесаревым. Многовалентный дух установлений Собора в его попытке уравновесить эсхатологические догматы с земными этическими ценностями оказывается слегка выравненным на мирской курс.

«Принципиально невозможно привести к синтезу материализм и идеализм, теизм и атеизм...» — говорится еще в предисловии к книге (ХСО, стр. 10). В таком случае вроде бы разумнее всего не ломать копья впустую. Но служитель Церкви чувствует, что ему не подобает обходить молчанием вопрос об имманент-

ности существования Всевышнего. И автор в поисках выхода вместо того, чтобы изложить суть догматов об Откровении, о Таинстве Веры — основополагающих документов Второго Ватиканского Собора, определяющих и окрашивающих все остальные его экклезиастические предписания, — ограничивается разговорами об извечной тяге человеческой природы к Абсолюту, к трансценденту, и из этой антропологической аксиомы о психической структуре человека выводит не столько *ЕГО непременность*, сколько *потребность в ЕГО воображении* (ХСО, стр. 47-51).

Теологические рассуждения Кашша, сводящиеся в конечном итоге к упрощенному признанию исконной потребности человека в кого-то верить, кому-то подчиняться, кому-то служить, толкают современные умы, и привыкшие к четкой логике и доказательности, и изощренные медитативными упражнениями, прислушивать «истинам» философа-атеиста.

Желая приспособиться к «духу времени», а главное, найти общий язык с коммунистическим руководством, венгерские вероучители даже в вопросе о традиционном постулате Абсолютной Веры проявляют непоследовательность, которая вряд ли была бы одобрена Святым Престолом. Так, например, викарий Янош Гояк совершенно по рецептам марксистской пропаганды, даже с набором подобающих цитат, проповедует: «Свобода детей Господних не ведает никаких магико-сакральных ограничений» (ХСО, стр. 14). (Вера на основании разума, логики? Бог без святости?) Или: «...сегодня мы еще не в состоянии дать исчерпывающий ответ на такие вопросы, как: 'каково место Бога в ставшем мирским мироощущении?', 'как совместить необходимость в «сиемирии» с трансцендентными потребностями Веры?'» (ХСО, стр. 17). Вот уж воистину, как вести диалог с атеизмом, если на эти вопросы у тебя нет ответа?

Намеренный отказ авторов католического сборника от глубоких теологических доказательств и демонстраций, многократные нападки на «воинствующий католицизм» (а ведь оппоненты не стесняются бряцать оружием и объявлять свой материализм «воинствующим») могут не только пошатнуть доверие к Учению (в статье Поора попытка обойти онтологические споры внешне объяснила небольшим объемом работы, а внутренне — ее целеустановкой), но заставляют усомниться в дальнейших рассуждениях о будто бы общих по существу основах гуманистических идеалов мирской и духовной держав. Измерение Абсолюта мерками относительного и преходящего и вытекающее отсюда приравнение «антихристовых ценностей» к Глаголу Христову (Откровению) сомнительно в принципе. И позволительно спросить, способствует ли оно реализации настоящей «задачи Церкви привести всех людей к полному единению во Христе» (V. D., стр. 15)?

Истоки того, что авторы католического сборника находят общий язык с «наиболее совершенным видом мирского гуманизма» (ХСО, стр. 24) — марксистским, лежат в провозглашении необязательности Веры. Такое абсолютизирование тезиса Собора об интимно-личностном характере Веры переходит у венгерских служителей Церкви в формализованный нейтралитет по вопросу Веры и неверия. По меньшей мере странно звучит сделанный из постулатов отцов Церкви о том, что Церковь не считает себя связанной ни с одной моделью мирской культуры, политического или экономического режима, вывод: «Оценка... данного социального или экономического порядка не дается на основании церковных или религиозных мотивов» (ХСО, стр. 425). Значит, государство надо мерить его же меркой, а не приложением критериев евангельской истины.

Попытки подвести теологическое обоснование под желанное сосуществование с помощью таких формулировок, как: «мирское не запятнано грехом», лишь «человек потерял непосредственное ощущение Бога» (ХСО, стр. 17), снимают осуждение с неверия и предписывают «быть мирянином, то есть любить и строить мир сей» (ХСО, стр. 30), что преподносится как исполнение высшего завета Божия. Разговоры об осуществлении мира Божия через земное совершенствование, при постоянном подчеркивании интимно-духовной природы веры, думается, легко могут сбить с толку рядового мирянина.

Диалог теологов и атеистов никак не выливается в спор по существу. Он — и это понимают идеино противостоящие стороны — вряд ли привел бы к положительному решению. Однако их собеседование поучительно под углом зрения практических рекомендаций, делающих возможным мирное сосуществование. Интересно сопоставить «реплики» по поводу одних и тех же занимающих оппонентов вопросов, оценки социально-гуманистического, морально-этического плана.

Марксист Поор допускает реальность объективных и субъективных причин не только укорененности религиозного сознания у части венгров (кстати, Янош Кадар образно говорил в выступлении по случаю 30-й годовщины освобождения Венгрии, в 1975 г., что еще не изобрели такой кибернетической машины, с помощью которой «можно было бы установить, сколько в Венгрии верующих, полуверующих и атеистов»), но и «воспроизведения» веры в нынешних условиях строительства развитого социализма.

В самых общих чертах и довольно уклончиво касаясь объективных причин, профессор относит к их числу неравные условия производства, а главное, распределения материальных благ, что, по его словам, определяет противоположные «личные, групповые и

общественные интересы» («Партелет», 1978, № 6, стр. 46), опосредованно содействующие регенерации отсталых элементов мироощущения. Гораздо интереснее то, что Поор квалифицирует как «субъективные причины» религиозности. Почти без околичностей он говорит о том, что я назвал бы социальными деформациями, присущими имманентно «коммунистическому строительству»: «Бездушие, бюрократическое делопроизводство, безразличие к потребностям населения...» Кульминацией искренности можно счесть признание: «...если люди не могут пользоваться своими демократическими правами, что иногда и кое-где еще имеет место», это ведет — вывод не лишен логики — к тому, что «рождается чувство потеряянности, подвластности человека..., могущее содействовать консервации религиозных проявлений» (цит. статья, стр. 47). Чуть ранее — правда, локализованно в контексте о боязни войны — он пишет: «Негативные впечатления, переживание воображаемого фантастического единоборства со страхом, испугом всегда играли и играют по сей день значительную роль в возникновении и поддержании веры» (цит. статья, стр. 46). Поистине, умный не додумается, а дурак подумает, что так и надо!

Но как бы то ни было, не в пример своим советским или румынским коллегам, сплеча трактующим веру как пережиток прошлого, венгерский проповедник атеизма проявляет хоть некоторое чувство реальности.

Объяснением веры в Бога, согласно авторам ХСО, помимо исконного тяготения человека к абсолютному, является и то, что «пружиной человеческого действия всегда выступает какое-то кредо» (ХСО, стр. 18). Это кредо необходимо для того, чтобы человек, подвергающийся ежедневно невзгодам земного бытия, обретал равновесие: «В любви к Нему освобождаемся от корысти, мелочности, посредственности и власти ко-

пеечных дел»; «Признаем, что к Божеству обращает верующего чувство какой-то неполноты...» (ХСО, стр. 101).

К слову сказать, будапештский прелат Бланкштейн приводит в качестве примера такой социальной причины веры «чувство одиночества, чувство превращения в лишнего, овладевающее людьми преклонного возраста и не могущее найти излечения на путях институциональных, общественных» (ХСО, стр. 164-165).

На страницах газеты «Мадьяр Немзет» («Венгерская нация»), а в особенности еженедельника «Мадьяр ифьюшаг» («Венгерская молодежь») о такого рода ощущениях, владеющих людьми, пишут довольно много. В моей памяти это как-то само собой ассоциируется с прочитанной в «Кортарш» («Современник») в 1978 г. киноповестью Домокоша Молдована «Ясновидец», с сочувствием рассказывающей об отчаявшихся людях, которые ищут утешения и избавления в оккультных силах.

В этой связи довольно примечательно, что даже в достаточно лаконичных директивах о направлении партийной агитации и пропаганды на 1979 год Карол Грос счел нужным особо обратить внимание на необходимость «улучшения самочувствия и жизненных условий людей преклонного возраста» («Партелет», 1979, № 1, стр. 33).

Л. Кашша пишет о том, что политическая власть и в прошлом, и сегодня идеологическими средствами, мифами стремится сакрализовать себя, чтобы «проникнуть в мысль и совесть людей, приковать их к *правде* земной державы, отдельных властителей, существующего социального режима вообще, объявляя любой бунт или революционное движение кощунственным, грешным, противным совести» (ХСО, стр. 20).

Поучительно проследить, как на этой почве борьбы за «сакрализацию» стоящие на непреодолимо противоположных отправных позициях Церковь и новая

социально-политическая власть вырабатывают сходные, созвучные, а иногда и попросту тождественные программные идеи.

Образцом такого странно слаженного дуэта, примечательного хотя бы по причине «пикантности» темы, является трактовка оппонентами секса.

По логике мысли будапештского греко-католического каноника Габора И. Челени, изложенной в статье «Несколько соображений о половом воспитании» (ХСО, стр. 154-161), секс — это выражение самосовершенства, самоценности личности при том условии, что половой акт знаменует собой полную самоотдачу, если он носит сугубо личностный характер (направлен на определенное лицо) и воплощает любовь и службу Ей-Ему и — через это — Всему Человечеству. Челени осторожно говорит о невозможности установить «единые рецепты» и уточняет: «одно дело — адюльтер, другое — внебрачная связь». По его словам, заслуживает безоговорочного осуждения «потребительский эротизм», но является вполне простительным грехом — половая связь ищащих себе пару молодых людей, особенно если существующие бытовые и материальные условия не позволяют официально оформить брак. Вывод: «Гуманизация секса, постановка его на службу более высоким идеалам немыслима без некоторого аскетизма, воздержания» (ХСО, стр. 160).

За отсутствием разработки этой темы в статье Й. Поора и за неимением под рукой кодекса нравственности венгерских коммунистов, обратимся к другому источнику — к центральному органу печати коммунистической молодежи. «Принципиальный» подход к вопросам пола в слегка опоэтизированной форме суммируется под пером журналистки Веры Вёлди: «...любовь — такое эмоционально возбужденное состояние, при котором появляется половое влечение к партнеру. Это не только физическая, но и духовная тяга... Она (любовь) возносит в поднебесье переживаний, на вер-

шины воображения, она же свергает в бездны...» («Мадьяр ифьюшаг», 1978, № 51).

По словам доктора Имре Лазара, любовь — это «ответственность и перед детьми, и друг перед другом, и перед самим собой» (там же). А врач Пал Вереш, постоянный консультант упомянутого еженедельника, которому ежедневно приходится иметь дело с девицами 14-17 лет, живущими по принципу: «Самое лучшее — хоть немного секса с самого начала. Если через месяц парень тебе надоест, то хоть какое-то удовольствие получила» (там же), чуть ли не из номера в номер дает своему «контингенту» один и тот же совет: «Наступление физической зрелости вовсе не означает необходимости начинать половую жизнь. Человеческое существование имеет разумный смысл. Надо стремиться к тому, чтобы, не отказываясь от личного удовольствия, стать полезным членом общества. Чем позже вы начнете половую жизнь, тем более зрелой, насыщенной будет ваша любовь» (там же, 1978, № 32). Он призывает к воздержанию, от которого «ничего плохого не случится, от обратного же — уйма неприятностей» (там же, 1978, № 43).

Мораль сей параллели предельно ясна. Но трудно отделаться от мысли о двойном парадоксе. С одной стороны, в глазах, например, восточных соседей и сотоварищей, санкционирующих под знаком особой дако-римской (румынской) человечности и нравственности самое мрачное сталинистское пуританство, широта и размах венгерского руководства заслуживают, естественно, всяческого порицания. В свете современной коммунистической идейности венгерские власти кое для кого явно недозволительно либеральны. С другой стороны — и в этом второй парадокс — венгерское католическое духовенство в стремлении сблизиться с земной властью оказывается на более «левых» позициях, чем румынские или советские официальные моралисты, и уж как бы то ни было, ближе к идеям

венгерских атеистов, чем Папского престола (вспомним хотя бы высказывания на эту тему папы Иоанна-Павла II, сделанные во время посещения американских континентов).

И совсем ошеломляют совпадения в логическом развитии мысли и даже в речевых формулах этого диалога.

Каноник Петер Альбертини, сотрудничающий в журнале «Католический глагол», в статье «Христианин в приходе» говорит о Церкви как об институции в таких словах: «Возобновленная приходская жизнь строится на братском применении авторитета церкви и деятельной солидарности членов» (ХСО, стр. 176). Это звучит почти как ленинский принцип обязательной активности членов партии при демократическом централизме. А модель образцового христианина в его изображении точь-в-точь похожа на идеальный тип коммуниста: «С ним несовместимы ни жалость к самому себе, ни причитания, ни неустойчивость, ни заблуждения... Он должен быть (человеком) широкого кругозора, чтобы применять духовное наследие Церкви согласно требованиям современной эпохи». Духовный же пастырь «...только изредка (sic! — A. K.) имеет право приказать... его авторитет должен проявляться в советах, в побуждении, в убеждении,... чтобы мобилизовать общину в целом на решение задач» (ХСО, стр. 177). Несущественные отличия от языковых стереотипов устава партии и директив ЦК с трудом улавливаются человеком, постоянно живущим в атмосфере коммунистических речевых автоматизмов. Перекличка доходит подчас до полногоозвучия. «...духовный пастырь подбадривает, побуждает, требует, организует, будучи уверен, что имеет дело с равными, с сотрудниками, с братьями, а не с детьми, которых можно направлять куда угодно», — читаем у того же автора (ХСО, стр. 177). «...если говорить с людьми как со взрослыми, то это ценится, этим дорожат», —

дал установку Кадар в заключительной речи на XI съезде партии.

Осуществление знаменитой «союзнической политики» Кадара, обоюдовыгодное сотрудничество, судя по заявлениям обеих заинтересованных сторон, идет успешно.

«...главы церквей и их паства с полным доверием относятся к политике нашего правительства и готовы всемерно содействовать реализации совместно выработанных планов», — утверждает одна сторона (из Рождественского выступления реформатского епископа Ласло Кюрти, «Мадьяр Немзет», 1979, 24 дек.). Другая подтверждает: «Одна из существенных причин нашего уравновешенного внутриполитического положения — это упорядочение отношений между государством и церковью» (из выступления Карола Немета, «Партелет», 1979, № 5).

Готовность венгерского партийного ареопага и Церкви пойти навстречу друг другу, найти общий язык, общую экзистенциальную платформу в рамках Национального Народного Фронта представляется не просто фразой или дежурной декларацией по торжественным случаям.

В 1978 году «уже удалось устроить семь коммунистических свадеб», — рассказывает корреспонденту «Мадьяр ифьюшаг» (1979, № 15) секретарь сельской организации союза молодежи. — Нет, однако, общественных похорон, гражданских именин, более того, даже член парткома хоронит мужа по церковному обряду». В этом откровенном сетовании трудно не увидеть признание авторитета и влиятельности Церкви. И надо отдать должное венгерским коммунистам, что они в данном случае не сбрасывают со счета факты в угоду желаемому. Но, с другой стороны, и сама Церковь, и не только католическая, насчитывающая в Венгрии 1100-летние политические и культурные традиции, но и реформистские, столетиями несшие

вместе с ней факел венгерской национальной культуры, — это такие изощренные в идеяных диспутах и закаленные в политической борьбе оппоненты, с которыми не считаться не только немыслимо, но, как показала это в прошлом практика Ракоши — Гере, катастрофически неразумно.

Утверждение Миндсенти о гибели венгерского епископата, аналогичной закабалению коммунистическим режимом православной Церкви в СССР, кажется несколько преувеличенным. Если сравнение позволяет выявить истину, я еще раз позволю себе немного раздвинуть контекст рассмотрения противостояния веры и атеизма.

В январе 1980 г. в Бухаресте состоялся съезд возрожденного Фронта Демократии и Социалистического Единства. В зале съезда сидели десятки митрополитов и епископов. В своей вступительной речи, продолжавшейся три часа, румынский лидер не считал нужным даже упомянуть о присутствии этих делегатов, о Церкви, о сотрудничестве верующих и неверующих. Он все равно мог с уверенностью рассчитывать на то, что высшее румынское духовенство будет воскурять фимиам ему лично и возглавляемому им режиму. И действительно, патриарх Юстин Мойсееску не замедлил выразить благодарность государству за «дарованную Церкви полную и реальную свободу» и обратился «с горячим, идущим от сердца словом к первому гражданину страны, глубокоуважаемому президенту Николае Чаушеску» («Скынтеяя», 1980, 19 января).

Религиозные пастыри в Венгрии говорят о свободе Церкви не как о реальности, а как об идеале, к которому в лучшем случае может привести диалог с коммунистами, которые сами тоже должны «соблюдать и заставить других блести истину, законы, этические нормы, не применять дискриминационных по отношению к верующим мер. Они могут помочь (верующим интегрироваться в социалистическое общест-

во. — А. К.) и тем, что сами внесут поправки в свои представления и жизненную практику, связанную с верой, Церковью, хотя бы в той же мере, в которой верующие граждане, венгерская Церковь со все возрастающим доверием включается в реализацию социалистических задач» (ХСО, стр. 431). Воздаяние по заслугам — принцип, по-своему действующий в коммунистическом мире.

Кадар в силу сложившихся обстоятельств, возможно, не в последнюю очередь именно по причине сохранившегося влияния и яркости оппонента не может вести себя так, как позволяет себе его бухарестский аналог. Предпочитающий, не в пример многим коммунистическим руководителям, держаться в тени, он понимает необходимость широких жестов дружелюбия и не стесняется, как это было во время посещения дебреценской реформистской гимназии года полтора назад, признать важность просветительской функции Церкви на протяжении столетий. Кадар не воспротивился узаконению традиционных церковных праздников, начисто вычеркнутых из календаря в ряде социалистических стран.

24 декабря 1979 года газета «Непсабадшаг» под праздничным заголовком поместила, помимо статьи, начинающейся словами: «Мы празднуем сегодня Рождество в атмосфере надежд и тревог», стихотворения, репортаж, воспоминания, фотомонтаж и юмористические рисунки, хоть отдаленно, но напоминающие былые рождественские номера газет. А «Мадьяр Немзет», выходящая на 24 страницах, отводит Рождеству, хоть и переименованному в «семейное торжество», треть материалов. Это описание славных деяний Церкви в прошлые века, ее заслуг в вальпургиеву ночь фашизма, обращения епископов к пастве со словами о христианской любви и др. Что же до соседних «братьских» стран, то польская «Трибуна люду» отметила

«семейный праздник» всего одной статьей и парой бытовых зарисовок; в румынской центральной печати о Рождестве не было ни слова, максимум дозволенного — упоминание о новогодних фольклорных обрядах, и то полностью стилизованных под социалистическое современе; о советской печати нечего и говорить.

При всех введенных в послевоенное время ограничениях (недопущение ассоциаций, молодежных обществ и клубов под эгидой Церкви, введение факультативности изучения Закона Божия, прекращение передач по радио воскресной литургии, обязательность согласования назначения прелатов, апостолических администраторов с государственными органами и пр. — впрочем, часть этих мер вполне соответствует предписаниям Второго Ватиканского Собора и скоординирована со Святым Престолом) в сегодняшней Венгрии католическая Церковь располагает двумя собственными издательствами, двумя еженедельниками, информационным бюллетенем и двумя журналами, из которых один предназначается для широкой публики, а второй рассчитан на круги теологов. Духовные лица часто выступают в ежедневной печати, а время от времени будапештское радио передает «религиозную тридцатиминутку». Материальная поддержка в форме зарплаты духовенству и субсидий на реставрацию религиозных памятников, на ремонт церквей и пр. способствует обеспечению более или менее сносного уровня существования и деятельности приходов, практики духовного культа.

В этой связи хочется упомянуть о таком не совсем обычном для стран коммунистического мира маленьком эпизоде: в первых рядах венгерской молодежной делегации, дефилирующей на открытии Всеобщего фестиваля молодежи в Гаване, шагал молодой человек в сутане — католический каноник. Правда, тут имеется и оборотная сторона медали: Церковь

ангажируется в политический акт, осуществляемый коммунистическим миром. Имеет полный смысл позволить духовному лицу маршировать в составе делегации, коль скоро калочийский епископ выступает с политической декларацией, поддерживающей действия правительства по вопросу о разоружении и мирном урегулировании конфликтов, а примас, монсеньер д-р Ласло Лекай, благословляет отвергнутое в свое время Миндсенти «движение священников, борющихся за мир».

Однако авторский состав рассматриваемого католического сборника заставляет усомниться в безоговорочной готовности Церкви в целом, а главное, высших ее кругов, служить задачам социализма. Дело в том, что в книге, в которой выступило более 20 авторов, кроме подписей двух профессоров теологии (один из них греко-католик), нет ни одного звучного имени ни епископа, ни даже ведущего викария.

Проявление ли это духовного диссидентства? Тактический ли шаг, формально мотивированный указанием Ватиканского Собора не касаться мирских дел, предполагающих политическую причастность? Трудно ответить на этот вопрос категорически. Но если представить себе весь контекст «союза» Церкви с коммунистическим государством, то неучастие высшего духовенства в подобном издании представляется продиктованным скорее всего вторым мотивом. Вероятно, это и есть одно из непременных слагаемых навязанного венгерской Церкви историей наших дней уравнения, в которые обначен роковой вопрос: быть или не быть?

Какую линию избрать в условиях секуляризации во всемирном масштабе, имея перед глазами судьбу Церкви в других коммунистических странах — хотя бы в СССР, Болгарии, Румынии? Есть два пути: 1) сохраняя институционные рамки, соглашаться на компромиссы, идти до каких-то пределов на поводу у режима, открыто враждебного Церкви; 2) идти напро-

лом, как предлагал покойный примас, не уступая ни пяди традиционных прерогатив.

Первое решение давало возможность, пусть в жестких конституционных границах, выступать как инородное тело в управляемом духовном климате страны, тело, хоть частично проявляющее свою несовместимость с навязываемыми социалистическими нормами жизни. Это позволяло самим фактом своего существования оставаться тем сдерживающим началом, которое до определенной степени противостоит бесконтрольному режиму тоталитаризма. Попытка же оставаться несгибаемым Святым Георгием царства Христова обрекала на гибель. Выбор был сделан в пользу первой альтернативы.

Вариант, которому отдали предпочтение Ватикан и венгерский епископат, однако, сопровождается непременными обязательствами. В роли партнера коммунистической диктатуры католическая Церковь должна как минимум подтверждать свою лояльность по отношению к официальным властям. И она увещевает паству быть образцовыми строителями мира, который программно и прагматически ведет к «изживанию идеалистического миропонимания», самой Церкви. С одной стороны — иллюзии (может, чисто декларативные?): «атеизм не обязательное слагаемое социалистической общественной структуры» (ХСО, стр. 116), с другой — признание: «несомненно, что атеистическая материалистическая атмосфера социалистического общества чревата опасностью поглотить веру. И это непременно случится, если мы не найдем в себе решимости к переменам, если не поймем властные Знамения Времени» (там же, стр. 122-123).

Что представляют собой эти перемены, как следует понимать Знамения Времени, остается нерасшифрованным. Со стороны создается смутное ощущение прискорбной половинчатости. То ли это глубоко продуманная, единственно допустимая тактическая кон-

венция — надо отдать должное католическим церковникам: они не новички в политической игре, — то ли неподдельная растерянность в поисках нового пути, растерянность, сопряженная со смиренной раздвоенностью. А может, и то и другое?

Если никаких существенных изменений в социально-экономической и политико-нравственной ситуации Венгрии не произойдет — а в обозримом будущем рассчитывать на это вряд ли приходится, — не нужно быть оракулом, чтобы предсказать *sui bono* фабульные перипетии разыгрывающейся сегодня в Венгрии драмы «коварства и любви». Кинетическое превосходство в драматической коллизии этих двух мессианских начал не на стороне апостолического.

Ватиканский Собор в «Решении о миссионерской деятельности Церкви» настоятельно требует «обращения к Нему всех людей» (V. D., стр. 593). Венгерские клирики не только не упоминают об этих решениях отцов Церкви, но призывают к прямо противоположному: «Альтернативы диалога (читай: союза. — A. K.) не предполагают апологетику Обращения ни с той, ни с другой стороны» (ХСО, стр. 446). Это заявление вполне соответствует имманентной логике самого диалога, но сомнительно его соответствие канону. Это тем более бросается в глаза, что партия, со своей стороны, настаивает на апологетике атеистической миссии, более того, создает все условия для ее успешной реализации.

Итак, условия заданы. Из их рамок выскочить трудно. Значит ли это, что Вере предрешено сойти на нет или что у венгерской Церкви нет даже альтернативы выживания, не говоря уже о возложенной на нее миссии приведения венгров ко Христу? Викарий Л. Кацша дает по меньшей мере странный ответ: будущее покажет. Что это: полная резиньация или очередная уловка? Мне представляется, что для венгерского национального климата проповедь Слова Божия в

моделях отшлифованного до микронюансов замысловатого политиканства (я всё склонен думать, что речь идет лишь о политической тактике) равносильна отказу от естественных стратегических позиций. Речь идет о народе Ракоци и Петефи, по темпераменту неспособном поменять властоборческий дух Банк Бана, героя первой национальной драмы, на прожектерство Обломова, чему свидетельство — события незабываемого 1956 года. Речь идет о стране, где по сей день бытует традиционная шутка: два-три шепчущихся мадьяра — вот тебе особая партия.

Не мне учить каноников венгерской католической Церкви. Возможно даже, я стучусь в открытые двери. И все же я не могу отказать себе в желании дополнить рассуждения Ласло Каща.

Вехи, которые могут обозначить судьбы нации и которые могут быть для венгерской Церкви знаменательными, должны быть поставлены на почву двух основополагающих постулатов Ватиканского Собора: 1) необходимость ничем не ограниченной свободы духовной опции людей; 2) потребность плюралистической структуры социальной жизни.

КОВАРИ, Аттила — родился в 1929 г. в городе Клуже, Трансильвания. Учился в венгерской гимназии унитариев. В 1954 г. окончил историко-филологический факультет Уральского государственного университета в гор. Свердловске. Более 20 лет преподавал русскую литературу в Бухарестском университете. Доктор филологических наук, автор статей о Бунине, русском символизме и др., монографии о творчестве И. Эренбурга. С 1976 г. живет в Израиле, занимается исследованиями в области социополитики, печатается в журнале «Crossroads», выходящем в Иерусалиме.

Запад – Восток

Егошуа А. Гильбоа

СМЫСЛ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Я — оптимист, и я же — пессимист. Я чувствую, как маятник моих размышлений качается то в одну, то в другую сторону. Обнадеживающие чувства и уныние перемешаны друг с другом. Итак, позвольте мне поделиться с вами моей раздвоенной душой.

Прежде всего, имеется достаточная почва для уверенности. Свобода во всех ее проявлениях может похвастаться впечатляющими успехами. Одного взгляда на послевоенный мир могло бы быть достаточно, чтобы приобщить нас. Достаточно напомнить об установлении четырех свобод, провозглашенных президентом Рузвельтом в 1941 году (включенных также в Атлантическую хартию): свободы слова, свободы религии, свободы от нужды, свободы от страха. Направленные против течений своего времени, эти свободы звучали тогда как фантастические мечтания. Разумеется, они еще не воплощены полностью и повсеместно в повседневную реальность. Тем не менее, их широкое признание является фактом жизни современного мира. А этот мир весьма еще далек от практического расового равенства или же от полной религиозной свободы. Но, по крайней мере, расистские идеологии и религиозная дискриминация не имеют уже на земном шаре «доброго имени».

Послеколониальный мир может служить еще одним источником воодушевления. Почти целиком отвергнутые ранее континенты обеспечили сейчас себе

законное право в международном сообществе. Возник Израиль, еврейское государство, о котором давно мечтали. В конце войны лишь Либерия и Южная Африка были независимыми государствами на африканском континенте, а Эфиопия только обретала тогда вновь свою независимость (после освобождения от итальянского господства). Декларация ООН была подписана в 1945 году 50 нациями. Ныне число членов ООН превысило 150. В последние десять лет распались последние бастионы действительного колониализма — и в то же время старая диктатура, Португалия, открыла новую, демократическую страницу своей истории. В соседней Испании сорокалетняя тирания окончилась со смертью Франко.

Не менее многообещающи социальные успехи. Не имея ни малейшего намерения хвалить или же ругать капиталистическую систему, все же мы не можем отрицать, что современный капитализм весьма далек от крайностей: «потони или выплыви». И не закрывая глаза на несправедливости, можно указать также и на более высокую социальную подвижность, имеющуюся в наше время.

Торжествующий оптимист во мне все время подвергается искушению сказать и несколько слов о правах женщины. Ныне кажется непостижимым, как могло случиться, что во Франции — отечестве Свободы, Равенства и Братства — женщина приобрела право голосования лишь в 1945 году, во время первых послевоенных выборов. Таково, однако, было положение во многих других странах — как на Западе, так и на Востоке. Вы должны представить себе эту картину: всей женской части общества был закрыт доступ к избирательным урнам, не говоря уже о равном образовании, о праве на работу и других основных правах, — дабы оценить современную ситуацию в этой области. Достопримечательно, что сегодня даже в Иранской Исламской Республике побаиваются отменить

избирательное право для женщин и их другие права или же, по крайней мере, проявляют в этом вопросе осторожность.

Мои наблюдения вынужденно схематичны. Но позвольте мне лишь добавить к оптимистической части обзора два пункта, вернее два имени, не заходя, впрочем, слишком далеко — ибо они будут использованы лишь как символические вехи. Одно из имен — д-р Мартин Лютер Кинг. Разумеется, трудно забыть убийство этого лидера движения за гражданские права и многие другие мучительные переживания этой борьбы. Но чтобы представить расстояние, пройденное нами, было бы достаточно отметить, что день рождения д-ра Мартина Лютера Кинга — 15 января — уже отмечается как праздник в ряде штатов, и уже высказана идея провозгласить его национальным праздником. Другое имя — с прямо противоположной стороны — сенатор Джозеф Маккарти, именем которого названо целое течение — маккартизм. Оба: и человек, и течение — упоминаются сейчас лишь (или же главным образом) как постыдное воспоминание.

Итак, наше поколение, возможно, с точки зрения успехов свободы достойно величайшей гордости. Однако во мне невозможно заглушить пессимиста.

Оглянитесь вокруг: сколько задач оказалось невыполненными, сколько мрачных явлений предстает перед нашими глазами! Гитлер разбит, нацизм потерпел поражение. Однако сколько неонацистов всевозможных мастей поднимают свои знамена, выкрикивают свои знакомые лозунги, демонстрируют свои свастики и даже пытаются маршировать в районах, тесно населенных людьми, спасшимися от катастрофы европейского еврейства. Расизм определенно отступает. Но ядоносный Ку-Клукс-Клан не уничтожен. Африка сбросила колониальное иго. Но сотни тысяч погибли там уже в независимых государствах. Сообщения о

массовых убийствах в разных частях свободной Черной Африки постоянно приходят к нам. За восемь лет правления Иди Амин — освободитель или же «покоритель Британской империи», как он прозвал себя, — погрузил Уганду в кошмарную кровавую баню. Кастовая система в Индии была уничтожена законом немедленно после того, как эта страна стала суверенной республикой в 1949 году. Но, посещая Индию в последние десять лет, я мог своими глазами видеть, что означает «человеческое достоинство», когда сотни тысяч бездомных лежат на улицах и дорогах. Могу сознаться, что я переживал там тот же душевный надлом (выражаясь чисто человечески), который я испытывал, посещая Южную Африку, из-за системы апартеида, несмотря на все политические и идеологические различия между этими двумя странами.

Так называемый Железный Занавес пострадал от существенных трещин после смерти Сталина (хотелось бы лучше сказать, что он приобрел их). К тому же, террор ослаб. Сеть концентрационных лагерей, этот печально знаменитый ГУЛаг, существенно сократилась. Но ГУЛаг не есть лишь явление прошлого, и основные права человека в Советском Союзе по-прежнему даны на откуп милости его правителей. Дух Сталина еще способен восстать из могилы и пройтись по русской земле.

Ко всему этому и даже сверх того, для нас невозможно быть уверенными в долговечности побед свободы. Поколение, бывшее свидетелем ГУЛага и Освенцима, по необходимости далеко от оптимизма века Разума и не намерено возноситься на обнадеживающих крыльях Возрождения. Напротив, мы хорошо отдаем себе и должны отдавать себе отчет в тех иррациональных силах, которые действуют в мире, а также в потенциальной непредсказуемости человеческой природы. В конце концов, Освенцим — творение одной из самых цивилизованных наций в сердце Европы.

Более того, говоря словами Джорджа Стейнера: «Крик убитого раздавался в пределах слышимости университетов, садизм вышел на улицу из театров и музеев... Теперь мы знаем, что человек способен читать по вечерам Гёте и Рильке, что он может играть Баха и Шуберта, а по утрам идти на свою повседневную работу в Освенцим... Мы знаем, что некоторые из тех, кто проектировал Освенцим и управлял им, были научены читать Шекспира и Гёте и продолжали их читать».

Если Освенцим вознесся «из сердца европейской цивилизации», ГУЛаг вырос из системы, исторически связанной с движением, поднявшим знамена социальной справедливости и освобождения угнетенных. К несчастью, история знает много примеров борцов против угнетения, ставших после победы и обретения власти самыми худшими тиранами. Не раз видели мы людей, освобожденных от одного господства, чтобы вскоре стать жертвами еще более жестокого правительства.

Здесь я должен вставить свои личные воспоминания. За свои семь лет советских тюрем и лагерей я встречал среди прочих зэков тысячи бывших коммунистов. Большая их часть прежде провела многие годы в тюрьмах Польши, Румынии, Литвы, будучи готова отдать свою жизнь в борьбе против ненавистных буржуазных режимов за коммунистический «мир завтра». Я не могу забыть их рассказов о тюремной жизни там и здесь. И хотя они находились за такими же решетками, за такими же железными дверьми и тяжелыми замками, мои спутники по заключению признавались, что по сравнению с советской войной против них как против «врагов народа» капиталистические преследования и наказания коммунистов чаще всего выглядят как нечто весьма и весьма мягкое. Со своей стороны, я готов предложить вам прочесть историю революционеров, заключенных в царской России, включая историю заключения и ссылки Ленина, и вы убедитесь, что все это было чем-то вроде дома отдыха или же пикника по сравнению с советским ГУЛАГом.

Конечно, превращение освободителей в угнетателей обычно «продается» как временные неизбежные шаги для защиты революции или же во имя великого будущего: «необходимое зло» на пути к новому обществу и к грядущему миру. Шекспир, уже комментируя это, сказал: «Дьявол для своих целей может цитировать Писание». Но тем временем преступления во имя мнимых высших целей — пристают к природе человека и общества, а временные строгие меры превращаются в постоянные и в явно бесконечный деспотизм, как это и произошло с так называемой «переходной» диктатурой пролетариата в Советском Союзе.

Поэтому, в соответствии с историческим опытом, защитники свободы во всем мире должны остерегаться опасностей, воплощаемых личностями и движениями, которые никогда не ошибаются, которые говорят во имя высших целей, которые предлагают общее спасение и счастье. Помимо этого, что же собственно произойдет с образом грядущего мира, *олам хаба**, если человек и общество могут быть уже полностью совершенны в этом мире?

В любом случае хотелось бы распознавать угрозы свободы, скрывающиеся в категорических псевдомессианских концепциях. Один из персонажей Грэма Грина справедливо заметил: «Величайшие святые были людьми с более чем средними способностями творить зло, а худшие злодеи зачастую едва не удостаивались святости». Итак, мы должны довольствоваться не вполне совершенным миром и быть чем-то меньшим, чем ангелами.

Я должен далее признаться, что все мое существо трепещет в ужасе от ангелов и богов, обитающих на земле, даже если они приземлились здесь на плечи приветствующих их возбужденных толп. Вы могли бы

* На иврите — это мир после прихода Мессии. — Прим. пер.

сказать, что свободе угрожает божественная истина, когда та превращается в политическую силу. Иранская революция, происходящая на наших глазах, разумеется, есть именно такой случай. Она — живой пример замены одного авторитарного правления другим, с подобными, если только не худшими, чертами и методами жестокой власти.

В самом деле, если развитие событий в Иране будет продолжаться тем же способом и в том же темпе, как это было в последнее время, аятолла Хомейни скоро сможет утверждать, что у него уже нет врагов: ибо он всех их перебил. Это, разумеется, такой вид революционного закона и справедливости, который заставляет вспомнить слова Дж. Б. Шоу: «Повешение состоялось — все, что нам осталось, — это суд». И суды в самом деле совершаются: суды фактически закрытые, часть из них происходит по ночам перед лицом свежеиспеченных, если только не самозванных, судей. Аятолла Хомейни сам даже задавался вопросом, а нужна ли и такая процедура: не является ли она пустой тратой времени и драгоценной революционной энергии? В таком узаконенном терроре нет места дать обвиняемому возможность защищаться, достаточно лишь, чтобы судьи имели горячую поддержку палачей с ружьями. Кто знает, что собственно припасено на ближайшие годы для иранского народа? История слишком часто видела случаи сопротивления диктатур всякому ослаблению их хватки. Муссолини однажды заметил: «Революция — это идея, владеющая штыками». В иранской революции идея, разумеется, есть, но она быстро улетучивается в тени штыков и виселиц. Правда, нет уже больше инструментов самодержавной монархии и ее тайной полиции — Савака. Сейчас есть лишь освобожденные, республиканские штыки; благочестивые, святые виселицы...

При разговоре о свободе необходимо отметить и странный подход, согласно которому все, что обнаруживает антизападную или антиамериканскую, а иногда и антиизраильскую направленность, почти автоматически возводится в «статус» прогрессивного события. К сожалению, критерий этого сорта используется отнюдь не единичными западными обозревателями и исследователями. В их собственных странах малейшее нарушение прав человека и его достоинства может вызвать их справедливые протесты, но казни, производимые так называемыми прогрессивными правительствами, в их глазах совершенно иное дело. Итак, пусть в десятках стран цензура, все виды зверств, масовые аресты и политические убийства царят как образ жизни, но стоит лишь этим странам обрести вывеску левых, радикальных, революционных, прогрессивных — и что же выходит: их тоталитарный характер и все их жестокости следует «понять» и извинить?

Аналогичный избирательный подход заметен и в отношении к империализму и антиимпериализму. Всё, оказывается, зависит от того, кто предъявляет то или иное требование или совершает тот или иной шаг. Западная страна обычно вмешивается в дела других, поджигает войну, стремится к неоколониальному господству и к империалистическим авантюрам. Но Советский Союз и его приспешники приходят в другие страны лишь как бескорыстные друзья, с миролюбивой миссией или же протягивают руку братской помощи национально-освободительным движениям.

Те, кто руководятся таким избирательным, пристрастным подходом, напоминают тип исследователя, который просит: «Пожалуйста, не смущайте меня фактами. Я уже все продумал». В нашем случае такое решение является продуктом двойной мерки, явно демонстрирующим утрату свободы суждения или, лучше сказать, отказ от нее.

Более того, в нашем мире широко распространено орвелловское «двоемыслие». Такое «двоемыслие» (из «1984») заметно в самом употреблении слов и терминов. Бедные слова, какими можно манипулировать, злоупотреблять, фальсифицировать! Ненасытная жажда власти представляется нередко как спасение нации или же класса. Кое-какие диктаторские системы объясняли себя частью «свободного мира» и рассматривали себя как таковую. В социалистических странах царит глубокая пропасть между рабочими массами и «новым классом», но зато они присвоили себе имя «бесклассовых обществ». Крайний страх прославляется в песнях как беспримерное «вольное дыхание». Полное господство гигантского соседа над малыми странами называется «нерушимым братством». Военная агрессия — дружеская рука. Полнейшая цензура — высшая форма свободного выражения. Государства с однопартийными системами, управляемые силой с помощью навязанных правительств, объявляются «народными демократиями»; лагеря принудительного труда — исправительными, образовательными учреждениями; выборы с единственным списком кандидатов, одобряемым обычно 99,9% избирателей, — свободными выборами.

Кажется, что наиболее популярным и лживым видом «двоемыслия» является различие между «левым» и «правым». Для этого я вооружусь оценкой польского философа Лешека Колаковского. Указывая на настойчивый характер «старых абсурдных клише» левого-правого, Колаковский замечает:

«Многие государства и политические движения почти автоматически обретают имя левых (или марксистских), если только получают советское оружие, другие же объявляются правыми, как только они хотят сбросить иностранное иго, если это иго оказывается советским».

Колаковский утверждает далее, что если быть левым значит быть на стороне охранников ГУЛага, или же оккупантов Чехословакии, или же полицейских, которые зверски избивали польских рабочих, или же камбоджийских «освободителей», которые после массового убийства всех заподозренных в грамотности превратили свою страну в концлагерь, или же тех немецких террористов, которые в похищенном самолете выделили для убийства всех пассажиров с еврейскими именами, — если таков тест для определения левизны, ответ может быть только один:

«К чёрту! Нет! Я не на их стороне, и пусть мне откажут в звании левого, применяя этот негласный идеологический критерий, оправдывая насилие, угнетение, пытки, эксплуатацию и интервенцию только потому, что вешатели и эксплуататоры получают свое оружие из антиамериканского источника».

Теснее связывая эти мысли с предметом нашего обсуждения, мы могли бы сказать, что тревога о свободе требует, среди прочего, полного освобождения наших суждений от «двоемыслия» и от всех других двойных мерок. В этом смысле следует также освободить из искажающего плена различные слова и термины. И мы должны знать — снова цитирую Колаковского, — что «не существует реакционных пыток и прогрессивных пыток, левых концлагерей и правых концлагерей, цензуры ради угнетения и цензуры ради освобождения».

Тогда-то и станет ясно, что веревка — не узор кружева, а виселица — не цветочная клумба. Другими словами, ни одна тирания, самая что ни на есть радикальная и революционная, не является благодетельной и прогрессивной. Рабство остается рабством, нетерпимым рабством во всех его возможных ароматах и оттенках.

Я хочу закончить словами, которые могут показаться тривиальными. Свобода — или демократия —

будет всегда и всюду встречать опасности и угрозы. Но свобода так драгоценна, что было бы преступно оставить ее без присмотра, без защиты. Повторим слова Томаса Джейферсона — слова, приобретающие вес приговора:

«Вечная бдительность — цена свободы».

ГИЛЬБОА Еошуа — известный израильский журналист, один из ведущих сотрудников газеты «Маарив» и редактор ежегодника «Швут». Был арестован на территории бывшей Польши в 1940 году за сионистскую деятельность и провел семь лет в советских лагерях и тюрьмах.

Бюро информации и жалоб немецкого Общества прав человека в Мадриде

В связи с 5-й годовщиной подписания в Хельсинки Заключительного Акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и по случаю проведения в Мадриде очередной конференции по проверке выполнения этого Акта немецкое Общество прав человека (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) передало правительствам стран, подписавшим этот Акт, 4 предложения с просьбой включить их в повестку дня Мадридской конференции:

1. Вопрос о правах человека нельзя вытеснить другими, хотя и весьма важными темами, например, темой разоружения и безопасности, — как этого требуют некоторые правительства.
2. Проверка того, каким образом в странах, подписавших Хельсинкий Акт, соблюдаются положения «третьей корзины», должна стать предметом открытого обсуждения и значиться в повестке дня конференции.
3. Мадридская конференция должна провозгласить право каждого отдельного гражданина любой страны, подписавшей Заключительный Акт в Мадриде, следить за выполнением положений этого Акта, собирать об этом информацию и передавать ее другим.
4. Заседания конференции должны хотя бы частично проводиться на уровне министров иностранных дел стран-участниц.

В своем послании странам-участницам Хельсинского совещания немецкое Общество прав человека (ГФМ) подчеркивает тот факт, что конференция в Мадриде должна использовать еще один шанс, чтобы выдвинуть тезис о неделимости провозглашенных деклараций о правах человека и их реального претворения в жизнь. Если же по этому вопросу разойдутся мнения, то приостановление конференции принесет меньше убытка, нежели продолжение распространения ложного впечатления о согласии в вопросе о правах человека.

Два года назад в Швейцарии была основана Европейская Группа-Хельсинки. Она подготовила обширную документацию о различных аспектах состояния прав человека. ГФМ активно сотрудничает с Европейской Группой-Хельсинки над документацией о ГДР и о положении немцев в ССР.

К началу подготовительной конференции Европейская Группа-Хельсинки пошлет делегацию из различных известных лиц, представляющих страны-участницы Мадридской конференции. Проф. д-р Дитер Блюменвитц, специалист по международному праву, согласился представлять там Федеративную Республику Германию.

ГФМ совместно с американской, английской, французской и швейцарской организациями в Мадриде проведет там ряд мероприятий. Запланировано также проведение АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ с участием в ней правозащитников из различных стран.

С сентября мы открываем в Мадриде ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ПРИЕМ ЖАЛОБ. Любой гражданин любого государства-участника совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе может обращаться со своими жалобами или предложениями. Эти апелляции будут переведены на языки конференции и переданы национальным делегациям. Наряду с этим, представители ГФМ будут информировать делегации о всех поступивших жалобах и предложениях и представлять их в распоряжение конференции.

Мы просим прессу и общественность обращаться к нам по адресу:

*Informations- und Beschwerdenstelle
der Gesellschaft für Menschenrechte e. V.
(KSZE Madrid) · Hotel R. Serrano · Marques Villamejor 8
Madrid, Spanien
Tel.: (91) 225 75 64*

Факты и свидетельства

Лариса Богораз

МАМОЧКИ И МАЛОЛЕТКИ

Большинство заключенных-женщин осуждено за разного рода хозяйствственные преступления: за спекуляцию, растраты и т. п. У них на воле остались семьи, дети; все это грозит разрушиться, пока женщины будут отбывать срок. Многие из них говорят: «Я не виновата, меня неправильно осудили». Но пусть это неправда, пусть суд был правый — зачем таких женщин сажать в лагерь? У нее вон три малолетних сына на воле, один грудной при ней, в тюрьме (много ли она наработает в лагере для «мамочек»?). Муж, дом, хозяйство. А сроку восемь лет за растрату (не то за хищение). За эти восемь лет муж сопьется, хозяйство развалится, дети без присмотра вырастут потенциальными преступниками. Ну, назначили бы ей выплатить растроченное, ну, запретили бы занимать соответствующие должности... Одну такую заключенную везли с нашим этапом от Свердловска до Новосибирска. Ее этапировали с грудным ребенком в третий раз: сначала из тюрьмы в лагерь, потом возили из лагеря на суд свидетелем, а с нами она снова возвращалась в лагерь для «мамочек». В Свердловске родные хотели взять ребенка (ему уже девять месяцев), но им не разрешили, потому что ребенок числится за лагерем; пусть туда едут и заберут. Эта женщина была заведующей и продавцом магазина, рассказанная ею исто-

Отрывок из тюремно-этапных воспоминаний. Заглавие дано редакцией.

рия совершенно подобна той, которую описал Распутин в повести «Деньги для Марии».

И вот она с ребенком едет за решеткой, ее охраняет конвой, ее везут в воронке. Правда, она в несколько лучших условиях, чем другие заключенные. Ее помещают в вагонзаке в отдельную камеру; на пересылке тоже поместят не в общую, а в больничную камеру. На дорогу выдается бутылочка молока; ребенок не ел в дороге, и в Новосибирске она отдала это молоко нам — не молоко, а забеленная водичка. По закону ей также полагается удвоенная, т. е. двухчасовая, прогулка, но какие там прогулки в этапе! Мальчик выглядел не истощенным, только таким же бледным, землистого цвета, как и все мы, взрослые.

Другая «мамка» была в нашей камере уже без ребенка: приехала в лагерь ее сестра и забрала годовалую девочку к себе. Эта «мамка» — татарка из Москвы — рассказывала мне, как она рожала в тюрьме. Роды начались у нее на другой день после суда. А в Бутырской тюрьме родильного отделения, конечно, нет; ее погрузили в воронок вместе с тюремной сестрой и повезли в цивильный роддом. Пока отпирали тюремные ворота, она и родила тут же, в воронке. «Сестра говорит шоферу, чтобы не выезжал, а я кричу: вези, вези в роддом! Шофер хороший попался — повез». — Заключенную после родов сразу со стола везут в тюрьму, в больничку. А пока она в родильном отделении, за дверью дежурит конвой. Эту же привезли в роддом уже с ребенком. Врач ее берет на стол, а сестра требует отправить обратно. «Врач тоже хороший человек попался, не отдал. У нас, говорит, здесь нет заключенных, у нас здесь матери». И хорошо, что оставили: через несколько часов у нее началось кровотечение. Сутки она пролежала в нормальных

условиях, и сутки в коридоре стерег ее конвой. Ну, а потом все же отвезли в Бутырки*.

Эта женщина получила пять лет лагерей строгого режима за спекуляцию коврами. Но для «мамок» нет строгого режима, и два года, пока ребенок может находиться при ней (после двух лет ребенка отправляют в детдом), она могла быть в более легких условиях; она же предпочла отдать девочку сестре. «Нет уж, — говорила она, — лучше мне в строгий лагерь, чем ребенку здесь быть. И сама измучаешься, глядя на него, и ребенка загубишь».

Видела я во время этапа и других детей — девочек-подростков, попавших в тюрьму за собственные преступления. Это самое тягостное из всех моих тюремных впечатлений.

В Свердловске в нашей камере было три девочки, которых по достижении восемнадцати лет переводили из детской колонии в лагерь. Вообще-то восемнадцать — уже не детский возраст; но эти трое выглядели совсем детьми: и роста небольшого, и, видимо, в общем физическом развитии отстали, и поведение инфантильное, представления о жизни отвлеченные, схематичные. Еще бы, ведь они по три-четыре года уже провели в заключении. Две из них были угрюмые, подавленные, а третья — Лида — держалась свободнее, оживленнее. Это была очень миловидная девочка с красивыми волосами, одетая, как и ее подруги, в казенное лагерное платьице, но как-то так ушитое, подогнанное, что оно неказалось безнадежно убогим. На ногах у всех троих были тяжеленные грубые лагерные ботинки. Лида повадилась каждое утро приходить ко мне «поговорить». Она болтала, пересказывала

* Возможно, ошибка памяти автора: женщин после седьмого месяца беременности и «мамочек» держат не в Бутырках, а на Матросской Тишине, «на Матроске» (что ничем не лучше). — Прим. ред.

мне прочитанные романы (между прочим, прочла она в колонии довольно много книг), сплетничала про подругу: «Вы с ней, тетя Лариса, не разговаривайте, она вредная. Она в СВП была, на меня 40 браней записала», — это значит, что девочка была лагерной активисткой, доносчицей, записывала, кто сколько раз выругается матом. Лида, со своим ангельским лицом, материлась через каждое слово. Срок она получила за ограбление квартиры. Она была членом банды с 12 лет.

— Лида, у тебя через полгода срок кончается, домой вернешься. Ты уж постараись больше не попадать — ведь в лагере мало хорошего, да?

— Чего уж хорошего! Я и сама не хочу. Но когда вернусь — нет, я за себя не ручаюсь, не ручаюсь.

Вторая девочка, Лидина супротивница, дожидалась, пока Лида уйдет, и тоже подходила. Она, видно, твердо взяла в голову, что надо бросить плохие дела и учиться. В колонии она кончила десятилетку — «а теперь в лагере в институт поступлю».

— Милая, какой в лагере институт! Ты уж панируй на потом, когда освободишься.

— Воспитательница сказала, что можно в лагере. Я для того и в СВП пошла...

Третьей девочке восемнадцати еще не было. Она сама упросила, добилась, чтобы ее отправили во взрослую зону вместе с Лидой: у них была любовь, и она не хотела расставаться со своей возлюбленной. Временами они и здесь, в общей пересыльной камере, предавались лесбийской любви. Тогда шофер Валя останавливалась против их нар: «Гляди-ка, чего делают! Ну, ты, кобёл, прекрати!». Эта девочка только теперь узнала, что их с Лидой отправят в разные лагеря; а тогда зачем она вырвалась из детской колонии? И она писала заявления, чтобы ее вернули обратно как малолетку; просила, чтобы пришел «воспитатель». Какой «воспитатель» в пересыльной тюрьме?

Лиду взяли на этап вместе со мной. Нас вывели в коридор, закрыли за нами дверь-решетку. И подруга Лиды стала биться об эту решетку, как птичка. До первого этажа нас провожал ее крик: «Лида! Лида! Лида!».

А в Новосибирске я встретилась с девочками, которых отправляли в детскую колонию. Наш этап втолкнули в камеру и закрыли за нами дверь, а мы так и остались стоять у порога. Вначале трудно было что-нибудь разглядеть. Камера тонула в сизом дыму, в промозглом холодном душном тумане, через который еле пробивался красноватый свет лампочки. Хотя был полдень, но от окна тоже не исходило никакого света: одинарное зарешеченное окно наглухо заросло инеем, к тому же часть рамы была выбита и заткнута подушкой. Ступить вперед было боязно: под ногами ощущалась липкая мокрая грязь. Слева от двери находился унитаз, из него-то, видимо, и текло. А справа, вдоль стены от двери до окна тянулись, как обычно, двухъярусные нары. На нарах, а также и под нарами смутно белели обращенные к нам лица — обитатели камеры рассматривали новеньких.

— Тетя, лезьте к нам, мы подвинемся, — окликнули меня с верхних нар.

Я полезла наверх; таким же образом была выбрана девочка Люба из нашего этапа, а остальным места не нашлось, и они продолжали стоять у двери, пока надзиратель не увел их в другую камеру.

Когда мои глаза привыкли к полутьме, я увидела, что не только мои ближайшие соседки, а все заключенные в камере, и на верхних нарах, и на нижних, и под ними на полу — девочки на вид от 13-ти до 17-ти лет. Их было здесь человек тридцать. Девочки, которые подвинулись, чтобы дать мне место, познакомились со мной. Одну звали Нина, другую Роза. Нина была угрюмая некрасивая девочка немного дегенеративного типа: с тяжелой нижней челюстью, низким

лбом, с большой головой на короткой шее. Расспрашивая ее, я узнала, что она из большой семьи, родители — рабочие, она из детей старшая. Она пошла работать на завод с 14-ти лет (оказалось, что ей 15; а по внешности и по развитию больше 13-ти не дашь). Познакомилась с плохой компанией, участвовала в уличных ограблениях. Нина очень переживала свое падение, никого не винила, кроме себя.

Розу расспрашивать не пришлось: она взяла инициативу в свои руки и сама задавала мне вопросы. Впрочем, ее интересовала одна тема — замужем ли я, есть ли у меня дети. Ах, есть сын! Как его зовут? Дайте адресочек для переписки. Она ввела меня в круг событий в камере: вчера здесь был большой бой (причина и повод остались неизвестны), побежденных скинули с нар — теперь вон они, под нарами; победители завоевали себе выгодное жизненное пространство — верхние нары; а нижние занимает болото, инертная масса.

— Тетя, у вас есть курить?

Я, поборов склероз (ведь сейчас расхватывают), достала пачку сигарет: «Последняя (а на самом деле это была предпоследняя пачка; последнюю я прятала подальше, чтобы курить в дороге, где охотниц до чужих сигарет все же меньше). Бери». Несколько рук потянулись к сигаретам; Роза вежливо вытащила одну. «Вообще-то, тетя, у нас махорка есть, целый мешок. Тут одна тетка вредная была, жадная, мы у нее ночью мешок махорки украли. Ух, кричала на нас утром! А вы, видно, что не жадная. Вот, возьмите махорку, больше берите на дорогу». Так она меня посрамила, эта Роза! Взяла я у нее ворованную махорку, которую дотянула до конца этапа.

Между прочей болтовней Роза и о себе что-то сказала, но так сбивчиво, мимоходом, как о чем-то совершенно несущественном. Вот она я, здесь, сейчас, а что было раньше — зачем? «Все, что было, позабы-

ла, все, что будет, позабудет». Было в ней действительно что-то цыганистое: черные кудрявые волосы, блестящие живые глаза. Родителей у нее нет, жила у дяди с тетей, где-то на востоке; из дома сбежала. Может, цыганка и есть? Но ухватки совершенно не цыганские. Розе лет не то 14, не то 15. А за что посадили — не знаю.

Третья девочка в углу, около самого окна, — тех же лет, кажется, Дина, не помню точно. В ней нет ни легкомыслия, как у Розы, ни угрюмости, как у Нины. Она охотно вступила в разговор со мной, при этом держалась так независимо, спокойно, достойно, что казалась взрослым человеком. Она много книг читала — классику; читала по-настоящему, не поверхностно. Совершенно не похожа на преступницу. Ограбление квартиры. Я была поражена: «Как это может быть? Что тебя толкнуло?.. Ты могла бы учиться...» — «Конечно, могла бы. А зачем?»

Надо сказать, что речь девочек-заключенных (кроме Дины) я привожу в цензурированном виде. Конечно, это был сплошной мат;казалось, что они других слов не знают вообще. «Махорку с...дили» — это просто термин, равноправный с «украли». Мат слышался со всех сторон, на всех уровнях: и под потолком, и посередине, и с пола доносились те же выражения. Они так естественно звучали в «невинных детских устах», что я почти перестала их замечать, переключилась на этот язык. Но когда в камере вспыхивали ссоры (а они неизбежно и внезапно возникают в любой уголовной камере — здесь, в «детской», чаще и яростнее, чем во взрослых) — когда вспыхивали ссоры, матерные слова использовались в своей основной функции, т. е. как брань. И нигде, никогда, даже в перебранке уголовников-мужчин с конвоем, я не слышала такой грязной, такой омерзительной ругани. Девочки в минуты откровенности рассказывали, видно, в камере всю свою подноготную — и вот эти зна-

ния шли в ход, бранные слова в конкретном контексте возрождались в своем первоначальном, так сказать, словарном значении, каждое выражение становилось картиной: кто, когда, где, кого и каким способом. Это было ужасно слышать.

Потом начались танцы. Девочки на верхних нарах — т. е. рядом со мной — танцевали что-то вроде твиста под самодеятельную музыку. Одна-две танцуют, их движения утрированы, нарочито обезображенены, в них проявляется все та же грязно-сексуальная подоплека. Остальные в соответствующем ритме выкрикивают песню, матерные слова в ней снова лишены эмоционального оттенка, остался лишь их прямой смысл.

Это была какая-то фантасмагория. Дымный, серый, плотный, промозглый воздух, в котором сочится красноватый тусклый электрический свет; окно, заткнутое серой подушкой, — впрочем, оно далеко от лампочки, и его почти не видно; протянутые над нарами веревочки, на которых висит — и не сохнет — какое-то бельишко; сопение и возня в темноте под нарами и на нижнем ярусе; и эта пляска под потолком, и выкрики, слова, которые не уходят, висят здесь же вместе с дымом...

Может быть, к камере снаружи подходил надзиратель, может быть, он призывал к приличествующей тюрьме тишине — ничего этого слышно не было, запертая дверь отделяла камеру от всего мира. День ли еще был или ночь, до или после отбоя — узнать невозможно. Вот когда раздатчик принесет хлеб — тогда, значит, утро.

Девочки не скоро угомонились — но все равно сном и не пахло. Шли обсуждения «за жизнь», девочки разбились на группки. Поблизости от меня шестнадцатилетняя девушка советовалась с другими, как ей быть. Она беременна, уже на пятом месяце. Ее отправляют в детскую колонию, это-то хорошо, лучше, чем взрослый лагерь. Но если узнают о беременности,

во-первых, в детскую колонию не пошлют, во-вторых, будут заставлять сделать аборт, «а я назло Петьке (или Федьке, или Ваське) рожу, пусть знает, падла», — и т. д., и т. п. Слушательницы советовали ей разное, то одно, то другое — противоположное, в зависимости от того, какую точку зрения принимала в данный момент сама рассказчица.

На дальнем конце нар моя попутчица тунеядка Люба з а л и в а л а насчет своей легкой жизни в Москве. У моей соседки Нины началась истерика. Сначала она тихо плакала, потом стала всхлипывать громко, с тяжелыми стонами. Некоторые девочки, слышавшие рыдания Нины, на секунду отрывались от своих разговоров и что-нибудь говорили ей: «Не расстраивайся заранее, еще успеешь!», «Ну, хватит! Сейчас все тут будем реветь — нам, что ли, лучше, чем тебе?», «Мамочку вспомнила?». Конечно, из-за этих реплик Нина рыдала еще сильнее. Впрочем, девочки реагировали на истерику не очень горячо; видно, для них такие сцены не были чем-то необычным.

Я протянула руку и стала гладить Нину по голове, успокаивая ее. Она постепенно затихла. Но тут Роза ткнулась мне в бок с правой стороны. Она ввинтила свою голову мне под правую руку, и мне ничего не оставалось, кроме как погладить и ее черные кудри. Она замерла. В ногах у нас присели еще две девочки и глядели на моих соседок с завистью. «Тетя Лариса, и меня погладьте», — попросила одна. Девочки ползли ко мне со всех сторон, как котята к кошке. Даже Дина не удержалась, ей тоже захотелось получить долю ласки.

Я не знаю, какова обстановка в детской колонии, куда попадают такие вот подростки. Судя по рассказам моих свердловских сокамерниц — Лиды и других двух, — во всяком случае формальная, казенная, лишенная всякого тепла. Достаточно вспомнить хотя бы тяжелые грубые ботинки, в которые все они были

обуты. Возможно, есть исключения в лучшую сторону, есть исключения в худшую. А пока они еще доберутся до колонии, насиживаются в таких вот тюремных, пересыльных камерах, как эта. Как там будут их кормить в колонии — тоже вопрос (свердловские «малолетки» выглядели не истощенными, но сильно отставшими в физическом развитии); а здесь — голодно, девочки съедают всю свою дневную хлебную пайку с утра, в обед вылизывают алюминиевые миски, просят добавки этих помоев, но кто ж им даст добавки!

А грязь! Как и прочих арестантов, девочек водят в баню раз в десять дней, мыла выдают крошечный кусочек (как я пожалела, что не взяла в этап ком мыла, подаренный мне лефортовской сокамерницей!). При менструации женщинам в тюрьме выдают — с большой неохотой, по указанию врача — две-три небольших тряпицы, и уж в следующий месяц не проси — получила, что положено. А на пересылке и вовсе ничего не дадут, к врачу не пробьешься. Помыться в пересыльной камере негде, даже лицо ополоснуть рядом со зловонным унитазом противно.

И никому до этих малолетних арестанток нет дела (как и до всех прочих заключенных на пересылке). Редко-редко на пороге камеры появляется надзиратель только для того, чтобы привычным ему способом — угрожающе и матерно, на понятном девочкам языке — призвать их к порядку и тишине. Девочки ловко отбивают подачу, и через минуту надзиратель, обложенный матом со всех сторон, поскорее запирает дверь снаружи.

В Новосибирске я жила с 1964-го по 65-й год. Академгородок с его институтами, университетом, клубом «Под интегралом», белками на улицах, советом молодых ученых, с проблемными лекциями и семинарами на темы этики и морали, с концертами филармонии и приемами зарубежных коллег — это чрезвычайно выигрышное для показухи место. СОАН орга-

низовало в Академгородке питомник юных научных дарований — Новосибирскую физматшколу, и ежегодно проводится мероприятие под девизом «Ищем таланты»: отбор способных школьников по всей Сибири и Средней Азии. С учениками физматшколы занимаются академики, нестандартные воспитатели стараются создать в общежитии атмосферу домашнего уюта... Нет, я вовсе не хочу сейчас опорочить это дело. Замечательно, что девочка из какой-нибудь Тынды, из рабочей семьи, получает в ФМШ в достатке и витамины, жиры, белки и углеводы, и пищу для развития интеллекта, и стимул к творчеству. Прекрасно.

Ну, а если бы эта девочка оказалась не столь одаренной? Или случайно не решила бы задачку на конкурсе? Если бы жизнь подсунула ей совсем другие задачи, с которыми она не справилась бы? Тогда для нее нашлось бы место в соседнем питомнике — в камере на Новосибирской пересылке. Вот бы там побеседовали с ней академики из СОАН!

ПО ПОВОДУ СУДА НАД ОТЦОМ ГЛЕБОМ ЯКУНИНЫМ

Бесстыдное советское правительство ещё раз вынуждено приоткрыть миру, как оно боится веры в Бога и глумится над правами верующих: расправляется с Комитетом защиты верующих всех религий в СССР — отцом Глебом Якуниным и его сподвижниками Львом Регельсоном и Виктором Капитанчуком. Христиане нашей страны чтут их мужественный и мученический подвиг.

Александр Солженицын

25-го августа, 1980 г.
Кавендиш, Вермонт

*Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Леониду Ильичу Брежневу
Кремль
Москва*

Уважаемый Господин Президент,

Нижеподписавшиеся, епископы и священники Шведской церкви, обращаются к Вам с просьбой принять меры для освобождения известных и уважаемых у нас священников Русской Православной Церкви Отца Глеба Якунина и Отца Василия Романюка, а также граждан, участвующих в церковной деятельности: Валерия Абрамкина, Сергея Ермолаева, Виктора Капитанчука, Александра Огородникова, Игоря Огурцова, Игоря Полякова, Владимира Пореша, Льва Регельсона, Татьяну Щипкову, Антанаса Терляцкаса, Татьяну Великанову, Владимира Бурцева и монахиню Валерию Макееву. Мы просим также разрешить Отцу Димитрию Дудко вернуться на свой пост священника прихода в Москве.

Мы все в наших приходах глубоко обеспокоены тем, что эти, исповедующие христианскую религию, люди лишены за это свободы, хотя Конституция Вашей страны гарантирует всем гражданам свободу совести. Лишение свободы людей за то, что они исповедуют свою религию, несовместимо с Вашим уважением к Декларации ООН о правах человека, а также к Хельсинкскому Договору, подписанным и Вашей страной.

Мы следим за судьбой названных выше собратьев во Христе и молимся за них во время наших богослужений.

Мы обращаемся к Вам, Господин Президент, с настойчивой просьбой содействовать скорейшему освобождению этих людей и воссоединению их с их семьями. Мы просим также дать им возможность возобновить свою деятельность в Русской Православной Церкви.

*Бертиль Гертнер, Епископ епархии г. Гетеборг
Мартин Леннебу, Епископ епархии г. Линчепинг
а также 130 священников Шведской церкви.*

Письменное изложение нашей просьбы будет Вам также прислано по почте.

Kyrkoherde
E. F. Richard Cedergren · Eds Prästgård
S-60040 SEGMON, SWEDEN · Tel. 0555/31018

ИСТОКИ

Кирилл Хенкин

ЭМИГРАЦИЯ ИЛИ МИГРАЦИЯ*

«Вы не будете отрицать, что, отпуская евреев, Советы все же действуют против своих интересов на Ближнем Востоке. Ведь как-никак, а Израиль они укрепляют. В свое время были даже протесты со стороны арабов!»

Протестов давно не слышно. Как видим, с советской точки зрения, в Израиле все в порядке. Приехавших туда евреев, за редким исключением, не покинет овладевшее ими в России беспокойство и охота к перемене мест. Приехав, многие стремятся тут же уехать. Эмиграция превращается в *миграцию*. Бесконечно бегущая масса — это и есть эмиграция как явление, как страна без границ и территории, живущая по своим неповторимым законам. Причем можно твердо знать, что, покинув Россию (а затем и Израиль), эти люди повсюду станутся инородным телом, почти никогда не сольются с окружающей средой.

Во внешнеполитических, а следовательно, и шпионских операциях, проводимых СССР, русская эмиграция всегда занимала особое место.

Как противник, как жертва, как орудие и как союзник.

История советской разведки знает несколько громких дел, в которых эмиграция играла центральную роль. Причем, попадая в сети советского шпионажа,

Главы из новой книги, первый фрагмент которой напечатан в № 22 «Континента».

она становилась орудием не только и не столько добывания сведений, но — и это гораздо важней — средством психологического проникновения далеко за ее пределы. Не только эмиграция в большей своей части привлекалась на сторону большевиков, но через нее осуществлялось влияние на Запад: шла дезинформация, дезориентация, внушалось ложное представление о положении в стране, парализовалась воля к борьбе.

Так, через эмиграцию Москва направила в значительной мере мысль и деятельность западных центров сбора и анализа информации, центров принятия решений.

А по обратной связи это влияние на эмиграцию, эффективно дополняя внутренний зажим, сдерживало внутри страны развитие оппозиционной мысли и возможного сопротивления режиму. Фактическое отсутствие такого сопротивления было в известной мере обеспечено воздействием на эмиграцию.

Запомним, что для достижения этого результата всегда было очень важно установить связь и видимость взаимодействия между эмигрантскими политическими организациями и их единомышленниками внутри страны, создать минимую систему сообщающихся сосудов.

* * *

Оглянемся назад, вспомним: «Тресты», Савинкова, Шульгина.

Трест: «Объединение под одним управлением нескольких предприятий одной отрасли промышленности». Так сказано в словаре русского литературного языка. Слово иностранное, броское, торговое, вполне отвечающее духу эпохи нэпа, когда советская Россия училась, по приказу Ленина, торговать, а советская разведка успешно выходила на международную арену.

«Трест» — кодовое название, которым участники всей этой затеи обозначали несколько организаций и, в частности, МОЦР, то есть Монархическую организацию центра России.

На территории советской России эта организация объединяла монархистов, в основном бывших царских офицеров и высших чиновников. Ее члены проникли на ответственные посты в Генеральный Штаб Красной Армии, в министерства, на транспорт, во внешнеторговые организации.

Через надежных людей руководители МОЦРа установили связь с монархическим центром в эмиграции. К единомышленникам за границу регулярно поступали отчеты о внутреннем положении в России, вырабатывалась общая стратегия и тактика борьбы за восстановление монархии. Организация была мощна и влиятельна.

Все бы хорошо, да одна беда: организации на самом деле не было, вернее, она была, но состояла из агентов советской разведки и лишь на самую чуточку из обманутых простаков.

Именно в свете этой подробности, в свете того, что организация была фиктивной, бутафорской, и следует смотреть на те основные принципы, которые представители МОЦРа успешно внушали монархистам-эмигрантам, а через них — разведкам и правительствам Запада.

В России, уверяли они, происходит экономическая и политическая эволюция, строй уже не тот, коммунизм хиреет, растут монархические настроения, которые МОЦР использует для подготовки переворота. Он уже не за горами. Единственное, что может помешать его успешному осуществлению, — внешняя интервенция. Ибо сама идея внешнего вмешательства непопулярна в патриотически и монархически настроенной толще русского народа.

Отсюда — вывод: не только эмигрантские организации, но и те силы Запада, которые хотели бы видеть конец власти коммунистов в России, должны, прежде всего, воздержаться от любой активной работы на ее территории. Слишком энергичная пропаганда и тем более террор (особенно индивидуальный!) могут быть только вредны, могут сорвать планомерную работу по подготовке свержения советской власти, которую проводит МОЦР.

Итак — сидите тихо, следите, чтобы не было покушений, не вмешивайтесь, и Россия снова станет монархией.

Вспомним операцию по завлечению в Советский Союз и политическому и физическому уничтожению знаменитого вождя эсеров, террориста Бориса Савинкова.

Через известных ему и пользующихся его доверием людей Борису Викторовичу Савинкову неторопливо и методично внушалось, что на территории России существует и действует организация его единомышленников. Причем эмиссары этой организации, приезжавшие к Савинкову в Париж, говорили ему примерно следующее: в России происходит политическая и экономическая эволюция. Народ убедился в том, что его революционные чаяния обмануты, что большевики — узурпаторы, предатели революции. В народе идет брожение, и под напором демократических сил вот-вот произойдет взрыв. Всякая деятельность против советской власти, проводимая или направляемая извне, может, однако, лишь повредить, погубить все дело. Надо довериться политическим силам демократии внутри страны. Эти силы не стихийны. Существуют энергично действующие организации, располагающие своими людьми повсюду: в Генеральном Штабе Красной Армии, в ГПУ, в народных комиссариатах, на транспорте. Для того, чтобы объединиться и действовать с удесятеренной энергией,

этим организациям недостает лишь единства. А для единства нужен вождь, нужна политическая фигура, способная объединить и возглавить.

Возглавить! Уж что-что, а возглавить Борис Викторович Савинков был всегда готов. Он клюнул на приманку самозабвенно. А тут ему подбросили еще и такую косточку: его единомышленники в России провели, мол, целый ряд удачных экспроприаций и располагают огромными средствами. Но не знают, как распорядиться деньгами. Только одному человеку готовы русские демократы доверить свою партийную кассу — Борису Викторовичу Савинкову. Чтобы не было сомнений в том, что разговор этот серьезный, знаменитому террористу прислали в Париж на дорожные расходы двадцать тысяч франков.

И Савинков отправился нелегально в Россию. Возглавить и распорядиться кассой. Схвачен он был сразу после перехода границы. Арестован теми же людьми, что приезжали к нему в Париж уговаривать, а затем сопровождали в пути.

Но как бывает в пьесах — театр в театре, так был в этой операции обман в обмане, который и позволил выжать Савинкова, как лимон.

Когда провокаторы доставили Савинкова к высоким чекистским начальникам, те, отослав выполнявших свою миссию агентов, доверительно объяснили пленнику, что обман лишь вынужденное прикрытие. На самом деле руководители ЧК и впрямь являются его, Савинкова, единомышленниками в борьбе против предателей революции, всяких Троцких и Зиновьевых. Просто не было другого способа связаться с ним и доставить в Россию. А России он нужен!

— Без вас, Борис Викторович, мы не сумеем довести наше дело до победы. Иначе любое выступление против их власти узурпаторы-доктринеры выдадут за попытку реставрации монархии, и народ может им снова поверить. Ведь народ ненавидит монархию. (И

это говорили создатели МОЦР!) Кроме того, возможны реставрация и интервенция, — а это было бы гибелью всех и всего. К тому же монархисты повесят и вас и нас!

С вами же, Борис Викторович, мы совершим чудеса и спасем Россию. За вами пойдет народ. Для этого надо, прежде всего, две вещи: не дать этим мерзавцам из ЦК вас казнить, и обеспечить вам в дальнейшем достойное место в руководстве нашей страны. Ради этого вы должны на суде признать советскую власть.

Ради России Савинков был готов на все. И на занятие высокого поста, и даже на спасение собственной жизни.

На суде, как от него и требовали, Савинков признал советскую власть. Затем, опять-таки, как от него и требовали его московские «единомышленники», он написал своим друзьям за границей, что, приехав в Россию, убедился в том, что русский народ идет за большевиками, и он, Савинков, склоняется перед выбором народа. В своем выступлении на суде и в письмах за границу, в частности, к Бурцеву, он признавал свой политический крах.

Письма были переданы на Запад советскими дипломатами и опубликованы.

Теперь политическую капитуляцию Савинкова следовало эффектно завершить.

Савинков должен был делом доказать признание своего политического банкротства.

Вскоре после суда Борис Викторович Савинков покончил самоубийством, выбросившись с пятого этажа во двор внутренней тюрьмы на Лубянке.

Версию самоубийства приняли за границей почти все. Даже Владимир Львович Бурцев, недоверчивый и въедливый историк русского революционного движения, разоблачитель провокатора Евно Азефа, — и тот поверил. И сын Савинкова Лев, с которым я служил в

Испании в подчиненном Александру Орлову энкавэдешном батальоне, верил. Или говорил, что верит, чтобы не перечить чекистскому начальству.

Прощитирую, однако, из «Архипелага ГУЛаг» Солженицына:

«В 1937 году, умирая в Колымском лагере, бывший чекист Артур Прюбель рассказывал кому-то, что был в числе тех четырех, кто выбросил Савинкова из окна пятого этажа в лубянский двор».

Да разве могло быть иначе?

И, разумеется, было фальшивкой прощальное письмо Бориса Викторовича Савинкова.

* * *

Еще одно громкое дело тех лет. Дело Шульгина.

Василий Витальевич Шульгин был фигура незаурядная. Убежденный монархист, систематический и принципиальный антисемит, изложивший свою концепцию в труде «Что нам в них не нравится», он отличался от большинства своих единомышленников в эмиграции эрудицией и остротой пера.

А также личной порядочностью. Последнее немаловажно. То были годы, когда горькая судьба, процеживая бежавшую русскую массу через сито эмигрантских превратностей, отсеяла, за ненадобностью, некоторые понятия о щепетильности и чести.

В недавно опубликованных за границей воспоминаниях выехавшей из Советского Союза бывшей сотрудницы советской разведки Надежды Улановской находим такой эпизод. В русской эмигрантской газете «Руль», выходившей в 24-м году в Берлине, появилось объявление, что, мол, известный генерал Л. в отчаянном положении. Нечем платить за квартиру, выбираются на улицу. Просит бывших сослуживцев откликнуться, помочь.

Под видом бывшего белого офицера к генералу отправился муж Улановской и без особого труда его завербовал. Позже выяснилось, что генерал с самого начала знал, кто откликнулся на его призыв о помощи... Для того и давал объявление. С помощью советской разведки он потом трудился над созданием какого-то крестьянского союза.

Шульгин был иной породы. К нему и отмычку нужно было найти иную. Нашли.

В России у Шульгина пропал горячо любимый сын. Когда верные люди предложили ему нелегально пробраться в Россию на розыски сына, он не устоял.

С помощью МОЦР, то есть «Треста», Шульгин съездил в Россию. И вернулся. Верные люди не только перевели его через границу, туда и обратно, они передавали его с рук на руки, давали приют и средства к существованию. Опекавшая его организация доказала Шульгину свою вседесущность и силу.

И потому, когда Шульгин, набравшись впечатлений, решил, что в стране «вернулось живящее неравенство», что «новых властителей из жидов» скоро прогонят, что «коммунизм был эпизодом» и близок час освобождения России от власти большевиков, к нему в купе спального вагона, в котором он ехал из Москвы в Ленинград, подсел человек.

Незнакомец обратился к Шульгину по имени и отчеству, назвал его настоящее имя и заговорил как представитель МОЦР — той организации, которая его, Шульгина, опекала и возила по России. Объясняя положение гостю из эмиграции, он свёл к четким выводам и формулировкам выводы и чаяния самого Шульгина.

«Не думайте, — сказал неизвестный, — что политическая мысль в России умерла. Наоборот, она развилаась, шагнула вперед. Мы живы и мы организованы. И будущая форма правления в России будет монархической».

«Одно маленькое дополнение: никакого вмешательства извне — доверьтесь нам. И еще — не может быть простого возврата к старому. Как можно меньше ломки! А жидовское засилье скоро кончится. На смену прорвавшимся к власти жидам идут светлые русские головы».

Перейдя обратно границу, Шульгин сказал на прощанье человеку, который руководил переходом: «Когда я шел туда, у меня не было родины. Сейчас она у меня есть».

С этим чувством вновь обретенной родины Шульгин и вернулся в эмиграцию.

Через несколько лет Москва сочла выгодным разоблачить собственный обман, объявить, что с первого до последнего момента вся поездка Шульгина была делом советской контрразведки, что все говорившие с ним в России люди были либо агенты, либо оперативные работники ГПУ, и что, следовательно, все внущенные ему мысли были ему подсказаны советскими властями.

И тут произошло самое, пожалуй, замечательное. А именно: не произошло ничего!

Эмигрантские организации, провозглашавшие тот же самый принцип, что был подсказан Шульгину во время поездки — «царь и Советы», — продолжали действовать. А Шульгин не только не был поколеблен в своих выводах, но даже в них укрепился. Он окончил жизнь в Советском Союзе, который в конце концов принял. Возможно, потому, что на смену «жидам» к власти пришли «светлые русские головы».

Я уже говорил об аналогичной истории с моим сослуживцем в Испании, капитаном Беневоленским. Он тоже, узнав, что его нелегальную поездку в Россию организовала советская разведка, не был обескуражен, а стал на нее работать!



Если сравнить эти истории, обнаружим общие черты. Первая и главная — людям говорили то, что они хотели слышать.

Кто усомнится в искренности собеседника, говорящего, что вы умница и политический провидец? Что оставленный вами безгласый народ выбрал дорогой вашему сердцу путь, что для осуществления ваших чаяний всего только и нужно — чуток обождать.

И еще общая черта. Когда ясно было, что крючок застрял крепко, давались небольшие, но важные советы: поменьше ломки, сохраним Советы! Доверьтесь нам! И главное — только не надо террора!



Мечта любой политической полиции, любой разведки и контрразведки иметь на каждого гражданина полное досье.

Досье! Дело, папка, перфорированная карта или магнитная лента, куда занесены все сведения, все, случившееся с человеком со дня его рождения. А то и раньше. Ведь полезно знать и наследственность, и семейные традиции, и симпатии, и антипатии. Знать среду.

Мало того, что все мы воспитаны одной средой, одним строем, одним образом жизни, о каждом из нас известно: кто скрупулезно честен, а кто прохвост; кто стяжатель, а кто бессребреник; кто циник, а кто романтик и шляпа; кто расточителен, а кто скуп, кто лгун, а кто правдец.

Записаны наши симпатии и антипатии, наши привязанности, семейные тайны, гастрономические предпочтения и половые привычки. Диопtrия очков, размеры рубашек, обуви и прочие размеры.

Почти невозможно объяснить западному человеку, сколько раз за свою жизнь гражданин СССР подвергается проверке, сколько заполняет анкет. И всякий раз, что он такую анкету заполнял, на него делалась «установка», опрашивали соседей, друзей, родственников, лечащих врачей и любовниц.

Когда в США понадобился «психологический портрет» Эльсберга, похитителя «Бумаг Пентагона», то с помощью ЦРУ вломились в кабинет его психиатра, Фильдинга. Получился грандиозный скандал. КГБ не попадет в такое неловкое положение. К его услугам все психиатрические больницы, все психиатры и психологи страны. Нужно будет — обеспечат наилучший психологический портрет.

Людей, о которых КГБ знает все, что может подсказать воображение, выехало на Запад более двухсот тысяч.

* * *

Есть будто такой экспериментальный закон: «Животное хорошо известного происхождения, помещенное в четко определенные экспериментальные условия, делает то, что хочет».

Из этого делают вывод, что ни животных, ни людей запрограммировать нельзя. Почему?

Что значит «делать то, что хочет»?

Число возможных реакций на любую ситуацию ограничено, психологических человеческих типов совсем не много. Неужели так трудно предвидеть поведение людей, выросших в хорошо изученных условиях и о каждом из которых имеются исчерпывающие сведения? И если досье рядового эмигранта, возможно, и примитивно, то уж на человека мало-мальски заметного имеется, полагаю, подробная справка. И неужели, зная, к примеру, что такой-то алкоголик, а такой-то — сексуальный маньяк, нельзя, даже если оба стоят

на твердых литературных и политических позициях, направить при желании их судьбу по нужному руслу?

— Ага, — говорит западный читатель. — Обычная паранойя... Вам мерещатся агенты!

Агенты? — агент, даже простой осведомитель, стукач, пошел ныне не тот.

Это при Сталине оперуполномоченный мог вызвать, спросить грозно: «Вы советский человек?» И оцепенелая от страха жертва обязывалась исправно доносить на всех и подписываться «Шустрик».

От уезжающего никто не ждет, чтобы он похищал секретные документы или даже писал доносы. Он будет проводить определенные идеи, может просто портить чушь и марать бумагу, поддерживая в глазах Запада определенное представление о том, что творится в России, давая оценку возникающих там течений. Для этого не нужно быть агентом и брать на себя конкретные обязательства. Да таковые чаще всего не нужны. В том-то и сила исчерпывающего досье, что ничего не стоит высчитать заранее ваше поведение в хорошо известных устроителям бала условиях эмиграции.

Напомним, к слову, что выезжающие из СССР попадают ни на какой не на Запад, сиречь в мир, им чаще всего вовсе недоступный, а в *эмиграцию*, климат которой не только отлично известен, но чаще всего и поддается регулированию.

Но подчас некоторые неформальные обязательства могут все же быть взяты, известные обещания даны. Могут они быть и забыты.

Тогда милые московские собеседники, остроумные ценители отечественной словесности, сумеют, полагаю, о себе напомнить.

* * *

Те, кто объясняет нынешнюю эмиграцию мощью нажима западной общественности, пробуждением европейского национального сознания, заигрыванием Москвы с Западом и паническим страхом советских властей перед растущим в стране свободомыслием, выдвигают еще такой аргумент: не могли власти по доброй воле отпустить такую толпу своих граждан. Ведь те прямо на подошвах унесли из страны огромное количество информации.

Замечу, что при советской системе «допусков» степень и область конкретной осведомленности того или иного выезжающего из страны сравнительно легко определить.

Существуют, конечно, тайны, нигде не отмененные, не зафиксированные.

Я, например, никогда не был то, что называется «аттестован», агентурную работу не вел, к чтению агентурных дел и сводок официально допущен не был.

И нигде не отмечено, что из-за мальчишеского тщеславия Миша Маклярский водил меня под видом помощника к своим высокопоставленным агентам.

Ни в каких документах не отражено, что, когда я писал для того же Маклярского сценарий (потом вышел без моего имени фильм под названием «Подвиг разведчика»), он давал мне читать дела некоторых агентов.

Нигде не отмечено, что, когда к написанию того же сценария подключился старый агент Маклярского, Эммануил Борисович Большинцов, он, приняв меня за штатного работника «органов», делился со мной воспоминаниями о своем участии в вербовке одного американского концессионера.

Но и цена подобным сведениям ничтожна.



Не является ли, однако, сама человеческая масса в двести тысяч человек ценным объектом наблюдения и изучения, средством познания скрытых пружин советского общества?

Сомневаюсь. Гомо советикус — продукт шестидесяти лет селекции и дрессировки страхом, предательством и ложью, остается для западного наблюдателя мало понятным индивидом, чем-то вроде пришельца с другой планеты.

Так же, как непонятен и скрыт от наблюдения советский человек у себя дома, зашифрован и эмигрант, тем более, если он живет в окружении себе подобных. Ибо тогда воссоздается его привычный мир. Мир, в который со стороны не проникнешь.

С помощью технических средств можно, полагаю, зафиксировать количественные аспекты военного и экономического потенциала СССР. Агенты и перебежчики могут помочь кое-что уточнить. Но понять? Но прогнозировать?

И дело не в недостатке сведений. Если нужна будет справка о кривой стоимости трамвайных билетов в городе Новосибирске по пятилеткам, то найдется на Западе специалист, который такую справку даст.

Скрыто другое: психологический климат человеческих и служебных отношений, соотношение ценностей, ограничений и условностей, всего того, что составляет разницу между возможным и невероятным в данном обществе. Отсюда и трудность, если не невозможность (я все же думаю — невозможность), для Запада нащупать, например, технику принятия решений советским руководством, невозможность не отставать постоянно на один-два хода от внешнеполитических маневров СССР. Это включает весь комплекс: шпионаж, проникновение, экспансия.

Самое надежное прикрытие для Советов — слепота Запада. Слепота, прежде всего происходящая от стремления все явления советской действительности перевести на язык привычных западных понятий и от нежелания видеть то, что не подходит под определенные политические схемы.

Из-за желания все видеть схожим с тем, что близко и понятно, и не могут западные люди найти ключ к пониманию того, что происходит у них под носом. И на загадочной картинке, среди оленевых рогов и ветвей не могут разглядеть притаившегося охотника.

А охотник не очень-то и прячется. Ведь он знает, что если его заметят, то присутствию его дадут самое успокоительное объяснение.

А ведь знают много. И сопоставляют, и анализируют тонко.

Я всякому советую, например, прочитать великолепную книгу бывшего корреспондента «Монд» в Москве Мишеля Татю «Власть в СССР». Это одно из самых примечательных описаний системы изучения и толкования подчас еле заметных даже для советского глаза признаков перемен и веяний на высотах власти в Москве.

Шрифт и место коммюнике в «Правде» сопоставляются с шрифтом и местом того же коммюнике в «Бакинском рабочем», упоминание или неупоминание кого-нибудь из руководителей в белорусской печати сверяется с передачей на ту же тему московского радио на языке урду. Изучается и толкуется порядок, в котором упомянуты присутствовавшие на какой-нибудь церемонии члены ЦК. Причем с учетом анализа тостов, произнесенных на коктейле у военного атташе Канады.

Тонкий анализ всех закулисных политических перипетий, которые предшествовали падению Никиты Хрущева, Татю проводит с таким блеском, что книга его читается как роман. Просто удивительно, каким

образом, несмотря на пресловутую русскую скрытность, Запад шаг за шагом знал все. Правда, анализируются события уже прошедшие.

Заканчивает Татю тремя прогнозами, сделанными по той же методе. Разумеется — все мимо.

Это, конечно, ничего не значит, Татю, возможно, просто темнил. Дедуктивный метод доведен западными разведками до высочайшей степени совершенства.

К примеру, во время встречи Кеннеди с Хрущевым в Вене в 1963 году западные секретные службы провели блестательную операцию: им удалось раздобыть образчик мочи кремлевского диктатора.

Анализ привел к открытию чрезвычайной важности. А именно, что у Хрущева были зачатки шизофрении.

И когда Хрущев лупил ботинком по столу в ООН или порол истерическую чушь на очередной пресс-конференции, знающие люди в Вашингтоне могли взирать на это с усмешкой. Они-то знали, в чем дело.

А главное, они с уверенностью ожидали, что рано или поздно Хрущев падет.

Что и произошло. Без всякой, впрочем, выгоды для Запада.

По просочившимся в западногерманскую печать сведениям, во время пребывания Брежнева в Бонне западные разведки одержали еще более выдающуюся победу. С помощью хитроумного устройства они раздобыли образчик кала Генерального Секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Изучение этого ценного сырья группой специалистов мирового класса позволило определить некоторые основные параметры и сделать прогноз.

Опять же по просочившимся сведениям, большинство экспертов пришло к выводу, что состояние здоровья, а также возраст главы советского государства делают вероятной смену руководства в Кремле

в обозримом будущем. Были еще какие-то смутные намеки на общий интеллектуальный уровень главы одной из двух сверхдержав.

Отдавая должное смекалке и отчаянной смелости западных разведчиков и проницательности ученых, способных по отходам определить будущее (это вам не кофейная гуща!), — как все-таки не задать себе вопрос: почему страна, которой правит то шизофреник, то маразматик... ну, скажем, не гений, добивается от своих противников уступки за уступкой?

Самая надежная защита советских тайн — это фундаментальная, несовместимая разница психологии. Все думается и решается не просто на другом языке, а в ином измерении.

Видный советский кибернетик говорил мне однажды, что, располагая определенным количеством данных, можно, скажем, рассчитать будущее изменение внешней и внутренней политики любой западной страны. И предсказать решения их руководителей. Что и делается в Москве. А в отношении советских руководителей это, по словам Александра Лernera, невозможно. Он утверждает, что на самом высшем уровне решения принимаются по законам, которые не укладываются в рамки обычной логики.

Еще возражают: не могли Советы сознательно пойти на создание эмиграции, ибо самим своим существованием, видом, характером, рассказами о порядках в России эти люди разоблачают советский строй в глазах Запада.

Ну и что? Рассказывают о плохой жизни в Советском Союзе и о своем плохом отношении к советской власти. Говорят громко и нестройно. Но какое дело людям Запада до того, что приехавшие из России жили плохо?

Когда же приезжие начинают со своих позиций оценивать внешнюю политику СССР, то есть его отношение к тем странам, куда эти эмигранты приехали,

их слова встречает, как правило, не равнодушие, а враждебность. Ведь эмигранты говорят совсем не то, что от них хотят слышать. Никому не нужны эти апокалиптические пророчества. Ведь бессмысленно критиковать, если не можешь дать « конструктивный совет», подсказать «оптимистическое решение».

А по этой части у нас и впрямь слабовато.

И от того, что мы говорим не то, что от нас ждут, и никто нам не хочет верить, мы как бы становимся невольными коллективными дезинформаторами.

Получается некий вариант прелестного разговора в поезде, описанного Шолом-Алейхемом: «Куда едет еврей?» — Я еду в Егупец. — В Егупец? Ничего себе! Вы мне говорите, что едете в Егупец, чтобы я подумал, что вы едете в Жмеринку. Но ведь вы и вправду едете в Егупец. Так зачем вы врете?

А тут получается иначе: «Вы говорите то, чего не может быть. Так зачем вы врете?»

* * *

Любой средний советский человек легко различает во внешней политике СССР признаки, которых западный человек, как правило, не видит.. Или не хочет видеть.

Как не хочет видеть, например, хрупкость западной экономики, полностью зависимой от неподконтрольных ей источников сырья. А советскому глазу это видно. А западный человек убежден, что экономически слаб СССР. Ведь он покупает хлеб и технологию на Западе, ведь он должен Западу, а не наоборот.

Попробуйте убедить среднего западного человека, что Советский Союз в любую минуту может отказаться платить долги и никто ничего по этому поводу сделать не сможет.

Попробуйте объяснить, что советская экспансия — процесс необратимый, что нет такой вещи, как *интересы* Советского Союза, которые можно удовлетворить и тем остановить процесс экспансии.

Попробуйте доказать, что стремление к мировому господству совершенно естественно для СССР; ведь народ учат, что речь идет об уничтожении империализма. Ежедневные подтверждения этим прописным истинам не в состоянии поколебать западного человека.

Ведь Советский Союз родился и вырос на идеологии марксизма, подразумевающей уничтожение капитализма, вырос на понимании и изучении капиталистической системы, на борьбе с этой системой. Вот и получается, что мы, выросшие в этой маниакальной стране, знаем, как смотрится внешний мир *оттуда*. А Запад продолжает изучать СССР, как любую другую страну.

Очередность целей и задач, существующих для Советского Союза, ускользает от западного глаза. Часто приходится слышать: «У России столько внутренних проблем, что она неизбежно должна сократить свои военные расходы». Или: «Россия неизбежно приостановит производство оружия — ей нечем кормить свой народ».

И мало кто понимает, что если нечем кормить, так и не будут кормить. Введут карточки, оцепят районы и оставят людей умирать, или сошлют, чтобы помалкивали, в лагеря. Но оружие будут делать, как раньше.

И даже необязательно для его немедленного применения, а для парализации Запада, которому и впрямь приходится думать и об обороне, и о благополучии народа. Иными словами, об очередных выборах.

И потому, что бывший советский человек и человек Запада жили и продолжают жить в разных измерениях, потому, что условия жизни в СССР непонятны

человеку из нормальной страны, эмигрант легко его при желании обманет. Ведь стоит рассказать события прошлой жизни так, чтобы это не шокировало западное ухо. Неважно, что это прошлое полно подробностей, которые для советского человека звучат убийственно, — на Западе этого не понимает никто.

А для человека, имеющего хоть какое-то представление о работе советской разведки, хоть когда-либо читавшего агентурные дела, да и просто хорошо знающего советские порядки, наблюдать это бывает мучительно.

* * *

— Как вам нравятся эти мудаки?

— И не говорите, отец!

Вздыхаем, не комментируя. Наше отчаяние не вполне, впрочем, справедливо. На Западе тоже есть люди, понимающие, что именно на знании еле уловимых деталей советской действительности можно строить проверку: правда, не правда?

Очень в этом отношении поучительна книга Эпштейна о деле Освальда. Там приведен почти весь ход расследования, которое начальник контрразведки ЦРУ Энглтон провел, проверяя перебежчика Носенко. Читаешь и восторгаешься въедливостью и проницательностью старого хрена. Он совершенно неоспоримо доказал, что Носенко — подсадная утка, засланная для дезинформации американцев.

Нельзя сказать, чтобы это не дало результатов. Энглтона выгнали, а Носенко стал консультантом ЦРУ.

Не все становятся советниками ЦРУ. Некоторые устраивают иначе. Всех роднит одна черта. Они говорят власть имущим то, что те хотят от них слышать, и то, что подходит под западные психологи-

ческие стандарты. Тогда человек понятен и внушиает доверие. Без такой расшифровки он непонятен.

Бедным западным людям, давно всё знающим о Советском Союзе, трудно, скучно и мучительно говорить с нами. Их раздражают и утомляют наши ухмылки, переглядывания, циничные замечания, грубый антисоветизм и шпиономания. Их злят наши скептические замечания относительно линии западной политики в отношении СССР.

Как глоток свежего воздуха для них слова бывшего докладчика ЦК Комсомола, интервью которого я не могу не процитировать:

«Для приезжающего в США может быть только одна цель: стать настоящим американцем. В Америку я мечтал приехать с тринацатилетнего возраста. В СССР не может быть возврата к сталинизму.

На смену нынешнему руководству скоро придут молодые прагматики. Я их хорошо знаю. Они никогда не станут прибегать к террору. Надо развивать торговлю с Россией. Продавая ей хлеб, вы помогаете не Брежневу, а русскому народу. Кеннеди поступал неосторожно, но нынешняя администрация ведет мудрую политику. Только в Америке человек имеет настоящую возможность проявить себя... и т. д.».

Такое глубокое понимание основных проблем не могло пройти незамеченным. Молодой человек делает уверенную карьеру, планирует американо-советские отношения и дает советы на высшем уровне.

ВЕСТНИК РХД № 131

СОДЕРЖАНИЕ

От Редакции: Солженицынский комплекс — Н. Струве

БОГОСЛОВИЕ

Практическое руководство к молитве

Богословие Евангелия Иоанна Богослова — Прот. С. Булгаков

Преподобный Максим Святогорец — Н. В. Первушин (Канада)

Христианство на Западе

**Смешение языков (Идеологический кризис Западной Церкви) —
А. Безансон (Париж)**

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Стихи — Н. П.

**Глава из Узла II «Октябрь Шестнадцатого» — А. Солженицын
Из литературного архива**

Стихи счастливого лета — В. Швейцер (США)

О музыке и смерти — Д. Зелинский (Москва)

СУДЬБЫ РОССИИ

Истоки духовного возрождения

Православные братства — Н. Шеметов (Москва)

Вопросы общественности

Чем грозит Западу плохое понимание России — А. Солженицын

Письмо Борису Суварину — А. Солженицын

В порядке дискуссии

Интернационалисты и русская революция — Максудов (Москва)

Микроб коммунизма или тифозная вошь — М. Бернштам (США)

Проблемы и история эмиграции

За други своя... — С. Жаба (Париж)

**Мать Мария и Русское Студенческое Христианское Движение —
Л. Макаров**

Русская Церковь сегодня

Из отчета Совета по делам религии ЦК КПСС

Письмо Владимира Порэша — Е. Вагин (Рим)

В защиту Виктора Капитанчука

Свидетельство свящ. Е. Солодкого

Обращение

Письма верующих

Памяти архимандрита Льва Жиллэ

Религия в нашей жизни

Виктор Тростников

КОНЕЦ ЭПОХИ САМОУГОЖДЕНИЯ

Двадцатый век близится к своему концу. Жить ему осталось всего двадцать лет. И хотя за это время вырастет еще целое новое поколение, для века это немного. Пора уже начать подводить его итоги.

Эпитетов двадцатому веку надавали много. Это и «век атома», и «век космоса», и «век социальных преобразований». Можно дать еще десятки определений, которые будут ничуть не дальше от истины, чем эти. Но каждое из них берет какую-то частную деталь. А нельзя ли ухватиться за главное?

Несомненно, можно. Наш век следует определить так: «это был век, в котором бездуховность достигла максимума и начала испытывать все обостряющийся кризис». В этих словах лежит ключ к пониманию всех главных особенностей заканчивающегося двадцатого столетия. Такая формулировка хороша тем, что «духовность» — понятие очень четкое. «Духовность есть обличие вещей невидимых», говорили наши мудрые предки, и точнее не скажешь. Следовательно, «бездуховность» есть неспособность воспринимать невидимое.

Раз наш век бездуховен, значит, он материалистичен. Тому, кто слеп и глух к вещам невидимым, остается признать лишь вещи доступные чувственному восприятию, т. е. материальные. Бездуховность рождает в нас материализм и философский, и житейский.

Впрочем, к теории, которая кладет в основу картины мира понятие материи и пытается вывести из него все остальное, даже трудно отнестись как к философии. Философия по самому своему определению есть наука о сокровенной сущности вещей, поиски подлинного, а не кажущегося смысла бытия. Для материализма же вещи служат своим конечным оправданием, и за поверхностью происходящего он не ощущает никакой глубины, никакой тайны. Но поскольку он претендует на то, чтобы быть философией, ему приходится прятать свое равнодушие к истинному знанию за дымовой завесой знания ложного. Описание явлений он выдает за их объяснение, метафизику подменяет изложенной на философском жаргоне физикой. По этому поводу можно было бы просто пожать плечами, как это делали лучшие мыслители прошлого столетия, но в нашем столетии выяснилось, что тут не до смеха. Кроме научной стороны, имеется и сторона социальная, и в этом смысле материалистическая философия заставляет отнести к себе в высшей степени серьезно. Пушкин полагал, что «ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума», но наш опыт опроверг это оптимистическое мнение. Мы убедились в обратном: ложная мудрость может обретать такую силу, что не она перед умом, а ум перед нею начинает тлеть и мерцать, а потом и вообще гаснет.

Идеологи материализма заявляют, что они любят народ и желают ему добра, а поэтому стараются освободить его от ложных верований и направить его усилия на достижение не иллюзорного, а реального счастья. Возможно, многие из таких заявлений вполне искренни. Но беда в том, что ложными-то являются как раз понятия материалистов о реальности. Бездуховность, т. е. неспособность осознать, что невидимое существует не в условном или психологическом, а в самом прямом смысле, делает материалистов почти

слепыми, ибо самая важная и содержательная часть Бытия не дана нам в непосредственном чувственном восприятии. На нее накинуто тонкое покрывало, ограждающее ее от праздного любопытства зевак. Тем не менее, и сам факт ее существования и основные ее черты человеческое сознание способно постигнуть, если только оно прибегнет не к одним внешним, но и внутренним средствам познания. В этой полупроницаемости, в частичной скрытости наиболее фундаментальных элементов сущего заключена вся суть гносеологической системы. Так сделано для того, чтобы истина принадлежала только тем, кому она действительно нужна. Здесь мы сталкиваемся как бы с целомудрием тайны, и в этом — удивительная мудрость мироустройства. Чтобы заглянуть в святая святых вселенского замысла, человек должен пройти некую проверку, оказаться полноценным не только физиологически, т. е. иметь нормально функционирующие рецепторы зрения, слуха, осязания и т. д., но и *душевно*: чувствовать многомерность Бытия и испытывать потребность проникнуть в его глубинные измерения. Материалист не выдерживает этой проверки, не проявляет тонкости чувств и подлинной любознательности, а поэтому для него закрывается путь к познанию, и он еще гуще окутывается тьмой. Постепенно он окончательно отказывается от света, начинает называть его отрицание «просвещением» и рьяно пропагандирует его в народе. Что должно получиться из такого «просвещения», сказано в Евангелии: оба упадут в яму.

Навязывание обществу материалистической доктрины губительно для общества. Правительство, избирающее материализм официальной философией, совершает роковую ошибку. Его вводит в заблуждение активный, наступательный элемент, характерный для первой фазы господства этой доктрины, — этот страстный призыв к освобождению человека, импульс к

раскрепощению от всего, что закабаляет людей. Оно ошибочно видит в этом созидательное начало. Однако, соединенное с бездуховностью, это превращается в начало разрушительное. И через некоторое время правительство обнаруживает, что все шестеренки, которые должны приводить в движение нацию, крутятся вхолостую. Люди становятся циниками, энтузиазм переходит в равнодушие, и общество делается неуправляемым.

Политический деятель, исповедующий материалистическое мировоззрение, рассуждает следующим образом: надо обеспечить людям материальное благосостояние и воспитать их в духе колLECTИВИЗМА, тогда счастье придет само собой, так как способность быть счастливым заложена в человеке от рождения. «Человек создан для счастья, как птица для полета», — повторяет он слова Короленко. Но такой ход мысли в высшей степени безграмотен. Природная основа человеческого организма позволяет человеку наслаждаться жизнью лишь на животном уровне: радоваться теплому дню, купаться, лежать на травке, лакомиться вкусной пищей. Но этого человеку мало. Он давно возвысился над животными и спуститься на чисто биологический уровень существования уже не может, даже если бы захотел. Для полноценного бытия ему нужно очень многое, выходящее за рамки биологии, например, ощущение исполненного долга, уверенность в том, что в его деятельности есть какой-то смысл, что суммарный итог его жизни не сводится к событиям самой этой жизни и в нем имеется остаток, ценность которого не выражается в категориях времени и пространства. Удовлетворение этих запросов души обеспечивается не физической природой индивидуума, а природой социума, в который человек включен, и характером этого включения. Общество играет решающую роль в раскрытии потенций личности, в появлении у нее чувства осмыслинности существования.

Если послушать, что говорят философы-материалисты, то может показаться, будто они с этим согласны. Но такое впечатление обманчиво. Их утверждение «общество формирует личность» имеет ложный смысл уже потому, что глубоко ложной является их трактовка понятия «общество». Здесь их мысль вертится в плоскости политических, экономических, правовых и бытовых межчеловеческих отношений и не может из нее выскочить. Они простодушно полагают, что надо спуститься с небес на землю и организовывать общество на реальных, а не воображаемых началах, и тогда оно будет хорошим, а все личности будут освобождены и раскрыты. Но этот упрощенный подход к столь сложному явлению, как социум, приводит к непредвиденным последствиям.

Чего не видишь и смысла чего не понимаешь, того не станешь и беречь. Делаясь государственной доктриной и получая возможность устраивать людские отношения по своей программе, материализм не только не сохраняет, но и активно ломает все те общественные регуляционные системы, действие которых для него слишком таинственно. Каждый индивидуум может сколько угодно иронизировать над официальным мировоззрением, а оно тем временем проводит свою разрушительную работу. И в один прекрасный день индивидуум обнаруживает себя в совершенно новой социальной атмосфере и чувствует, что ему нечем дышать. Его охватывает беспокойство, на сердце ложится какая-то тяжесть. Даже простые телесные удовольствия утрачивают для него значительную долю былой привлекательности. Будто и солнышко светит не так ярко, и осенние листья пахнут не так пряно. Нервозность усугубляется тем, что он не может понять ее причин. Условия жизни вроде бы неплохие, нет войны, дети растут здоровыми... А существование лишилось стержня, стало призрачным, потеряло ценность. Все есть, а радости жизни нет. Что же произошло?

А произошло вот что. В саду росло дерево. Хороша ли была почва, благоприятен ли климат — нам неведомо, но дерево выросло высоким, и его крона весело зашумела листвою. И вот заботу о нем взял на себя некий садовник. С виду он был обыкновенным человеком, но имел один дефект мышления: никак не мог вообразить, что под поверхностью земли могут находиться какие-то предметы. Ему казалось, что там ничего не может быть, а те, кто говорят о подземных предметах, — суеверные и невежественные люди. Исходя из такого своего представления о реальности, он спилил дерево и поместил его в железобетонный стакан, считая, что теперь оно будет стоять гораздо прочнее. Но листья вдруг начали желтеть и сохнуть.

Идеолог-материалист, облеченный полномочиями организовывать по своей теории общественные отношения, поступает так же варварски, как этот садовник. И если даже он руководствуется самыми добрыми намерениями, людям от этого не легче: их души все равно начинают усыхать и свертываться.

Материализм может утверждать себя и в другой форме — как *образ жизни*. Эта его разновидность тоже есть порождение бездуховности нашего века. Оба побега растут от одного ствола и, несмотря на внешние различия, родственны друг другу.

Житейский материализм не стремится выразить себя в каких-то научных формулировках: он спокойно обходится без теоретической базы. Он любит подчеркивать, что в теории познания придерживается тезиса плюрализма — допускает, что истина не единственна. Но его терпимость в отношении разных точек зрения не есть свидетельство его неопределенности. По своему кредо он очень определенен, просто это кредо лежит не в сфере мысли, а в сфере экзистенции. У него есть принцип, от которого он никогда не отходит: надо жить так, чтобы было удобно и приятно. Поэтому такой материализм можно назвать еще и гедониз-

мом. Он как раз потому и обладает некоторой философской расплывчатостью, что менять точку зрения на мир бывает приятно. Он не желает связывать себя прочными узами ни с каким конкретным мировоззрением, чтобы не лишиться возможности сегодня увлечься одной философией, а завтра — другой. Правда, при всем этом видимом свободомыслии он все же обнаруживает устойчивость симпатий: всегда флиртует с какой-нибудь формой философии человеческого самообслуживания, вроде прагматизма, позитивизма или экзистенциализма.

Связь этого материализма с бездуховностью самая непосредственная. Для того, кто перестал воспринимать невидимое, многое из того, что прежде рассматривалось как существующее, становится воображаемым. Из его картины мира один за другим выпадают целые пласти. И все же у него должна оставаться какая-то опора. Опорой для человека может быть лишь то, что он считает реальным. У бездуховной личности объем реальности очень ограничен, но все же и у нее имеется некоторый выбор. Возможность выбора и приводит к расщеплению материализма на две разновидности. Одни считают «самым реальным» то, что находится вне нас и дается нам в сенсорных ощущениях; другие придерживаются убеждения, что с наибольшей надежностью можно говорить о реальности нас самих со всеми требованиями нашей природы. Они заставляют потесниться физику, чтобы дать больше места биологии. Правда, любя хорошие вещи и комфортную обстановку, они в этом, практическом смысле придают важное значение объективной реальности, а значит, и физике. Но они изучают и используют материю, не особенно вдумываясь в ее философский статус. Поэтому их и можно назвать житейскими материалистами.

Понятно, что этот вид материализма тоже сильно воздействует на социум и переделывает его по своему

шаблону. Он приспосабливает его к потребительским запросам и поэтому держит приблизительно на уровне индивидуума. С его точки зрения, общество должно оставаться достаточно многообразным, чтобы каждый человек мог извлечь из него интересующую его информацию или что-то другое, что доставит ему развлечение или окажется полезным. На первый взгляд, может показаться, что это общество совереннее того, которое порождается материалистической философией, делающей все серым, казенным и скучным. На самом же деле их вообще бессмысленно сопоставлять. Оба эти общества тянут человека ко дну, только разными способами.

Господство материалистической *доктрины*, действительно, приводит к сужению национального сознания, к оскудению языка и других выразительных средств — например, искусства. Но тут есть и другая сторона. В исходном тезисе философского материализма о первичности материи и непреложных законов ее движения и вторичности всего остального проступает мысль об относительной ничтожности и уязвимости человека. Хотя современные философы-материалисты иногда восклицают «все для человека!», это скорее заигрывание с публикой, чем логический вывод из их теории. Нельзя обожествлять два объекта, нельзя служить сразу двум господам, и если тот, кто обожествляет материю, начинает провозглашать богом еще и человека, это выглядит фальшиво. В честной материалистической картине мира с ее бесконечным пространством и временем человек предстает крошечной пылинкой, чем-то случайным, что по стечению обстоятельств возникло из «первичного бульона» путем автоматической эволюции. И это представление не может не оказаться на общем умонастроении общества, которому навязана такая картина. Над этим обществом царит дух строгости и дисциплины, ему доступна идея суровой необходимости. Оно вырабаты-

вает в своих гражданах определенную непримязательность, способность терпеть лишения, сознание превосходства целого над частью. Его индивидуумам понятно жесткое слово «надо». Услышав его, они не задаются вопросом: «а зачем, собственно, надо?», ибо в их души прочно въелось ощущение фатальности законов социального развития. В какой-то мере членам этого братства не чужды даже аскетизм и самопожертвование. Для них жизнь все еще есть напряжение и борьба — борьба за светлое будущее, приход которого предсказывается теорией. И в этом напряжении, каким бы напрасным оно ни было объективно, нередко раскрываются возвышенные свойства человеческой натуры и возникает субъективное чувство исполненного долга.

Гедонистическое общество, объявляет оно об этом открыто или нет, поощряет не аскетизм, а его противоположность — эпикурейство. Это постепенно приводит к обеднению личности. Хотя это общество обязано оставаться достаточно ярким и многокрасочным, чтобы обслуживать потребности индивидуумов, оно медленно, но неуклонно сползает вниз вместе с индивидуумами.

Конечно, в своем стремлении как можно больше насытить жизнь комфортом и удовольствиями, гедонизм пытается использовать самые различные свойства людской натуры, в том числе и такие прекрасные чувства, как религиозную интуицию, патриотизм, бескорыстную любовь к знанию и т. д. Ведь из них можно извлечь немало практической пользы и приятных переживаний. Но все же постепенно центр тяжести переносится им на всё более примитивные проявления человека, на его биологию, а затем и на физиологию. Этот процесс редукции развивается стойко, так как для того, кто бездушен, низменные чувства и грубые инстинкты проще, надежнее и реальнее тонких эмоций. В результате, за последние 80 лет гедонистические общества очень изменились, и изменились в худшую

сторону. Если бы какой-нибудь эпикуреец, умерший в конце прошлого столетия, встал бы сейчас из гроба, он содрогнулся бы от омерзения и назвал бы современных эпикурейцев скотами. Мы не замечаем масштаба совершившейся деградации только потому, что она шла постепенно. В жажде острых ощущений, в погоне за все новыми раздражителями и новыми утехами отменялся то один нравственный запрет, то другой, но прежде, чем сделать еще один шаг по направлению к полному бесстыдству, людям давалось время привыкнуть к тому состоянию, в какое их привел предыдущий шаг.

В обществе потребления возникает гибельный порочный круг. В нем развивается тенденция делать ставку на животные побуждения людей, так как такое капиталовложение окупается быстрее всего, а у людей, подвергающихся воздействию этого общества, такие побуждения начинают расцветать все пышнее, тогда как высшие части души, не находя достаточной поддержки, неуклонно атрофируются. Снижение духовного типа индивидуумов заставляет общество все азартнее играть на темных страстиах, а темные страсти все больше стимулируются этой игрой. Дичает человек, и параллельно дичает общество. Мельчает личность, и соответственно упрощается социальная структура.



Нарисованная картина может показаться чересчур мрачной. Но действительность еще мрачнее. Вряд ли какие-то слова могут выразить опасность положения, к которому привело нас двадцатое столетие. В течение всего этого века мы были убеждены, что двигаемся вперед, и вдруг оказалось, что все это время мы пятисились назад. Пройденный нами путь отступления можно отметить тремя этапами: *бездуховность, равнодушие*.

душие, удушье. Этимологическое родство этих слов не случайно. Наш мудрый язык подсказывает нам, что здесь имеется глубокая связь по существу. Бездуховность, т. е. нечувствительность к невидимому, ведет к обеднению внутреннего содержания человека, к развитию в нем черствости и эгоизма, т. е. к равнодушию, а оно, в свою очередь, затрудняет общение с людьми и лишает способности любить и быть любимым, т. е. ведет к образованию вокруг человека пустоты, как бы к удушью. И на этот путь толкают оба варианта материализма — как теоретический, так и практический. А противопоставить им сегодня ничего не удается.

Даже в самых дальних уголках людям некуда деться от вторжения атеистической идеологии или потребительского образа жизни. Люди оказываются совершенно беззащитными перед этими, прежде незнакомыми, соблазнами. «Трудно тебе идти против рожна», — сказал когда-то Христос Савлу. Трудно кому бы то ни было пойти сегодня и против материалистического мировоззрения, и против материалистического жизнеустройства. Они ошеломляют народы простотой и доступностью своих рецептов и, не давая опомниться, разоружают их, отнимая у них вековые национальные заветы. Это можно сравнить с грубым вмешательством в устоявшиеся жизненные циклы природы. Теперь мы хорошо знаем, чем обычно кончается такое вмешательство. В одном месте из лучших побуждений уничтожили воробьев, а потом их пришлось ввозить из-за границы. В другом месте неосторожно развели кроликов, и эти пугливые зверьки стали наводить страх на фермеров. В третьем месте на большой реке понастроили плотин, и вода зацвела, а рыба подохла. В этом отношении мы наконец-то несколько поумнели и стали говорить: экологические системы очень чувствительны ко всем внешним воздействиям, и без достаточного обоснования нельзя нарушать их

баланс, ибо это может привести к катастрофическим последствиям. Но ведь людское общество сложнее и тоньше любой природной системы! Тем не менее, здесь никто ничего не остерегается и не интересуется обоснованиями. В наше время считается, что общество — нечто крайне простое, что каждый с одного взгляда разберется, что в нем надо улучшать и что отменять. Такое мнение — прямое следствие духовного ослепления нашей эпохи.

Материальная сторона, которая в нашем существовании первой бросается в глаза, является, несомненно, важной. Но она никак не может служить *стержнем* нашей жизни. Таким стержнем должно быть понимание фундаментальных аспектов мироустройства, т. е. тех вещей, которые превосходят наше бытие и включают его в себя как часть. Наше бренное земное существование, как и всякая конечная данность, не самодостаточно. В нем нет и не может быть объяснения его смысла, нет и не может быть полноты. Полнотой обладает только бесконечность, поэтому смысл человеческой жизни может быть осознан и прочувствован только в категориях бесконечных. Это непреложный закон логики, обойти который невозможно. Однако выработать соответствующие представления о мире и месте в нем человека индивидуум самостоятельно не в состоянии. Их может дать ему только общество, где они зреют столетиями и принимают конкретную форму, приспособленную к специфическим особенностям данного народа. Процесс формирования национальных представлений о коренных аспектах Бытия не менее сложен и загадочен, чем становление экологической системы леса или болота. Это — сугубо нерукотворный процесс, суммирующий не только спонтанную духовную работу различных поколений, каждое из которых имело свой уникальный опыт и вносило уникальный вклад, но также откровения пророков и отшельников, которых нельзя назначить пра-

вительственным указом. Не менее сложны и невоспроизводимы и механизмы хранения складывающегося таким образом органического миропонимания и мироощущения. Оно удерживается в особенностях народной речи, в укладе жизни простых людей, в нравах и обычаях, в детских играх, в легендах и сказаниях, в архитектуре, одежде, прикладном искусстве, в народных промыслах, а главное — в национальной религии, как в ее вероучительном аспекте, так и в обрядовом.

Когда стране навязывается материалистическая идеология или материалистическое мироощущение и потребительский образ жизни, эта бесценная система жизнеобеспечения безжалостно разрушается. Независимо от того, восторжествовала ли здесь теория рукотворного построения коммунистического рая или же утвердился культ обогащения, из национального сознания одно за другим начинают выпадать все понятия, относящиеся к мистическим основам народного существования, так как теперь они перестают означать что-либо реальное. В результате народ либо тихо угасает, как тасманийцы; либо начинает методически истреблять сам себя, как народы Камбоджи или Чада; либо в нем происходит непредвиденный взрыв национализма, как мы видим это в арабском мире и в других местах. Национализм, распространяющийся сейчас по всей земле, есть самый простой ответ на разрушение внешними силами того невидимого, что создавалось веками и служило стержнем народной жизни. В нем стихийно проявляется коллективный инстинкт самосохранения.

Но силы сторон не равны, и мир все сильнее захлестывает современное варварство. Прямолинейность мышления берет верх над утонченностью, мещанский быт вытесняет сложные уклады иерархических обществ с их причудливыми отношениями между сословиями и кастами. Все неотвратимо движется к нивелировке и однородности, к воцарению стандарта

и пошлости. Вступил в силу вселенский закон возрастания энтропии, которому людской род в течение семидесяти тысяч лет ухитрялся не подчиняться. Хорошее перерождается в мерзкое, возвышенное — в подлое. Строгий кодекс чести западноевропейских рыцарей-пилигримов, поднимавший личность на огромную высоту и вместе с тем делавший ее требовательной к себе, сохранился лишь в речах президентов, а в действительной жизни уступил место предъявлению бесчисленных требований к обществу со стороны алчных и мелкодушных потребителей. Великая идея соборности, освещавшая жизненный путь людей на христианском Востоке, вульгаризировалась до уничижительной практики причесывания всех под одну гребенку. И как Запад, так и Восток навязывают свой стиль существования всему миру. Это вовсе не значит, что они чувствуют себя такими счастливыми, что хотят поделиться избытком благости с другими. Напротив, они делают это потому, что начинают ощущать неуверенность. Им необходимо убедить себя, что к их укладу рано или поздно придут все. Праведникам такие вещи не нужны, но тот, кто в глубине души сознает свою греховность, всегда изо всех сил старается залечь на путь такого же греха и окружающих. Когда ему это удается, его совесть на какое-то время успокаивается.

Печально не только то, что силы, насаждающие бездуховность, могущественны, но и то, что у подвергающихся их воздействию народов возникает иллюзия выбора, хотя на самом деле выбора нет. Им кажется, будто они сами могут определить свою судьбу — взять за образец либо капиталистические порядки, либо социалистические, — и это усыпляет их бдительность. Но к какому бы лагерю они ни примкнули, в них неизбежно начнется разрушение. Мнимое противопоставление друг другу двух форм материализма в значительной мере парализует их сопротивление.

Можно лишь диву даваться, насколько хитер дьявол, притворно разделившийся надвое. Не придумай он этой уловки, ему гораздо труднее было бы погубить человеческий род, ибо люди легче распознавали бы идущее от него зло и восставали бы против него. А так один из видов зла можно выдавать за добро.

Разрушить невидимые механизмы жизнеобеспечения нации и вправду очень нелегко, особенно если национальный организм был здоровым и сильным. Такой организм обладает страшной живучестью: как его ни кромсай, он находит внутренние способы заживления ран, вырабатывает в себе удивительные компенсационные аппараты, мобилизует какие-то таинственные ресурсы и продолжает существовать и функционировать. Огромной жизнеспособностью обладают, в частности, американский и русский народы. Они выработали в себе многие качества, которые частично уравновешивают вред, наносимый им воцарением бездуховности. В них появился иммунитет против целого ряда вирусов, размножающихся на питательной среде материализма, поэтому Советскому Союзу и Соединенным Штатам легче всего противостоять *собственному* варианту материализма. Каждая из этих держав переносит свою форму заболевания легче, чем другая, тем более, чем остальные страны. В этой адаптации можно было бы видеть нечто обнадеживающее: уповать на то, что обе державы вылечатся когда-нибудь от слепоты и снова обретут утраченную духовность и с нею полноту бытия, но процессу исцеления роковым образом препятствует возникающее на государственном уровне стремление направить весь мир по своему пути и возникающий на индивидуальном уровне соблазн заимствования чужого, которое издали кажется привлекательнее своего. Ситуация осложняется еще и тем, что все убеждены, будто третьего варианта не существует. Около двух лет назад корреспондент немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» взял

интервью у одного русского ученого. Центральным его пунктом был вопрос: «Считаете ли вы либеральную демократию приемлемой моделью или предпочитаете авторитарную государственную систему?». Этот образ мысли весьма типичен для нашего времени. Заданный журналистом вопрос волнует многих. Но ставить его — настоящее безумие. Это все равно, что спрашивать: что лучше — утонуть или попасть под поезд?

Только в самое последнее время появились признаки осознания бессмысленности такого обсуждения. Одним из таких признаков можно считать выход 21-го номера журнала «Континент», где опубликована анкета, содержащая совсем иной вопрос: существует ли выход из дилеммы западная демократия — восточный тоталитаризм? Это — правильный подход к делу, ибо и так называемая демократия, и пресловутый тоталитаризм — глухие тупики. Выход, конечно, есть: русским надо излечиться от своего тоталитаризма, а американцам и западноевропейцам — от своей демократии. Но сделать это они могут лишь своими собственными силами, опираясь на лучшие национальные традиции, на заветы своих великих предков. Однако это пока мало кто понимает, и безумный вопрос дискутируется снова и снова, радуя сатану и заставляя людей тратить массу времени и энергии только для того, чтобы туже затянуть петлю на своем горле.

Возникает какая-то безысходность. Люди, которые понимают, что в их отечестве не все ладно, вместо того, чтобы искать причины этого и терпеливо устранять их, восклицают: сделаем все так, как у наших соседей! И им не приходит в голову, что у тех масса собственных бед. Но к своим бедам каждый как-то притерпелся, а вот чужих никому не выдержать. Чудовищная деятельность левацких террористических групп ярко демонстрирует, чего нужно ждать от перенесения на западную почву марксистских идей в их

прямом, не ослабленном вакциной «еврокоммунизма», значении. Философское отрицание бессмертной души, против которого в России давно выработано противоядие иронии, на незащищенном от него Западе приводит к логическому выводу о бессмыслиности понятия нравственных норм и о допустимости убийства ни в чем не повинных людей. Если левое движение и впредь будет развиваться в странах капитализма, мы станем свидетелями таких ужасов, равных которым еще не было в истории. Но тем не менее катастрофическим было бы насаждение западных порядков в России. Направить Россию по пути так называемой западной демократии было бы последним бесчеловечным экспериментом над этой многострадальной страной, на живом теле которой было уже испытано столько политических изобретений.

А провести такой эксперимент хотят многие. Слово «демократия» стало сейчас каким-то фетищем. Человек, который скептически отзовется о демократии, берется на подозрение. Но это лишь одно из самых убедительных свидетельств современного одичания. Восхвалять то, что в наше время понимается под демократией, — значит либо быть бездумным конформистом, присоединяющимся к мнению большинства, либо убежденным сторонником самого пошлого жизнеустройства. То, что называют сейчас демократией, на самом деле есть *охлократия* — власть стада, торжество толпы.

Популярность демократии прежде всего говорит о всеобщем историческом невежестве. В прежние времена, когда культура мышления была еще достаточно высокой, вопрос о предпочтительности демократического, аристократического или монархического способа правления обсуждался довольно подробно и были выявлены недостатки и преимущества каждого из них. Об этих исследованиях сейчас никто не вспоминает. Когда, например, спрашивают: «доросла ли Россия

до демократии?», никто не задает встречного вопроса: «а может быть, она давно переросла демократию?» и не обсуждает проблемы: «доросла ли Америка до аристократической формы правления?». Современный обыватель, разучившись думать, усваивает, как заклинание, тот термин, который для него приятнее звучит. А слово «демократия» нравится ему тем, что в нем он улавливает отголосок идеи: историю должен делать народ, ибо «глас народа есть глас Божий».

Эта идея абсолютно верна. Но парадокс заключается в том, что вплоть до того момента, когда восторжествовала нынешняя демократия, история всегда и делалась народом, а с этого момента перестала им делаться.

Секрет в том, что народ — это вовсе не масса, не количественное большинство. Принадлежность к народу определяется наличием прочных связей с космическим кругооборотом Бытия, с землей, с природой, с Богом. Народ — носитель национального завета, источник таинственной мудрости, создатель языка и религии и вообще всего подлинно нового и нерукотворного. Он — основа всей той экосистемы, которую представляет собой всякое живое общество. И основа эта глубоко мистична. В то же время она абсолютно реальна. А вот толпа, несмотря на ее зримость, многочисленность и крикливость, иллюзорна. Народ имеет лицо, толпа безлика. Народы разных стран резко отличаются друг от друга, толпа везде одинакова. Народ — некто, толпа — никто. И вследствие демократического правления история сейчас управляет никем. Ее швыряет то туда, то сюда слепая стихия.

Нет ничего нелепее и безграмотнее представления, будто с помощью голосования можно найти какую-то историческую оптимальность. Прав был Бердяев, говоря, что если бы история решалась голосованием, то она никогда не началась бы. Можно добавить: а начавшись, не двигалась бы дальше вперед. Вот она

и прекратила поступательное движение и дрейфует без руля и без ветрил. А такой дрейф всегда кончается выбрасыванием на скалы.

Нельзя, конечно, сказать, что народа уже нигде не осталось. Народ есть еще во всех странах. Но дело в том, что как раз там, где утвердился постулат демократии, т. е. в США и в Западной Европе, народ составляет меньшинство, поэтому тамошняя система выборности властей дает ключи к политике не народу, а новым плебеям, которые точно так же, как и плебеи древнего Рима, требуют лишь хлеба и зрелиц. И это страшно. Плебеи страшны тем, что в силу своего социального конформизма всегда выражают не провиденциальный смысл эпохи, а случайные зигзаги моды. Сегодня они кричат одно, а завтра с таким же энтузиазмом противоположное. Это к ним применимы теории Маркса и Фрейда, рисующие человека пассивной игрушкой природных сил. Но Маркс и Фрейд ошибались, полагая, будто жизнь и деятельность этих людей составляли историю. В их время этого не было. История всегда творилась в глубинном измерении, для плебеев недоступном; она была последовательностью откровений, а откровения нисходили только к личностям, но не к толпе. И эти личности были мистически связаны со своим народом, поэтому историю творил в конечном счете народ. Но делал он это не прямо, а с помощью многоступенчатого незримого механизма, понять сущность которого современный бездуховный человек совершенно не в состоянии.

Чтобы увидеть порочность современной демократической системы, не надо быть глубоким философом. Задумавшись об этом хотя бы несколько минут, нельзя не понять, что суммированием голосов нельзя получить никакой истины, а значит, и отыскать наиболее достойных руководителей страны, тем более, что сейчас голосуют не за подлинно существующих людей, а за их образы, созданные средствами мас-

совой информации. В Афинской республике каждый гражданин лично знал Перикла, поэтому его выбор был хоть как-то оправдан; знание же избирателями современных кандидатов — чистая фикция. Большая истина не складывается из малых заблуждений, и ошибочные мнения частных лиц при усреднении не могут перейти в непогрешимое высказывание, ибо усреднение не улучшает качества мнений. Утверждать, будто система подсчета голосов обеспечивает осуществление властью воли народа, — значит не понимать того фундаментального факта, что народ не есть сумма индивидуумов, а есть особый мистический сверхорганизм, имеющий свои собственные способы исторического самовыражения. Эта система ведет лишь к капитуляции власти перед числом, перед массой. Но даже если эти соображения покажутся кому-то слишком сложными, он может убедиться в неэффективности демократической системы на фактах, так как кандидаты, собравшие большинство голосов, сплошь и рядом оказываются жуликами и наносят нации значительный вред. Тем не менее, ни апелляция к фактам, ни логические аргументы не могут поколебать фактических приверженцев демократии. Они никого не желают слушать, ничего не желают знать. На демократии будто помешались: ее внедряют даже в таких странах, где населению по два месяца приходится втолковывать, что нужно делать на избирательных участках во время голосования и зачем. Следовательно, мы сталкиваемся здесь с какой-то такой формой заинтересованности в принятии системы, которая сильнее любых доводов.

Нетрудно понять, где тут зарыта собака. Весь пафос современной демократии состоит не в выборности власти, а в ограничении ее компетентности, в отвоевании у нее так называемых «прав человека», а точнее — прав индивидуума. Достойный или недостойный кандидат сядет в президентское кресло — это

неважно; главное, чтобы он понимал, что будет сидеть в этом кресле прочно лишь в том случае, если угодит индивидуумам, ибо впереди новые выборы. Но у индивидуума на первом плане стоят шкурные биологические интересы, элементарные потребности данного момента. Он не способен заглянуть в будущее, лишен исторического мышления и исторической интуиции, а поэтому безответственен. Ему нет дела до основного закона миропорядка, заключающегося в том, что взрослому человеку изначально принадлежат не права, а обязанности, а права развиваются по мере выполнения им обязанностей. У него свои законы: простенькие правила житейского материализма. Политическое господство таких выключенных из вселенских циклов и замкнувшихся на самих себя индивидуумов и есть охлократия. Она опасна не только тем, что останавливает историю и лишает коллективную жизнь человечества какой-либо цели, но и тем, что в странах, к ней не приспособившихся, становится разрушительной силой. В центре мировой охлократии — Соединенных Штатах — сформировалось множество защитных механизмов против этой системы. Из старушки-Европы туда пришли такие традиции, как добросовестность выполнения своей работы, стремление к профессионализму, бережное отношение к любому имуществу. Несмотря на культ денег, там все же укоренилась определенная деловая порядочность и аккуратность. И даже само обожествление доллара имеет у американцев отчасти идеальный характер. Доллар превратился у них как бы в абстрактный регулятор взаимодействия людей между собою и отношения каждого человека к самому себе. Количество нулей банковского счета определяет у них не столько возможность тратиться, сколько уверенность, что жизнь прожита не напрасно, что все делалось правильно. Но вот, скажем, в России ничего этого давно уже нет, и если здесь провозгласить демократию, которая

включает в себя право свободного предпринимательства, то это будет никакое не предпринимательство, а повальный грабеж, не стесняемый никакими сдерживающими факторами.

* * *

Но независимо от того, разрушит ли одна из фракций всемирной партии бездуховности другую фракцию, навязав ей смертельные для нее собственные формы жизнеустройства, или же их спор будет продолжаться, создавая иллюзию, будто существуют разные точки зрения на мир, дела наши на исходе двадцатого века нельзя назвать иначе, как из рук вон плохими. Когда столетие только начиналось и на Парижской выставке по этому поводу пускали фейерверки, никто не думал, что оно закончится так мелко и пошло. У мнительных натур могли быть апокалиптические страхи и смутные предчувствия войн и революций, но уж пошлости не предвидел ни один скептик. Ведь тогда все твердо верили в поступательное движение человечества.

Однако пошлость воцарилась в мире, все победила, всем овладела, всюду проникла, всюду пустила корни, и спрятаться от нее стало некуда. Жить стало возможно, только ни о чем не задумываясь. Едва перестаешь подстраиваться ко всеобщей беготне, едва остановишься, оглянешься вокруг и сравнишь увиденное с тем, что просит душа, сразу же начинаешь чувствовать пустоту бытия. Кажется, всего много в нашем веке, но выбрать душе нечего, ибо все мерзко и безобразно. Безобразен шизофренический тезис о первичности материи и вторичности духа, несовместимый ни с логикой, ни с основным элементом внутренней жизни каждого человека — ни на секунду не покидающим его ощущением своей личности. Детская наив-

ность этого тезиса отнюдь не умиляет, поскольку его навязывают нам все-таки не дети, а вызывает тревогу за состояние общественного рассудка. Безобразно низведение человека средствами массовой пропаганды, массовой культуры и могучей рекламы на уровень бездумного потребителя. Наблюдая однотипную жизнь современных мещан, не только не имеющую никаких перспектив одухотворения, но и с каждым годом делающуюся все более примитивной и стандартизированной, начинаешь испытывать уже не тревогу, а отвращение. Мерзостен современный научообразный стиль мышления — новый вариант древнего книжничества, вызывавшего гнев Христа. Создателями и распространителями его являются наши ученые. Когда они пишут о своем предмете, это еще как-то можно читать, поскольку при этом излагаются конкретные вещи; но как только они уходят в сторону от своих профессиональных вопросов и начинают делать обобщения, прогнозировать будущее, давать обществу советы, рассуждать о морали, нравственности и этике, анализировать возможности установления контактов со внеземными цивилизациями, подсчитывать вероятность спонтанного зарождения жизни на других планетах и т. д. — это становится непереносимо. Стандартность мысли, безликость языка, банальность жизненных установок, омертвленность чувств и убогость воображения жрецов современной науки заставляет отвращение перейти в страх. Ведь толпа верит, что ученые владеют ключами от истины, а на самом деле они давно погрязли во лжи.

Взяв наугад журнал или газету, обязательно найдешь разглагольствования какого-нибудь ученого мужа о глобальных проблемах. Вот, например, «Литературная газета». Академик Наан объясняет в ней причины возникновения жизни на Земле. Он пишет: «Коротко можно сказать так: если в вашем распоряжении есть атомы 24 химических элементов, сущест-

венно необходимых для «построения» жизни, и вы располагаете временем 4,6 миллиарда лет,... то рано или поздно вы получите некое разумное существо». Все, что сказано в этой фразе, — голая выдумка, ничего тут не имеет ни экспериментального, ни теоретического обоснования, все просто высосано из пальца. В сфере личных отношений за такое откровенное вранье могут побить. В сфере политики оно получает отпор в виде ноты протesta. Но наука стоит в совершенно особом положении: правильность ее утверждений никто не проверяет — их печатают, и все. А ведь печатное слово имеет большой авторитет. Привыкнув к бесконтрольности, наука все чаще стала употреблять в качестве своего оружия заведомый обман, в результате чего обрела огромную силу. И вся эта сила направлена на то, чтобы не допустить возрождения духовности, ибо оно привело бы к упразднению девяноста процентов искусственно раздутого научного штата, занимающегося в основном самообслуживанием.

Не менее тягостное впечатление производят люди, увлеченные политикой, имя которым сейчас легион. Их преобразовательные программы часто прямо противоположны, и это порождает в их среде страстную полемику. И все же у них есть одно общее свойство мышления, по которому их сразу можно узнать. Все они твердо верят в возможность построения *рукотворного рая*.

В математике доказательство того, что такой-то объект имеется, называется «теоремой существования». Без нее пытаться строить объект очень рискованно, так как может оказаться, что его нет в природе. Пример такого напрасного труда — знаменитая квадратура круга. В течение тысяч лет фанатики геометрии верили, что имеется вычерчиваемый циркулем и линейкой квадрат, площадь которого равна площади заданного круга. На его построение было затрачено

много сил и времени. И только в конце прошлого века Линдеман доказал, что такого квадрата вообще не существует. После этого попытки выполнить квадратуру круга прекратились.

Общественные структуры неизмеримо сложнее геометрических, и они строятся не из точек и прямых, а из куда более загадочных элементов. Но главное отличие состоит в том, что общественные структуры лишь малой своей частью расположены в чувственно воспринимаемом слое Бытия, а все остальное погружено в область невидимого. Именно туда, в глубинные измерения, запрятаны все узлы и пересечения, все секреты устройства. Но фанатики политических преобразований этого понять не желают и хотят вычертить идеальное общество с помощью циркуля и линейки, тратя на это гораздо больше усилий, чем изобретатели квадратуры круга. А объяснить им безнадежность их работы невозможно. В них нет достаточной тонкости даже для того, чтобы просто осознать нетривиальность проблемы и желательность иметь теорему существования. Им тяжело думать о таких отвлеченных вещах; требуемое для этого напряжение превосходит силы их интеллекта. Они умеют мыслить лишь на *бытовом уровне*, и тут разворачиваются вовсю. Государство для них, как и для Руссо, — простой общественный договор, а отсюда и их убежденность, что его можно перезаключить каким угодно образом. И каждый из них рьяно развивает свою программу перезаключения. При этом они кажутся себе очень умными и предусмотрительными, так как любая политическая идея имеет у них вид логической фигуры, называемой импликацией: «если, ... то». Но беда в том, что в слое повседневной реальности, из которой мысль современного политика выскочить не способна, существуют лишь обрывки и фрагменты целостного Бытия, а поэтому в нем нельзя построить подлинно строгих логических замы-

каний, и внешне правдоподобные импликации всегда оказываются произвольными и ложными.

Поскольку квадратура не получается, политики очень сердятся. Но обрывочное мышление не может привести их к истинной причине неуспеха, поэтому они начинают обижаться на своих политических оппонентов, всюду видя их происки. Им невдомек, что историю вершит не деятельность партий и фракций, а нечто такое, что втекает в наш видимый мир *оттуда* — из той части Бытия, где только и может развязаться завязанное здесь.

Чувство обиды вообще стало для нас характерным. Возможно, о нашем времени будут когда-нибудь говорить: это был век обиженных людей, век розыска виноватых. Таким банальным финалом завершился великий бунт, начавшийся вместе с эпохой Гуманизма, или Ренессанса. Тогда люди обиделись на Бога за то, что Он не избавляет их от страданий, и решили построить собственными силами жизнь, лишенную страданий. В результате отказа от Бога мистические корни, питавшие народы соками жизни, были повреждены, и целостные нации стали превращаться в сумму отдельных граждан. От этого ощущение полноты бытия угасало, и обида росла все сильнее. Но на кого можно было теперь обижаться, коли Бога отменили? Нашли на кого: на дворян, на высшие классы, на буржуазию, на «систему», на внешних врагов, на происки мирового империализма, на заразу коммунистических учений. Досаду, вызванную провалом нарисовать циркулем и линейкой общество всеобщей радости, люди стали срывать друг на друге. А провал этот был неизбежен с самого начала.

Раздражительность и обиженность всегда являются симптомами слабости. Не обманывает этот признак и на этот раз. Мы живем не только в эпоху взаимных обид, но и в эпоху расслабленности. Даже великие государства стали бессильными, ибо общества лишились способности напрягаться, а индивидуумы разучились жертвовать своими интересами ради общего дела. Миллионная толпа трепещет сейчас перед кучкой террористов. Раньше их уничтожил бы как бешеных собак безоружный народ, а теперь наисовершеннейший полицейский аппарат не может их поймать, а если и поймает, то всего лишь сажает под замок в комнату с цветным телевизором. Отмена смертной казни говорит не о возросшей доброте, а о том, что, независимо от того, признаем мы на словах религиозные утверждения или нет, мы уже абсолютно не верим ни в какую жизнь, кроме телесной, и смерть для нас есть бесконечная потеря, в то время как мера преступности любого действия конечна. Мы пасуем перед мыслью о потустороннем и сосредоточили все свои устремления на жизни здесь. А мужество и твердость приходят лишь *оттуда*.

Но ведь спокойно жить на земле долго все равно не удастся! Кончается нефть, загрязняется океан, отравляется атмосфера. Подсчеты показывают, что скоро разразится всеобщая катастрофа невиданных масштабов. В этот час нам понадобятся и мужество, и терпение, и стойкость духа, а как раз их-то в нас и не окажется. Спрашивается: на что же мы надеемся?

Уповать на политическое разрешение кризиса абсурдно, ибо политики видят только симптомы общественных недугов и не понимают их причин. Многие люди стали сейчас осознавать это и относиться к политике с недоверием и даже презрением. Но вместо того, чтобы искать другой выход из тупика, они про-

никаются каким-то оптимистическим фатализмом. Они рассуждают так: в истории было уже немало моментов, когда предсказывалась скорая гибель человечества, но прогнозы не сбылись — значит, все обойдется и на этот раз. Однако это рассуждение в корне ошибочно.

Если мы вдумаемся, почему человечеству до сих пор удавалось выйти из кризисов невредимым, то мы обнаружим, что его неизменно спасала внешняя помощь — помощь Бога. Ветхий Завет буквально переполнен описаниями того, как Бог предотвращает события, которые могли бы привести к катастрофическим для людей последствиям. Он направляет людское племя по верному пути устами пророков, запугивает его знамениями и чудесами. Но с течением времени непосредственное вмешательство Бога в людские дела ослабевает. Это не случайно. Вся суть Божьего замысла в отношении человека состоит в том, чтобы примирить в его лице дух и материю, «сделать внутреннюю сторону как внешнюю, и внешнюю сторону как внутреннюю» (Евангелие от Фомы). В богословии это называется обожжением вселенной. Человек задуман Богом как средство для обожжения мира. Для выполнения своей миссии человек должен, оставаясь материальным по телу, стать божественным по духу. Это значит, что он должен стать совершенным. Совершенство же включает в себя свободу. Следовательно, человек должен становиться все более свободным, а это предполагает удаление от него Бога, ибо явное присутствие Бога рядом с ним сковывало бы его свободу. Но свобода предполагает возможность бунта и отпадения. Так возникает «божественный риск». Существо, на которое Бог возлагает все Свои надежды, может не оправдать этих надежд, и каким бы всемогущим Бог ни был, Он не в силах уменьшить степень риска. Особенно велик риск на поздних стадиях совершенствования человека, когда его свободу нару-

шить уже почти недопустимо. Сейчас мы как раз и достигли такой стадии.

Две тысячи лет назад уже был момент, когда вся кропотливая работа Бога по выращиванию Себе в этом мире помощника была поставлена под угрозу. Материалистическая цивилизация древнего Рима увлекла человечество на смертельно опасный путь. Люди возомнили, что нет у них другой цели, как угождать самим себе и обслуживать самих себя. И к этому моменту внутренняя свобода человека достигла такой степени, когда прямое воздействие со стороны Бога было уже исключено. Но Бог нашел удивительное средство. Он прислал на землю в образе простого смертного Своего Единородного Сына, и Бог-Сын, ценой унижения и крестной муки, спас человечество. После Воскресения и последующего нисхождения на Иисусовых учеников Св. Духа история пошла по новому руслу.

Нынешний момент очень похож на тот. Наша цивилизация — Новый Рим. Опять увлечение материей, опять самоугождение. Но сейчас степень нашей свободы увеличилась, ибо мы от многого были освобождены Христом. Сейчас и такая форма помощи, как воплощение Бога в человека, была бы непозволительно резкой. *Теперь мы должны выпутаться сами*. А коли не выпутаемся, то погибнем — на то и «божественный риск». И нечего утешать себя тем, что до сих пор мы не гибли. Во-первых, мы были детьми, которых можно водить за ручку, а сейчас стали взрослыми и сами ответственны за свою судьбу. Во-вторых, неверно, что не гибли. Погиб и неандертальский человек и другие ветви, которых антропологи называют «неудавшимися вариантами». Точно так же может погибнуть и «гомо сапиенс», если попытка Бога сделать из него добровольного помощника окажется неудавшейся.

А чтобы стать такими помощниками, которым Бог может сказать: «больше не называю вас рабами», мы должны понять смысл своей свободы. Тогда мы поймем и другое: что Бог, не желая оказывать на нас давление, лишь спрятался от нас, а на самом деле Он существует и внимательно наблюдает за нами. Тогда, оставаясь совершенно свободными, мы с необходимости повернем души к Богу. На один наш шаг к Нему Бог сделает десять шагов нам навстречу. Так произойдет диалектическое «снятие» риска. Снова, как в день Пятидесятницы, на нас заструится благодать Духа, и все наши понятия изменятся, а проекты будут забыты. И если это случится, то в день своей смерти двадцатый век воскликнет: на какие же глупости я потратил лучшие свои годы!

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США
Главный редактор **Андрей Седых**
70-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

Литература и время

Юрий Мальцев

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТЕРИЙ ПОДЛИННОСТИ

Еще не смолкли споры о том, сколько ныне в России литератур — две или одна (спор беспредметный, спор о словах, ибо как это ни назови — двумя ли разными литературами или двумя направлениями внутри одной литературы, а бесспорным остается факт органической взаимной несовместимости Солженицына и Софронова), а некоторые западные критики сделали уже новое открытие: существует третья русская литература, не диссидентская и не советская, а промежуточная, нейтральная. Эти промежуточные писатели (Ю. Трифонов, Ф. Абрамов, В. Белов, В. Астафьев, Б. Можаев, В. Шукшин, В. Распутин, В. Тендряков и др., список варьируется в зависимости от вкусов критика) не славят советскую власть и мудрую партию, как советские писатели, и не обличают советский режим, как писатели-диссиденты, — а просто пишут хорошие книги. И не только хорошие, но и правдивые. При этом их в отличие от диссидентов (которые ведь тоже пишут правдиво) почему-то не только не сажают в сумасшедшие дома и лагеря, не только не преследуют и не высыпают за границу, а напротив, осыпают всяческими милостями и допускают к привилегиям, которыми пользуется лишь высшая каста советского общества.

Печатается в порядке дискуссии. — Р е д.

Даже до всякого знакомства с этой промежуточной литературой возникает сомнение: а возможно ли такое? Возможна ли нейтральная литература в идеократическом государстве, где вся атмосфера наэлектризована, пронизана положительными и отрицательными идеологическими зарядами? А отказ славить советский строй, этот «высший этап всемирной истории», этот поразительный плод «научной» марксистской теории, не есть ли уже проявление диссидентства? И как сильно должно быть отвращение к «грандиозным успехам» социализма, чтобы в условиях общеобязательного энтузиазма писатель уклонялся от обязанности ликовать.

Уж мы-то знаем, что многие из этих «нейтральных» в узком кругу ведут порой такие речи, что их можно прямым путем отправлять в Потьму по 70-й. И сколько раз уже эти нейтральные и промежуточные подводили западных критиков: только они выстроят свою тонкую концепцию творчества прогрессивного и талантливого советского писателя, как вдруг этот прогрессивный и талантливый бежит за границу, развязывает язык и начинает говорить и писать такое, что со всей срочностью его приходится переквалифицировать в реакционера и беспаланного. Но вся закулисная, внелитературная сторона не должна быть предметом рассмотрения в этой статье (и по мотивам методологическим, и по мотивам конспиративным), а потому мы ограничимся рассмотрением лишь литературных фактов, то есть книг, написанных этими промежуточными.

Читателю, воспитанному в школе на Горбатове и Грибачеве, на Корнейчуке и Кочетове, действительно, есть от чего обомлеть. Открываешь, читаешь — и глазам своим не веришь, как это в советской типографии могло быть напечатано такое.

У Бориса Можаева мы находим такие описания нищеты, что по сравнению с ними блекнут даже зна-

менитые радищевские (да ведь еще та нищета тенденциозно преувеличена, если верить Пушкину). Мы читаем также у него о сибирских рабочих, живущих в скотских условиях (мужчины и женщины вповалку в одном бараке, без бани, без магазина, работают по 12 часов в день, то и дело несчастные случаи на производстве). А в форме легкого фарса («История села Брёхово, написанная Петром Афанасьевичем Булкиным») ему удалось протащить в советскую печать такое изображение коррупции в колхозах, начальственного самодурства, головотяпства, бесчестности, лжи и крестьянской задавленности, бесправия, нищеты, какие можно встретить только в самиздате у Войновича или Лобаса.

Василий Шукшин рисует нам яркие жанровые сценки, довольно четко вырисовывается неприглядность и скука советских будней. Герои его, «типичные» советские люди, томятся чувством душевной неприкаянности и пустоты. Жизненная программа большинства выражается так: «если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче». Но и без дела вовсе еще тяжелее: «По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая...». Высшая жизненная удача — это когда «и в тюрьме не сидел, и в войну не укокошили». При попытках искать правды и справедливости натыкаешься на «стенку из людей». Высшая мудрость: «лишь бы день урвать, а там хоть трава не расти».

У Василия Белова — отлично выписанные русские характеры, очень интересные детали сегодняшнего деревенского быта и неподдельная (не «поэтическая») печаль, боль за гибнущую и страдающую Россию, скорбные размышления, столь несовместные с советскими идеологическими штампами: «добро, которое делают положительные герои, так часто оборачивается для людей самым жестоким злом... сила рождает

одну жестокость и не способна родить добро... Все мы научились так изумительно оправдываться невозможностью рубить лес без щепы....». «Это примитивное деление (на классы) позволяет не думать о сложностях мира, о сложностях человеческого общества... Убить человека во имя идеи — раз плонуть... Совесть, честь, сострадание — все летит к чёртовой матери, остается одна борьба, борьба взаимоуничтожения, оставляющая за собой запустение и страх. Горе такому народу, гибель такой стране и нации!».

У Виктора Астафьева находим острую боль от варварского отношения к родной земле, реалистическое и страшное описание войны, а главное — пленяющую задушевность, пронзительную, поистине исповедальную искренность и несочиненную любовь к ближнему, доброту, душевную чистоту.

Валентин Распутин поражает оригинальностью таланта, четко выраженной писательской индивидуальностью, столь редкой сегодня не только в советской, но также и в промежуточной литературе, где доминирует описательство и все авторы, пишущие на сходную тему, похожи один на другого, как газетные репортеры. Его поэтический мир исполнен глубокого трагизма, и, если бы не частые композиционные просчеты, сбивающие напряжение, расслабляющие эту трагическую атмосферу, и не неровности, его, пожалуй, можно было бы смело назвать крупнейшим талантом во всей нынешней подцензурной русской литературе.

У него боль о России и русском крестьянстве вы светляется страстной верой в оздоровительную силу христианства, верой в возрождение русской нации путем возврата к духовным ценностям. Христианский пафос, присущий и другим промежуточным, у Распутина выражен с наибольшей силой. Распутин почти никогда не опускается до мелких подачек цензуре в виде разбросанных там и сям верноподданнических

высказываний, которые можно встретить у других промежуточных, и прямую ложь у него нельзя найти почти никогда, за редчайшими исключениями, как, например, ложь о власовцах.

Все это, конечно, удивительно и настолько поражает русского читателя, что он с трудом отдает себе отчет в ограниченности этих промежуточных писателей и почти не замечает их дефектов. Похожесть описаний на подлинную советскую действительность завораживает более всего тем, пожалуй, что ведь эта запечатленная повседневность является прямым опровержением канонических основ советской пропаганды: «новое общество», «новый советский человек», «грандиозные успехи социализма» и т. п.

Стараются не замечать того, что описания-то эти далеко не адекватны действительности. Реальность гораздо хуже, непригляднее, страшнее. После победных фанфар советских писателей, марксистских все-знаек, ни в чем не сомневающихся и имеющих на все готовые ответы, сомнения этих промежуточных кажутся настоящей крамолой, и не замечаешь того, что сомнения эти никогда не переходят запретной черты.

Поражаются смелости отдельных высказываний, вкладываемых обычно в уста отрицательных героев, но ведь из этих отдельных, контрабандой протащенных замечаний не сложить цельной картины. Писатели эти не подходят даже и близко к постановке кардинальных проблем советского общества. Каждый из этих промежуточных писателей постоянно помнит о главлитовском списке запрещенных тем. Опубликовать бы этот список! Пожалуй, это было бы самым потрясающим литературным событием наших дней.

Сегодняшний читатель в России в большинстве случаев, сам того, быть может, не сознавая, уже утрастил настоящий критерий оценки. Называют хорошими или даже отличными книги, которые являются тако-

выми лишь с поправкой на советскую цензуру: «ведь иначе здесь нельзя». Но поскольку поправка эта делается автоматически, почти бессознательно, как нечто само собой разумеющееся, то и начинают говорить об этих книгах как о замечательных и отличных безотносительно. Эта утрата критерия в оценке литературы есть лишь частный случай деформации советского сознания. Чудовищный пресс советской системы изуродовал души и сознание людей до того, что общечеловеческие критерии в нынешней России уже не употребительны. Если говорят, например, о честности или о благородстве, то это значит, что речь идет не о честности вообще, не о благородстве вообще, а о честности по-советски, о благородстве по-советски. То же можно сказать о смелости по-советски, о стыде, о страхе, свободе и несвободе, об удобстве и неудобстве, почетности и унизительности... Остановимся на мгновенье хотя бы на этом последнем, чтобы не продолжать этого длинного списка. Какой должна быть степень нравственного упадка общества, чтобы писатель, не состоящий в компартии, перед выездом за границу покорно являлся в ЦК КПСС, как мальчишка выслушивал там наставления, как ему следует себя вести, какой отчет о поездке (то есть донос) поозвращении ему нужно будет написать, расписывался в том, что он с правилами поведения ознакомился и обязуется их выполнять (а правила-то эти запрещают ему самые элементарные и естественные вещи: контакты с жителями страны, записи в записной книжке и т. п.), и чтобы он при этом не испытывал ни стыда, ни унижения. То, что для нормального человека унизительно, для советского — нормально.

Но если всякому вдумчивому читателю совершенно очевидно, что промежуточная литература, при всех ее бесспорных достоинствах, все же гораздо ниже того уровня, которого достигла сегодня мыслящая часть русского общества, и значительно отстает от нее в

понимании проблем, то гораздо менее очевиден другой важный аспект этой литературы. При всей их кажущейся самостоятельности и при всем их фрондерстве эти писатели — вероятно, помимо воли — именно своей правдивостью, как это ни парадоксально, участвуют в сегодняшней культурной политике партии, которая всегда была и остается политикой лжи. Публикация этих книг свидетельствует вовсе не о либерализации режима, а всего лишь об изменении его тактики, о его большей, чем прежде, изощренности. Здесь мы вступаем в область сюрреального, погружаемся в орвелловский мрак, заглядываем в кафкианские лабиринты.

Но сначала, чтобы не быть голословным, остановлюсь все же на первом аспекте, хотя он и очевиден.

Сами эти писатели считают себя продолжателями реалистических традиций русской классической литературы. Точно так же их оценивают и благосклонно настроенные критики. Следовательно, здесь и следует искать верный критерий оценки. Не в творческой оригинальности, не в тонкости и изысканности мастерства, не в «красоте непостижимой» (по Фету). В самом деле, если мы оглянемся назад, то увидим, что по сравнению с достижениями русской литературы начала века эта нынешняя промежуточная литература представляет собой шаг назад. Во всем, что касается техники письма, культуры выражения, эстетического кругозора и творческой фантазии — явный регресс. Следовательно, остается критерий реализма, то есть правды. Но этого-то испытания промежуточная литература и не выдерживает. Не выдерживает сопоставления копии и оригинала, изображения и реальности. Кстати, большая часть западной критики представляется несостоятельной именно потому, что не в силах сделать такого сопоставления. Их двух членов сравнения ей не достает одного. Не достает знания нашей жизни, чтобы по-настоящему сопоставить и оценить.

Если я правильно понимаю, в чем суть этой традиции русского реализма, то она, конечно же, не в похожести («совсем как в жизни»), а в катарсисе правды, в пафосе истины. Правда здесь становится эстетической категорией именно потому, что она обретает совсем особое качество. Мы в сотый раз перечитываем страницы наших великих реалистов прошлого и каждый раз заново поражаемся, как открытию, этой правде, которая здесь есть не что иное, как высший духовный подвиг писателя, который в предельном напряжении всех своих интеллектуальных и душевных сил старается проникнуть в суть окружающей его жизни, прозреть ее скрытые тайны и запечатлеть бессмертными образами свое прозрение точно так, как сама жизнь запечатлевает самое себя в преходящих и изменчивых явлениях. Это — бесстрашное, часто беспощадное к самому себе, обнажение своего предельного понимания жизни (обычно превосходящего и смелостью, и глубиной понимание большинства людей). Поэтому книги эти делают читающего их «более свободным человеком», как сказал Тургенев при открытии памятника Пушкину. Книги же нынешних промежуточных не только ничего не прибавляют к нашему знанию жизни и пониманию советского общества, а напротив, просят у нас снисхождения за то, что говорят не всё известное нам. Они не только не делают нас более свободными, а напротив, заставляют нас еще острее ощутить их (писателей) и наше (русских людей) рабство.

Интересно посмотреть, как эти писатели сами понимают традиции реализма. Можаев, например, говорит о «глубине идей и жизненной достоверности» произведений этих новых реалистов, к числу которых принадлежит и он сам, говорит о «достоверном, бескомпромиссном изображении действительности» и «высшей гражданственности». И тут же дает пример этой гражданственности, дважды подобострастно

помянув в своей статье «вдохновенную» книгу товарища Брежнева. Далее он разъясняет, как он понимает «глубину идей». Писатели эти, говорит он, «поднимают вопросы поистине общегосударственного значения». Вот как! — насторожится читатель. Быть может, они поднимают вопрос о свободе печати, или о свободе создания политических партий, или о независимости профсоюзов от правящей партии? Нет, успокаивает нас Можаев, это такие вопросы, как «разумное размещение промышленных предприятий, целесообразность строительства гидростанций», «как вопрос пойменных земель» и т. д. Никогда еще сооружение нового курятника не объявлялось задачей литературы.

Продолжая расписывать достоинства этой реалистической литературы, Можаев говорит, что «она ставила под сомнение существование целых государственных институтов». Быть может, КГБ? Или цензуры? Или закрытых психбольниц? Или закрытых же магазинов-«распределителей»? Нет, оказывается — машинно-тракторных станций!

И, заканчивая дифирамб новым реалистам, Можаев заключает: «писатели эти проявили себя как истинные помощники партии». Служение какой бы то ни было политической партии вообще не делает чести писателю, служение же партии, которая повинна в чудовищных преступлениях перед собственным народом, может вызвать лишь отвращение. Вполне возможно, что слова эти — не что иное, как тактический прием. Но в этом случае они, пожалуй, еще более отвратительны. Говорить прямо противоположное тому, что думаешь, и поклоняться тому, что презираешь, — это падение, ниже которого для писателя уже ничего и быть не может.

О глубоких идеях, важных проблемах и гражданском долге постоянно упоминают и другие промежуточные, показывая тем, что память о настоящих традициях реализма им все же не дает покоя. Очень зага-

дочно говорит об этом Абрамов: «Я мечтаю поразмыслить о судьбах страны, о сути глубочайших исторических процессов». Загадочно, потому что остается неясным, что же помешало ему осуществить это его мечтание.

Наиболее ясно видна ограниченность этой литературы, пожалуй, как раз в тех произведениях, которые еще в «либеральный» период наделали шума своей необычайной смелостью и правдивостью. Повесть Можаева «Живой» («Из жизни Федора Кузькина») совершенно повергала читателей своей безумной отвагой. Начинается повесть поистине взрывной фразой: «Федору Фомичу Кузькину, прозванному на селе «Живым», пришлось уйти из колхоза на фролов день». Здесь что ни слово, то бомба. Крестьянин уходит самовольно из советского колхоза, и не на первое мая или женский день, а на православный, искоренявшийся огнем и железом Фролов день. Тут сразу же сталкиваются в лобовую два антагонистических строя жизни. Но на этой первой фразе вся смелость и заканчивается. Не решился Можаев показать нам, что на самом деле случается с человеком, который осмеливается восстать против колхозного рабства. Все дело здесь, оказывается, в том, что в колхозе, где был Кузькин, председатель плохой, а в соседнем — хороший. Кузькин переходит к другому, добруму барину — Пете Долгому, и этим весь конфликт разрешается ко всеобщему удовольствию. Во время столкновения Кузькина с председателем колхоза обкомовское начальство становится на сторону взбунтовавшегося колхозника. Ответственный обкомовец в присутствии других колхозников отчитывает нерадивого председателя за Кузькина и обещает ему «штаны спустить». Если предположить на минутку, что такая неправдоподобная сцена действительно имела бы место, то после этого самому обкомовцу немедленно спустили бы штаны «за дискредитацию советского руководства в глазах народа».

Этот же сердобольный ответственный обкомовский товарищ, едва получил жалобу от Кузькина, не переслал ее тут же самому обжалованному, как это заведено, а не поленился сам, забросив все свои важные общеобластные дела, приехать в далекую деревню к Кузькину, чтобы посмотреть, как живется этому бедному колхознику, и даже лично, в дорогом и новеньком своем костюме, слазить в подпол. Кузькину не только разрешают уйти из колхоза, но еще и помогают найти работу на стороне. Показательный суд над Кузькиным в колхозном клубе выносит оправдательный приговор (это заранее-то отрепетированный, показательный, то есть устраиваемый для всеобщего устрашения и назидания?!?) и т. д. Все это нагромождение фальши и неправды совершенно затмевает те правдивые детали жуткого колхозного бытия, которые автору удалось вкрапить там и сям в свое повествование. Ложка дегтя бочку меда портит. А тут и не ложка, а целые пуды дегтя, меда же — скучные ложечки. И когда вспоминаешь весь тот ажиотаж, который творился вокруг запрещения спектакля, поставленного по этой «смелой» повести в смелом и прогрессивном московском театре, то поневоле приходит на ум мысль, что вся эта шумиха вокруг пьесы была специально инсценирована властями, чтобы создать видимость идейной борьбы, дискуссий и отвлечь внимание публики от подлинного обсуждения этих самых проблем.

Не менее смелой прослыла и повесть Федора Абрамова «Вокруг да около». Вся смелость состоит в том, что председатель колхоза решил «ярем баршины» заменить (нет, даже не «оброком легким»), а барщиной же, но более умеренной. Целых 30% от скосенного ими сена председатель обещает отдать крестьянам. Подумать только, какая смелость! Подобной же рационализацией барщины восхищается и Можаев в рассказе «В Солдатове у Лозового». Он приходит в умиление оттого, что крестьяне не воруют ими же

самиими посеянный хлеб. «Сытый колхозник не унесет зерно в кармане». И чудо это происходит от того, что председатель колхоза внимательно читает газету «Правда» и там ищет ответов на все вопросы. Зарождается в уме подозрение: да уж не издеваются ли они над цензурой таким образом? Но нет, все это на полном серьёзе. Слишком скучно, старательно и уныло:

Но даже такая оригинальная мысль — упорядочить барщину — оказывается слишком смелой для советской печати. Абрамову приходится оборвать свое повествование в самом интересном месте: в момент, когда приезжает райкомовское начальство в колхоз к реформатору. Якобы модернистский прием — кончить многоточием без развязки. Такой же модернистский «суспанс» мы находим и в конце романа «Пути перепутья»: колхозники пишут коллективное письмо в защиту арестованного председателя колхоза, а что дальше — якобы не известно. Но никакой интригующей неизвестности тут нет. Советская система действует с беспощадной неуклонностью раз заведенного механизма. И автору, и всем нам известно, что ждет либерального председателя колхоза, и авторов «коллективки», и арестованного. Просто Абрамову не хватило смелости показать нам это, да никто бы ему и не позволил это сделать.

В повести «Вокруг да около» Абрамов затронул и вопрос насилиственного прикрепления крестьян к земле. Павел Вороницын запил, осознав, что он — гражданин второго сорта, бесспаспортный. Но, дойдя до этой опасной черты, автор пугается и обращает все в шутку. «Да за каким лешаком тебе паспорт-то?.. Куда ты, рожа, поедешь?.. Пьяным еще напьешься, потеряешь. Десять рублей штрафу платить...». Так ставится проблема крепостного права в сегодняшней смелой реалистической литературе.

Этого же самого Вороницына автор заставляет покуситься и на святыню советских выборов. «Если не

дашь деньги (заработанные), — говорит он председателю, — голосовать не будем». И опять-таки автор сразу же на попятную. Спешит все смастить, свести к шутке. Вопрос о принудительных и фарсовых псевдо-выборах лишь на мгновение вынырнул, чтобы тут же снова кануть во мрак. Проблема подается автором на таком уровне, что становится стыдно за него. И мужики, и председатель выглядят как дураки или недоразвитые дети. А ведь русский мужик остер. Вспоминаю такой случай: один дед каждый раз в день выборов скрывался наглухо, и, когда его обнаруживали на следующий день и набрасывались, почему не шел голосовать, он разыгрывал удивление: «А зачем? Мне эта власть нравится, не хочу другой!» Тут и придраться не к чему. Такого голыми руками не возьмешь.

Абрамов вообще обладает удивительным свойством заговаривать о самых острых проблемах советского общества, но так, что от проблем ничего не остается, контуры их размываются потоками фальши. Вот, например, сейчас тема концлагерей и массового террора строжайше закрыта для писателей. А Абрамов ухитряется писать об этом. Но как! Это стоит даже процитировать. «Искать мужа надо, а где? Ни одного письма не было... Большая у нас страна, не пойдешь же от лагеря к лагерю. Пошла... Всю Сибирь насквозь прошла-проехала. Да тайно, чтобы комар носу не подточил, чтобы никто не подумал, зачем от лагеря к лагерю шастаю... (Это по запретным-то зонам она шастает? А про статью Член Семьи Врага Народа Абрамов, конечно, и слыхом не слыхивал? — Ю. М.) А как по морю-то, по окияну-то на Колыму попадала, дак это аду такого нет... Да, легче было иголку в зароде сена найти, чем в те поры человека. А я нашла. В первый же день смотрю, вечером колонну с работы ведут — он. По буденовке узнала. Все идут одинаковы, все в бушлатах, все в ушанках, а он один — шишак в небо. (Эта вот буденовка особенно

замечательна, просто перл! — Ю. М.). А потом неделя проходит, другая проходит — нету. Не видать буденовки... Думала, думала, открылась сестре из лазарета... Так и так, говорю. Узнай — что там с моим мужем Калиной Дунаевым? «С Калиной Дунаевым? — говорит. — Да ведь он, говорит, у нас в лазарете лежит, не сегодня-завтра померет. Понес, говорит, у него кровавый»... Отваром рисовым надоть было поить, рису добыть. Пошла к кладовщику... (В зону?! — Ю. М.) В это время сам начальник в каптерку влетел. Увидел меня не в положенном месте... Ну тут уж я не запиралась. Все рассказала как на духу... И вот чего, бывало, про этих начальников не наслушаешься, чего не наговорят (напраслину на бедненьких! — Ю. М.), а были и меж их люди. До прошлого года, до самой смерти нам письма писал. Он и спас Калину».

И вся эта оперетка подается советскому читателю после «Архипелага ГУЛаг». Вернее, вместо «Архипелага»: за «Архипелаг» сажают.

Большая часть этих промежуточных книг — книги о деревне. Что и понятно. Тут проще избежать фальши. Описывай себе восходы и закаты, косьбу или пахоту, девичью гулянку, нехитрый говор мужиков. Они ведь не ведут разговоров о Сталине и Брежневе (или можно сделать вид, что не ведут), о рыночном хозяйстве и социализме, о тоталитаризме и плюрализме и т. д. Писатели эти обижаются, когда их называют «деревенщиками», считают это определение сужающим. На мой взгляд, это определение, напротив, льстит им, ибо главные проблемы русской деревни ими не только не раскрыты, но даже не названы по имени. Трагедия русского крестьянства, не имеющая себе подобных во всей новейшей истории, ими боязливо замалчивается. Одичание народа и вырождение русской нации они всеми силами стараются не замечать. Представляют все дело так, будто речь идет лишь об отдельных индивидах, оторвавшихся от зем-

ли, развращенных городом, таких, как Алька у Абрамова или дети старухи Анны у Распутина. То, что все русское крестьянство оторвано от земли, отучено от работы, отлучено от веры и обычаев, живет уродливо, бессмысленно, страшно, это можно лишь смутно уловить в глубоком подтексте у таких писателей, как Распутин и Белов.

По уровню проблем, по охвату жизни промежуточная литература (за исключением разве что Распутина, да изредка Белова и Залыгина) очень похожа на то, что на Западе называют диалектальной литературой. Кстати, и язык, который так старательно воспроизводят деревенщики, — это ведь диалект. Читать эти диалоги, пожалуй, занятно. Только когда их не очень много. А то начинаешь уставать ото всех этих челисников, тяпушек, пестерочек, ендов, посыпушек, клепцов, корчаг, кожулин, жомок, ужищ, клевещин, осеков и т. д. Но диалектальная литература в России как-то никогда не прививалась. Очень уж узок угол обзора. Русскому писателю, да и читателю, тут тесно, ему подавай толстовскую ширь.

Наши новые реалисты старательно обходят все, что касается отношения власть-народ. Функционирование коммунистической системы и ее устройство, механизм принуждения, обмана и контроля, равного которому еще не знала история, — все это вне поля их внимания. Как будто все это вещи маловажные и как будто можно описывать жизнь советских людей, абстрагируясь от характера того режима, при котором они живут. Ведь даже самая дальняя деревенская глушь сегодня — это не только ухабы на дороге, красивые пейзажи, колоритные старики, пьяные трактористы, бойкие молодухи, но это и непременный лозунг, славящий партию, и доска надуманного «соцсоревнования», и очковтирательное «выполнение плана» и т. д. И в каждом селе есть парторг и штатный стукач. Советская ложь и советский гнет вездесущи, ими пропи-

тано все, и от них нигде нет спасения. Нет нейтральной «просто жизни», которую можно бы по старинке неторопливо и любовно описывать. Такое описание в самой сути своей ложно. Это как если бы взяться описывать смертельно больного человека, ограничившись лишь рассказом о том, как и что он ест, во что одет и как причесан, ни словом не обмолвившись о его страшных мучениях, то есть о том, что как раз и определяет все его бытие. Наивно говорить о том, что писатели эти якобы просто не хотят вмешиваться в политику, а хотят тихо заниматься своим ремеслом. Сознание любого человека в сегодняшнем мире политизировано, политика стала неотъемлемым компонентом бытия, в нашем же идеократическом государстве политикой пропитаны даже воздух и пища. Игнорировать это — значит заниматься как раз угодной властям политикой.

Неестественными и ущербными представляются все эти якобы реалистические повествования, старательно отгораживающиеся от жгучих проблем России. Когда читаешь книги этих промежуточных, невозмож но избавиться от ощущения, будто вступаешь в узкий туннель, где нет простора, воздуха, обзора, а есть лишь узенькая полоска света, по которой вынужден следовать. Некогда девизом русского писателя было: не могу молчать! Девизом сегодняшних промежуточных стало: должен молчать.

Даже из книг ортодокса Кочетова мы узнаем гораздо больше, нежели от наших деревенщиков, о том, что такая колхозная система. Кочетов со всей откровенностью рассказывает нам (ибо ему и в голову не приходит, что здесь надо что-то скрывать), кем и как принимаются решения, назначается и сменяется начальство, кто определяет план, нормы поставок, оплату трудодней и т. д.

Бегство от советской реальности в искусственно отгороженный заповедник в наиболее чистом виде

можно, пожалуй, наблюдать у Солоухина. Его, кажется, интересуют в жизни лишь травы и цветы, рыбалка, в лучшем случае коллекционирование старых икон. А ведь мы знаем, можно написать и «Записки охотника» так, что они становятся выдающимся документом эпохи. Да и уж если об охоте и рыбалке, то неужели после светоносного Аксакова читать Солоухина, изъясняющегося языком «Литгазеты»?

Лишь изредка он дает прорваться своим гражданским чувствам в таких изящно выраженных, глубоко-мысленных и свободолюбивых замечаниях, вроде: «Нельзя идти на поводу у демократизма» или «Нет, демократия демократией, но иногда хорошо, когда найдется и власть!».

Виктор Астафьев задушевно и обстоятельно повествует о своей жизни в монументальном своем многолетнем труде «Последний поклон». Рассказывает о детстве в сибирской деревне, совпавшем как раз с коллективизацией, но о колLECTИВИЗАЦИИ ни слова, ни слова о миллионах русских мужиков, согнанных умирать в те самые енисейские топи, неподалеку от которых жил Астафьев. Он лишь глухо упоминает о страшном голоде, обрушившемся на их село. Отчего голод, и только ли в их селе — об этом молчок. Так же глухо (в «Царь-рыбе») заговаривает он о «варварском отношении крестьян к земле», которое «началось в тридцатых годах», но тут же умолкает. Отчего такое варварство? Почему мужик разлюбил землю? И природу? И ни разу он, проживший жизнь в Сибири и изъездивший ее всю, не упоминает о сторожевых вышках лагерей и запретках, составляющих непременный атрибут сибирского пейзажа. А когда рассказывает о своей работе сцепщиком вагонов на сибирской станции и о том, какие составы проходили по их магистрали, ни слова о тех страшных эшелонах с прожекторами на крышах, с загребной решеткой на последнем вагоне, которые шли и шли каждый день по

этой дороге с миллионами несчастных. При его наблюдательности и зоркости к деталям, при его обостренной чувствительности к чужому страданию какие страницы он мог бы нам подарить.

Все свои проклятия Астафьев шлет войне. Но ведь от коллективизации погибло больше, чем на войне, не говоря уж о лагерях. И не война перевернула всю русскую жизнь и превратила ее в мутный кошмар. Очень многословно и обстоятельно рассказывает он обо всем, что довелось ему узнать в жизни, но только не об узловых моментах своего (да и всех нас) опыта. В этом упорном молчании чудится даже некий вызов. «О таком или все или ничего», — осторожно намекает он в конце своей книги. Во всяком случае, это честнее, нежели водевильные лагеря Абрамова и его шуточки о паспортной системе.

Вот и Шукшин очень хорош, пока он описывает нам встречу с волками в лесу, или измену жены, или смерть сына — все это в неком абстрактном обрамлении, неизвестно где и когда происходящее. Но едва он входит в социальный контекст и старается уточнить деталями время и место, сразу же появляется неправда.

Если деревенщики прячутся от проблем в фольклоре, то по-другому делает это Трифонов — он уходит в «интим», в частную жизнь и психологию. Но как у Бабаевского в свое время были выдуманные колхозники, выдуманные урожаи и выдуманное счастье, так у Трифонова — выдуманная психология, выдуманные конфликты и выдуманные страдания. Изменились только краски палитры, но метод все тот же: подмена реальности псевдореальностью. На самом деле вовсе не тем живут сегодня русские люди, не о том говорят, не так говорят, не оттого мучаются. В романе «Дом на набережной» Трифонов рассказывает о сталинском времени, но тщетно мы будем там искать знакомых всем нам примет той эпохи. Это как в фильме Тарков-

ского «Зеркало». Говорить о юности поколения, выросшего при Сталине, и не только не показать того, что формировало и уродовало детские души, определяло надолго, быть может, навсегда, характер людей, а даже не повесить нигде портрета Великого Вождя. Вместо этого Тарковский показывает нам... Мао Цзедуна! Это как в том анекдоте: «Стакан воды с сиропом!.. Нет сиропа? И сдачи нет? Ну тогда четыре стакана чистой».

Но если в «Доме на набережной» Трифонова было, по крайней мере, некое подобие атмосферы, пусть очень слабо и отдаленно, но все же напоминающее атмосферу сталинского времени, то его «Старик» — это не что иное, как видимость романа. Как скорлупа гнилого ореха — на вид вроде орех, а нажми, и внутри лишь пустота. Я говорю «видимость романа», потому что по всем формальным признакам это произведение нацелено быть значительным событием современной русской литературы. В самом деле, герой книги — старый большевик, один на один со своей совестью и воспоминаниями. Подведение итогов перед лицом близкой смерти. Тема действительно захватывающая: что должен думать человек, отдавший всего себя партии, которая провела самую радикальную из всех революций, начала переделывать великую страну в полном соответствии с «научным» рецептом построения нового счастливого общества и в результате вместо счастливого и справедливого общества построила мрачное казарменное государство без света и воздуха, без свободы, без движения и жизни? Какие оправдания, если он еще чувствует себя большевиком, должен этот человек давать морям крови, пролитым его партией, насилиям и преступлениям, совершенным ею, лжи и обману, к которым она прибегала для достижения своих целей, и наконец акту самоуничтожения, в результате которого она перестала существовать собственно как политическая партия и превратилась в бю-

рократический, строго иерархический аппарат господства и принуждения? Какие сомнения и раскаяния ему приходилось преодолевать? Какие вопросы роились в его мозгу и, быть может, так и не получили ответа? Захватывающая тема для художника, грандиозные перспективы. Но что же получилось у Трифонова? Пустота, старательное замалчивание всех вопросов. Просто некие психологические наблюдения над умиранием старого человека, который почему-то назван большевиком. Да и психологизм-то этот кустарный. После Пруста и Джойса писать так уже стыдновато.

Вместо подлинных страстей и мучений — страсти вымыщленные. Чтобы заполнить чем-то пустоту, Трифонову пришлось даже прибегнуть к несвойственному ему мелодраматизму (любовь к Ace).

Нечто похожее мы видим и у Тендрякова. Его тоже, как и Трифонова, тянет к большим темам, но, как и Трифонов, он лишь топчется около. Тендрякова почему-то привлекает феномен религиозного возрождения в современной России. Вряд ли нужно тратить слова и доказывать вещи всем известные. Что такое современный русский религиозный ренессанс, знают все. О каких важных сдвигах в глубинах русского общественного сознания он свидетельствует, тоже всем понятно. Но только не Тендрякову. В его книгах явление это предстает как в кривом зеркале, с искаженными до неузнаваемости чертами. Особенно характерна в этом смысле, пожалуй, его недавняя повесть «Затмение». Христианский проповедник представлен здесь как проходимец и бездельник. При этом Тендряков делает вид, будто ему ничего не известно о преследованиях верующих в СССР и о таких проповедниках, сидящих в лагерях за религиозную пропаганду. Более того, он даже делает вид, что не знает о существовании советского закона о тунеядцах. Потому что если о таком законе помнить, то «бездельник» сразу же становится героем или, во всяком случае, мучени-

ком. Ведь нужна большая самоотверженность, чтобы в стране принудительного труда и общеобязательного атеизма уклоняться от трудовой повинности да при этом еще заниматься религиозной пропагандой, обрекая себя тем самым на неминуемый арест. Очень грустно видеть всю эту ложь у автора некогда поразившей нас своей остротой повести «Поденка — век короткий».

Что же касается религиозной проблематики, то она подается Тендряковым на таком уровне, что только диву даешься: неужели все это печатается в стране, которая знала Владимира Соловьева, Флоренского, Сергея Булгакова, Франка, Шестова? До какого упадка должна была дойти литература в нашей стране, чтобы такие пошлости преподносились читателю как глубокие откровения. Размышления героев повести о Боге, о смерти, о смысле жизни, о вечности и т. д. поражают не только банальностью и примитивизмом, но и тем азартным, даже пафосным тоном, каким писатель их преподносит, убежденный в их глубокомысленности. А ведь рядом существует обширный религиозный самиздат, серьезные авторы, подлинная мысль. Не может Тендряков не знать этого, раз он берется писать о таких вещах. И вот, поди ж ты... Как тут быть критику, если писатель вынужден постоянно симулировать амнезию? Недаром ведь один из лучших самиздатских альманахов носит название «Память».

В тех редких случаях, когда промежуточные вдруг нарушают принятое ими табу и робко вступают в непривычную им область социального, почва уходит у них из-под ног, от их реализма не остается и следа, на его место заступают условность и фальшь. В одном из своих рассказов («Страдания молодого Ваганова») яркий портретист Шукшин решает показать нам советского следователя. Но какого! Под стать Шейнину или Кожевникову. Нет и намека на подлинный характер отношения народа к власти и власти к народу: недове-

рие, страх и враждебность, с одной стороны, хамскую наглость и слашаво-снисходительную, как с маленькими детьми, покровительственность, которая еще более несносна, чем наглый гнет, с другой стороны. Шукшинский следователь, ведущий задушевные беседы с обвиняемым и даже помогающий ему выбраться из безнадежной ситуации, — это галиматья. И, конечно, не оттого, что нет среди советских носителей власти добрых людей, должно быть, есть и такие, но они вынуждены воспринять общий стиль, если хотят выжить в этой среде.

А картинка КПЗ у того же Шукшина («Материнское сердце»)? Сухо, тепло, уютно, заключенные спокойно играют в домино, приветливые милиционеры... Неужели не видел никогда Шукшин советских КПЗ с залитыми мочой и блевотиной нарами, на которых вповалку лежат жуткие личности в грязном рванье, с кровоподтеками на физиономиях, и милиционеры добавляют им еще новых, а рядом испытые, страшные, утратившие человеческий облик проститутки, и в воздухе висит материщина...? И почему это так бесцветны, так приблизительны описания лагеря на первых страницах «Калины красной» у него, обычно столь щедрого на краски? А чего стоит такое начало другого его рассказа: «Молодого Григория Думнова, тридцатилетнего, выбрали председателем колхоза. Собрание было шумным; сперва было заколебались — не молод ли?» («Наказ»). Как будто Шукшин не знает, что собрания такие не бывают шумными, ибо они вовсе не назначают председателя, назначают наверху, а собрание — это скучная формальность, комедийная процедура.

И когда, наконец, Шукшин решает написать «смешную» социальную сатиру с аллегориями и намеками («До третьих петухов»), получается нечто на уровне студенческого капустника. Нет, уж пусть лучше они остаются, эти промежуточные, в избянных светелках

да на пахучих заливных лугах и не лезут в следовательские кабинеты и на выборные собрания.

Вот теперь почувствовали деревенщики, что невозможно им писать о русском крестьянстве и умолчать о роковом, переломном — о коллективизации. И Можаев пишет роман «Мужики и бабы», а Белов — «Кануны, хронику конца 20-х годов». Оба (особенно Белов) дают довольно интересные детали жизни русской доколхозной деревни. Но этим описательством, не затрагивающим сути вещей, опять-таки все и исчерпывается. Не смогли они — не сумели или не посмели — раскрыть смысл великой катастрофы. В коротеньком и архизапрещенном рассказе Бабеля (леденящем душу, как знаменитые, пока еще непревзойденные страницы гроссмановского «Все течет...») больше раскрывается ее страшная суть, нежели в этих длинных романах. Оба они: и Белов, и Можаев — недвусмысленно осуждают коллективизацию, но даже ортодоксальная Сейфулина, которая была отнюдь не против коллективизации, гораздо сильнее ярче в свое время по свежей памяти запечатлела черты трагедии. А с пятидесятилетней-то высоты обзор куда как шире, и можно было бы ожидать чего-то более значительного. Залыгин, не претендовавший в своей повести («На Иртыше») на широту охвата и глубину анализа, сумел все же сказать гораздо больше.

В этих своих исторических романах, казалось бы, и написанных для того, чтобы раскрыть нам смысл русской истории, Белов и Можаев, как и в повестях, более погружены в гумус, нежели в социум. Двадцатые годы ими идеализируются, а коллективизация изображается как нелепая выдумка мерзавца Сталина, которую подхватили бессовестные карьеристы и «перегибщики». Белов даже исключает из партии (за неуплату членских взносов) своего героя, Игнатья Сопронова, прежде чем поручить ему грязное дело насильтственной коллективизации. И это, чтобы услуж-

ливо объявить: «Откуда им (крестьянам) было знать, что никто в Ольховской ячейке не считал Игнаху членом партии. И что партия тут ни при чем». Известная песенка. Партия всегда ни при чем. Массовый террор совершается в стране, а правящая партия ни при чем, миллионы крестьян уничтожаются, страна ввергается в пучину голода, а партия ни при чем. На каких кретинов рассчитана эта демагогия?

Белов даже идет дальше, он пытается представить коллективизацию (особенно в последней сцене романа) как извечную, всегда и везде идущую борьбу между разными психическими и физиологическими типами людей.

Двадцатые годы вовсе не были чудесным идиллическим временем, внезапно оборванным грянувшей, как гром среди ясного неба, коллективизацией. В двадцатые годы совершалось и завершилось построение тоталитарного идеократического государства. После уничтожения политических и гражданских свобод, профсоюзов и церкви, после высылки за границу цвета русской интеллигенции и создания концлагерей для инакомыслящих, коллективизация была закономерным и необходимейшим шагом. И не только потому, что независимый от государства крестьянин не вписывался в коллективистскую централизованную и тоталитарную систему, но также и потому, что связанный с землей, с национальной традицией и религией крестьянин был опасен идеократии. Ей нужен был лишенный корней, обезличенный и оболваненный *homo soveticus*, над созданием которого она успешно трудилась, и вольный крестьянин ей был не менее ненавистен, чем самостоятельно мыслящий интеллигент. Коллективизация — не только экономическое мероприятие. Это — страшное по своим последствиям обрубание духовных корней, уничтожение источников иной, не коммунистической культуры, морали, оглушение народного сознания. Это замена личного начала и лич-

ной свободы началом коллективистским. Настоящий русский роман о коллективизации еще должен быть написан.

Не может уже русский читатель удовлетвориться отдельными там и сям разбросанными намеками, смелыми фразами, вложенными в уста отрицательных персонажей, опасными утверждениями, сразу же нейтрализуемыми верноподданническими оговорками и т. п. Полноценное литературное произведение не складывается из отдельных удачных деталей, вкрапленных там и сям в аморфное или даже инородное тело. Литературное произведение — это целостный организм с собственным пульсом и дыханием. Этот организм либо есть — живет и дышит, либо его просто нет. Третьего тут не дано. Никакие самые изощренные гальванопроцедуры не могут оживить труп.

В будущем — если предположить, что будущий читатель захочет читать их, — все эти «промежуточные» книги придется снабдить длинными примечаниями, быть может, более длинными, нежели сами книги, с разъяснениями, что, мол, здесь писатель имел в виду то-то и намекает на то-то, здесь он говорит это, но на самом деле было вовсе не это, а другое, но он не мог этого сказать потому-то и т. д. И примечания эти будут, пожалуй, намного интереснее самих книг.

Многие западные «прогрессивные» критики утверждают, что эти подцензурные советские писатели в отличие от писателей-диссидентов не отвергают глобально советской системы, а ищут разрешения проблем советского общества в рамках самой советской системы, и поэтому их печатают, а диссидентов не печатают и преследуют. Первые остаются социалистами и марксистами, а вторые — антимарксисты и антисоциалисты, и в этом вся разница. Такие утверждения были бы правдоподобны, если бы советские подцензурные писатели поднимали те же самые проб-

лемы, что и диссиденты, но давали бы на эти вопросы иные, нежели диссиденты, ответы. На самом же деле, промежуточные писатели просто-напросто обходят стороной эти проблемы, ускользают от них. Кто действительно убежден в своей правоте, тот не уходит от дискуссии, а напротив, ищет любого случая, чтобы высказать свою точку зрения, обосновать ее как можно убедительнее, попытаться убедить других в своей правоте. Замалчивание же самых страшных язв советского общества и самых драматичных его конфликтов говорит о том, что ни у этих писателей, ни у власти, которая дает разрешение на публикацию их книг, нет убедительных ответов на вопросы, поднимаемые диссидентами; и поэтому затрагивать их, эти вопросы, опасно. Остается только одно: молчать и запрещать. Говорить о страшнейших пороках советского общества нельзя, ибо они не преодолимы в рамках советской системы, а являются собой ее закономерное порождение.

Впрочем, иногда возникает даже сомнение: понимают ли на самом деле эти промежуточные писатели до конца весь трагизм русской ситуации и весь ужас ее. В их книгах иногда проскальзывают детали, раскрывающие нам такую бездну приниженности и бесправия народного, что содрогаешься от негодования. Но детали эти даются этими писателями как-то бессознательно, как нечто нормальное и само собой разумеющееся, регистрируемое просто автоматически наряду с другими деталями бытия, без малейшего намерения вызвать негодование читателя, ибо и сами авторы никакого негодования не испытывают. Белов, например, спокойно, между прочим, сообщает, что в селе был объявлен «добровольный» бесплатный воскресник и «пришла установка», чтобы утром печей не топить и всем поголовно выйти косить. Председатель колхоза, счетовод и бригадир ходили по деревне с бадьей и заливали водой печи у колхозников, которые все ж

затопили, чтобы приготовить себе завтрак. Это что-то вроде кошмарной фантазии из Салтыкова-Щедрина, а Белов говорит об этом, как о некой забавной детали: одна баба не выдержала и сама с ног до головы окатила водой бригадира. Вот смеху-то!

Можаев тоже между прочим, как о чем-то заурядном, говорит о том, что председатель запретил колхозникам за свои собственные деньги сдавать свои деляны лугов для выкашивания неугодному председателю мужику. И никто из крестьян даже не подумал ослушаться, даже в голову никому (в том числе и автору) не приходит, что не может быть у председателя такого права запрещать. В другом месте Можаев столь же прозаически и монотонно, наряду с другими деталями, сообщает нам, что крестьянам запрещено на собственных ручных ткацких станах ткать для самих себя холстины. То, что не возбранялось им веками, даже при крепостном праве, оказалось опасным и запретным при социализме. Но писатель и не думает углубляться в эти дебри. Так вот и задумываешься: а может быть, описание их — не следствие несвободы, скованности цензурой, а просто узость кругозора и неспособность подняться до уровня большой литературы?

Но даже если оставить в стороне все серьезные социальные проблемы и боли России, а посмотреть просто на ту тональность, в какой дается российская жизнь промежуточными бытописателями, то увидим, что и описательства эти не реалистичны. Быт приукрашивается, кошмар и абсурдность советской повседневности затушевываются. И не только городской, где слишком лезут наружу все болячки системы, но даже и деревенской. Современная русская деревня у писателей-деревенщиков — стилизованная, мужики — идеализированы. Ведь самым страшным в современной советской жизни является, пожалуй, не политический гнет, не материальная нужда и даже не общеобра-

зательная идеологическая ложь, отупляющая умы, — все это быстро исчезнет, едва лишь режим падет. Гораздо страшнее одичание народа, его моральное вырождение, оскудение душ, измельчание характеров, утраты корней. От этого излечиться не так просто. Кто жил в сегодняшней русской деревне, не мог не вынести оттуда тягостного впечатления. Повальное пьянство, зверские драки с частыми убийствами, бессовестность, мелкая корыстность, враждебность и подозрительность в отношении к незнакомым людям и как наглядное проявление распада — мерзкое сквернословие, ставшее нормой языкового общения, даже в разговоре официальных представителей власти, даже среди женщин и в присутствии детей. Сам физический облик русского человека изменился, исчезли былые добродушные, открытые, бесхитростные лица (об этом хорошо у Солженицына в «Августе» и у Битова в «Пушкинском доме»). Эту гнетущую, болезненную атмосферу советской деревни сумел передать Солженицын в своем тоже подцензурном «Матренином дворе». Там сохранено реальное соотношение света и тьмы, праведников и неправедных. У деревенщиков же сплошь праведники или полуправедники. Это, вероятно, вызвано понятным стремлением спасти остатки русской нации, разыскать среди дебрей советского безобразия уцелевшую еще все-таки русскую душу. Но нужно не столько умиляться этим чудом уцелевшим святым огонькам в ночи бездуховности, сколько бить тревогу и указывать на опасность. В беспощадной бунинской «Деревне» и в чеховских «Мужиках» чувствуется гораздо больше заботы о судьбе русской нации, нежели в оперных мужиках Некрасова.

Характерно также то, что вину за падение нравов деревенщики возлагают не на антидуховный режим, систематически оболванивающий людей и воспитывающий роботов, а просто на разлагающее влияние городской цивилизации. (Замечу в скобках, что такой

взгляд мне представлялся в значительной мере справедливым, пока я не побывал в деревнях Западной Европы.) Интеллигенты у деревенщиков всегда изображены с иронией. Подлинным носителем национального духа может быть лишь человек из простонародья, неиспорченный, то есть примитивный, живущий инстинктивной жизнью. Невежество и отсталость — необходимые условия чистоты. Право называться народом признается лишь за деревенскими жителями. Но ведь умиляться перед «народом» значит уже отделять себя от него, ведь нельзя же умиляться перед самим собой. И умиления эти адресованы читающим книги интеллигентам (мужики книг не читают) в уверенности, что эти интеллигенты способны воспринять национальные идеалы и загореться любовью к родине.

Во всем этом есть, с одной стороны, запоздальные отголоски наивного руссоизма. Инстинктивная нравственность неиспорченного, естественного человека становится выше сознательной нравственности разумного существа. А ведь давно уже доказана несостоительность сказок о том, что натуральный человек — добр, а цивилизованный — зол. Естественный человек — это зверь, злое животное. Никакой натуральной нравственности не существует. Нравственность есть продукт культуры и, в частности, у русского мужика — культуры христианской. Замена этой культуры советским вакуумом (ибо нельзя же назвать культурой набор лозунгов и пропаганду) и приводит к ужасу оскотинения. А с другой стороны, во всем этом опять все та же наша старая российская болезнь — архаичное народничество. Все еще живо то, что Бердяев назвал толстовским духом русской революции. Презрение к интеллекту со всем его блеском, презрение к личности с ее исключительностью, преклонение перед массой («народом»), перед ее нивелирующей стихией. Все это уже принесло столько бед России и привело к тому, что само слово «интеллигент» стало руга-

тельством, и к тому, что великой нашей державой правят безграмотные Хрущевы и Брежневы.

Невозможно игнорировать тот факт, что пробуждение национального сознания и первые признаки национального возрождения сегодня наблюдаются в среде интеллигенции, а не в деревнях. И носительницей духовного (христианского) возрождения сегодня является наша замечательная новая интеллигентная молодежь, а вовсе не мужики. Именно поэтому такими искусственными, при всех их художественных достоинствах, представляются романы Распутина. Есть какой-то наивный утопизм в этом упорном желании представить деревню как чистый заповедник веры и традиции, откуда придет обновление и спасение России, и в столь же упорном нежелании видеть подлинное духовное обновление и христианский ренессанс в нашей культурной среде, откуда скорее всего и придет (и уже идет) оздоровление страны. Не отсюда ли и безысходный трагизм книг Распутина? Не оттого ли, что он в глубине души понимает утопичность своих надежд, видит вырождение деревни и не верит в силу культурной элиты, в ее способность изменить жизнь всего народа? И ведь не случайно такое ностальгическое христианство Распутина, наивно-фольклорное, смогло пробиться в советскую печать, а тревожно-ищущее, морально напряженное христианство Солженицына, Максимова и теперь позднего Аксенова оказалось опасным и неприемлемым для режима.

Вот тут мы и подошли вплотную к вопросу, что приемлемо, а что нет, почему промежуточных печатают, как получилось, что писатели, которые еще несколько лет назад слыли бунтарями, сегодня стали оплотом режима и те, для кого еще несколько лет назад граница была закрыта на замок, сегодня вдруг стали разъезжать по заграницам в качестве посланцев советской власти. Власть ли либерализировалась или писатели деградировали? Ни то, ни другое.

С ростом самиздата и тамиздата положение советской литературы становилось все более трудным. Печатание таких авторов, как Софронов или Кочетов (или, вернее, одних только таких), становилось скорее вредным для режима, нежели полезным. Слишком очевидными становились ложь и убожество этой литературы в сравнении с вольным русским словом. Ведь доходило уже до того, что роман Кочетова «Чего же ты хочешь» стал настоящим бестселлером в качестве юмористического произведения, его рвали из рук, зачитывали друг другу вслух и хохотали доупаду. Власти фактически оказались перед альтернативой: прекратить книгопечатание вообще как занятие нецелесообразное и даже вредное для режима либо изменить радикальным образом свою тактику. А насчет выработки тактики современные хозяева литературы — мастера. Прошли времена тупых и ограниченных дилетантов, вроде Жданова. Сегодня режим имеет у себя в услужении настоящих профессионалов, умных, циничных, ловких слуг, отлично осведомленных, все понимающих и изощренных в методах разложения душ, совращения слабых, тонкого, почти необидного подкупа и не менее тонкого нагнетания страха, создания ощущения собственного бессилия и бессмыслицы сопротивления. Достаточно посмотреть, с какой ловкостью эти новые хозяева литературы разделались с группой «Метрополя»: одних репрессировать, других припугнуть, третьих приласкать и издать...

А какой тонкий расчет в печатании Распутина, столь чуждого всему духу советской литературы, что издание его книг кажется почти невероятным. Некоторые даже поговаривают о промашке советской цензуры. Но только наивные люди, совершило не знакомые с работой советской цензуры, могут верить в возможность такой серьезной промашки. Это в условиях-то многократной и многоступенчатой перепроверки и подстраховки? И смешно думать, чтобы рядо-

вой цензор стал рисковать собственной головой и взял на себя ответственность за публикацию такой крамольнейшей повести, как «Последний срок». Нет, здесь решение принято на самом высоком уровне. Режим нуждается хоть в каких-то точках контакта с населением. На одном насилии и одной лжи долго не продержишься. Не в марксизме же, полностью дискредитированном в России, искать этих точек соприкосновения? Естественным оказывается обращение к национализму, патриотизму, всегда столь сильному в России и неразрывно связанному с православием. Даже Сталин в трудную минуту приласкал православную церковь и открыл храмы. Но пока что все это лишь первые осторожные шаги. Напечатать-то Распутина напечатали, а вот критику, настоящую и серьезную, о нем запретили. Пусть, кто сам уже дорос до этих идей, их с радостью встретит в этих книгах, а тем, кто еще не дорос, не надо растолковывать. Прежде временно еще. И чревато опасностями.

Литература Бабаевых и Кочетовых утратила свою защитительную функцию. Процесс разложенияшел слишком далеко, тлетворный запах уже начали чувствовать все и повсюду, и такими слабенькими духами его не заглушить. Сегодня сказочками о социалистическом рае уже никого не обманешь, нужно попробовать убедить читателя хотя бы в том, что СССР не хуже других стран. Теперь, чем правдоподобнее, тем лучше. Подчеркиваю: правдоподобнее, а не правдивее. И промежуточные вполне справляются с этой задачей. У них всё «как в жизни», всё, кроме главного. Не узнаем мы из их книг, что речь идет о стране, где более трех миллионов человек томятся в концлагерях, где в переполненных спецпсихбольницах пытают людей, где во Владимирской тюрьме за несколько недель человек становится дистрофиком, где бастующих рабочих давят танками, где крестьяне фактически являются государственными рабами, где суды

чинят расправу над неугодными по указке партии, а тайная полиция прибегает к гангстерским методам, избивая и даже убивая оппозиционеров, где любое проявление несогласия карается как государственное преступление, где гигантский аппарат КГБ контролирует всю жизнь граждан, где марксистская доктрина является общеобязательным мировоззрением и не приемлющих ее объявляют сумасшедшими, где молодежь, собирающуюся для чтения философских сочинений, арестовывают и запирают в дурдома, где возле правительственные учреждений дежурят полицейские и санитарные машины для транспортировки жалобщиков в кутузки и психушки, где Декларация Прав Человека ООН является запрещенным документом, конфискуемым во время обысков, где людей, выступающих за выполнение международных соглашений, подписанных правительством, отправляют в концлагеря, где границы охраняются, как стены тюрьмы, и пытающихся бежать из страны осуждают на 10 лет лагерей, где царит принудительный труд, где мясо и молоко уже стали предметом роскоши, немногим доступным, где алкоголизм стал социальным бедствием, а воровство (у государства) — нормальным явлением, где каждые три дня в среднем приводятся в исполнение два смертных приговора, где создана неизвестная доселе система привилегий, распространяющихся на такие области и такие вещи, которые еще никогда и нигде привилегиями не были, где все важные государственные решения принимаются втайне от народа, а действия властей никем не контролируются, где Центральное Статистическое Управление — самое засекречённое учреждение (а те статистические данные, которые изредка просачиваются вовне, ошеломляют), где ложь стала нормой общественной жизни, а бессовестность — нормой личного поведения.

Нет, совсем другая страна вырисовывается из книг промежуточных писателей. Не уродливый об-

щественный организм, подобного которому еще не производила история, а обыкновенное общество, похожее на все другие, с недостатками, конечно (а где их нет, недостатков?), но ничего страшного собой не представляющее. Именно в этом и состоит функция этой промежуточной литературы: *з а м а с к и р о в а т ь б е з д н ы*. Программа четко выражена в коротенькой фразе Юрия Трифонова. В своем интервью итальянскому телевидению он сказал недавно (как будто он действительно *может* давать интервью): «Конечно, в нашей стране есть еще много недостатков, и мы пишем о них». Всего лишь «недостатков»! И — «еще»! То есть эти мелочи («недостатки») постепенно преодолеваются. А главное, критика этих «недостатков» допустима, то есть в стране есть возможность открытых дискуссий. И это действует, потому что это правдоподобнее. Книги А. Зиновьева, в которых советское общество изображается почти натуралистически, воспринимаются во всем мире как гротескные фантазии, как гиперболизированная сатира, а книги Трифонова или Абрамова — как реалистические.

По тому, с какой готовностью западные коммунисты подхватили всю эту промежуточную литературу, как охотно они переводят, издают и пропагандируют эти книги, приглашают для публичных выступлений их авторов, можно заключить, что речь идет о тактике, совместно продуманной и согласованной с советскими правителями. И чутье у них безошибочное. Всё, мало-мальски возвышающееся над ползучим описательством, разрозненно регистрирующим лишь побочное, неглавное, сразу же оказывается неприемлемым. И не обязательно книги, поднимающие большие проблемы советского общества, а просто книги, в которых находит свое адекватное выражение советская жизнь в любом ее аспекте и подлинная атмосфера советского общества. Наиболее характерен в этом отношении, пожалуй, пример Битова и Аксенова, пи-

сателей вовсе не социальных, а скорее интроспективных. Власть была очень заинтересована в приручении этих двух талантливых писателей. Им снисходительно разрешали то, что строжайше запрещено другим, менее талантливым. Напечатали даже «Поиски жанра» Аксенова и даже не изменив финал. Но как только Битов заговорил в полный голос и создал крупнейшее свое и лучшее произведение, где целиком обнаруживается незаурядная личность автора, сразу же это оказалось неприемлемым для советской печати и для ее западных союзников. И как только Аксенов после своих ранних фальшивых повестей, постепенно освобождаясь от условностей и уступок цензуре, стал идти к подлинному творчеству и расти как личность и как писатель, он тоже стал неприемлем. Подлинное искусство, в котором раскрывается человеческая личность во всей ее глубине и со всеми ее проблемами, страшно советской цензуре. Личность и свобода неразлучны. А свобода — первый враг тоталитарной власти.

Но как же нам относиться к этим промежуточным писателям? Вопрос нелегкий. Ведь не их вина, что режим их использует как орудие своей пропаганды. Не этого они хотели. Им хотелось в рамках дозволенного сказать хоть немного правды, дать русскому читателю хоть какое-то подобие литературы. И не всем же быть героями, не у всех достаточно смелости, чтоб бросить в лицо власти свой членский билет ССП, пустить свои рукописи в самиздат и быть готовым к аресту или преследованиям. Популярная русская поговорка сегодня: «Выбирай себе крест по размеру».

И так легко быть снисходительным к этим писателям, что даже наш великий проповедник жизни не по лжи в порыве великодушия (и благодарности за крохи правды) простил им все и даже поставил их выше тех, кто действительно продолжает сегодня традицию классической русской литературы, традицию предельной правды и духовного подвига, тра-

дицию, выраженную двумя заповедями: «не могу молчать» и «живь не по лжи».

Русская литература всегда была делом серьезным, а сегодня мы живем во времена слишком серьезные. Настало время называть все своими именами. Не время впадать в ребяческий восторг от удачных намеков «обманувших» цензуру или «обманным путем» пропущенных правдивых строк. Это цензура *обманывает нас*, а не мы ее. Разрешенная правда подозрительна самим уже фактом еще разрешения. Значит, есть у власти серьезные мотивы для того, чтобы разрешить эту правду и тем самым прочнее закрыть другую, более важную и более страшную правду.

И не время умиляться тому, что вот наконец-то на Запад стали приезжать настоящие русские люди. Появляются не кагебешные хари, создающие странное впечатление в мире о русской нации, а нормальные русские лица. Вот, мол, хорошо, и они мир посмотрят, и мир посмотрит на них. Кагебешная харя была точным портретом власти, а эти хорошие русские лица — маски, за которыми прячется свирепая власть. Разгуливая свободно по улицам Парижа и Рима, отвечая на вопросы газетчиков и выступая перед телекамерами, эти честные писатели играют в нечестную игру. Правила игры требуют открытости, но открыта и свободна лишь одна сторона, а другая сторона шулерски подсовывает связанного страхом писателя. И как бы удачно ни изворачивался он в своих ответах на вопросы, ложь — само его присутствие на Западе (куда путь закрыт рядовому советскому гражданину) как якобы свободного человека, ложь — само его присутствие на трибуне или в телестудии как якобы свободного оратора, свободно выражавшего свою точку зрения. Долг честного писателя отказываться от этих выступлений, от этих интервью и, быть может, даже от этих поездок. Если он действительно честный писатель, он должен помнить, что его молодые собратья

по перу, отказывающиеся лгать, работают кочегарами, дворниками, грузчиками, что целая литература загнана в подполье, что все это, как-никак, налагает моральные обязательства и на него.

Существуют режимы, преследования и гонения которых почетны, а благодеяния и ласки — позорны. Замечательный сицилийский писатель и историк Изидоро Ла Лумия, живший во времена бурбонского режима, неизмеримо менее жестокого и лживого, нежели советский, узнав о том, что власти решили его облагодетельствовать, пришел в отчаяние и заявил, что он бежит из страны. «Если вы будете меня обласкивать, я уеду, если будете дурно со мной обращаться — останусь», — бросил он в лицо власть имущим. Достойные слова. Слова человека, сумевшего остаться свободным в условиях несвободы.

Бастующим польским рабочим

Восхищаюсь вашим духом и достоинством. Вы даете высокий пример всем народам, угнетенным коммунистами.

Ваш Александр Солженицын

Кавендиши 20. 8. 80

Умер Владимир Высоцкий. Умер неправдоподобно молодым. В 42 года. В самом расцвете своих творческих сил. Его популярность в нашей стране была поистине грандиозной. Он работал в самом лучшем театре страны, он был известнейшим киноактером, а песни Высоцкого звучали в каждом доме России. «Магнитиздат» — явление чисто советское, вызванное гнетом цензуры. «Магнитиздат» дал нашей культуре Галича, Окуджаву, Кима и еще десятки прекрасных имен. Но и среди них Высоцкий выделялся своей универсальностью: песни Высоцкого действительно пела вся страна — и в маленьких рыбачьих поселках, и в общежитиях больших заводов, и в студенческих клубах, за колючей проволокой лагерей и на дачах высокопоставленных советских чиновников. У Высоцкого был огромный талант, возможно, интуитивный — понимать суть вещей. Поэтому герои песен Высоцкого: подводники и альпинисты, уголовники и пьяницы, спортсмены и солдаты, ударники производства и еврей-отказники, пограничники на «нейтральной полосе» и обычновенные Зина и Ваня, смотрящие телевизор, — это все, как говорится, простые советские люди, со всеми своими заботами, горестями и радостями. Высоцкий пел про то, чем живет и о чем думает народ, а потому был истинно народным певцом современной России. И та стихийная многотысячная демонстрация, которая, несмотря на все усилия официальных властей, состоялась на похоронах Высоцкого, лишь подтверждает, что наш народ умеет ценить своих поэтов. За свою короткую жизнь Владимир Высоцкий успел сделать неправдоподобно много. Его сотни прекрасных песен останутся навсегда в русской культуре. Парадоксально, но факт: в основном пластинки Высоцкого изданы не на родине, а за границей. Но песням Высоцкого не страшна колючая проволока погранзастав. Русская культура была и остается единой. Мы склоняем голову над твоей могилой, Володя...

В. Аксенов, А. Гладилин, В. Максимов, В. Некрасов

Литературный архив

Анатолий Якобсон

О СТИХОТВОРЕНИИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА «РОСЛЫЙ СТРЕЛОК, ОСТОРОЖНЫЙ ОХОТНИК»

Стихотворение «Рослый стрелок, осторожный охотник» (1928 г.) загадочно, тема его не очевидна. Попробуем вначале подойти к этой теме извне. «О, знал бы я, что так бывает» (1931 г.) — стихотворение открыто-смыслоное, даже декларативное для Пастернака того периода.

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплёкой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далёко,
Так робок первый интерес.

Но старость — это Рим, который
Взамен турсов и колёс
Не читки требует с актёра,
А полной гибели всерьёз.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

При всей ясности этого стихотворения уточним значение слова *чувство*. *Старость* художника, как полнота зрелости, противополагается молодости, *дебюту*. О каком именно *чувстве* — достоянии зрелости («старости») идёт речь?

Есть у Пастернака тема чувства-одушевления, чувства-темперамента, оно же — чувство-чутьё, чувство-зоркость, например:

Как я присматривался к материям!
Валились зимы кучей, шли дожди,
Запахивались выюги одеялом
С грудными городами на груди.

(«Памяти Рейснер»)

В «О, знал бы я, что так бывает» говорится о *чувстве* другого рода. Поздний Пастернак в стихотворении «Земля» называет это чувство по имени: *страданье*.

Зачем же плачет даль в тумане
И горько пахнет перегной?
На то ведь и моё призванье,
Чтоб не скучали расстояния,
Чтобы за городскою гранью
Земле не тосковать одной.

Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья,
Пирушки наши — завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

«О, знал бы я» и «Земля» — вещи глубоко различные по тональности, по настроению. В «Земле» мягко звучит:

Тайная струя страданья.

В «О, знал бы я» — образ обнажённой боли:

...строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

Но в обоих случаях — боль; и боль, которая — в природе художника, в природе искусства:

На то ведь и моё призванье.

В «Земле» плачущая *даль*, скучающие *расстоянья*, сходящиеся на прощанье *друзья* — естественный единый ряд. Всё людское у Пастернака всегда распространяется на природу. Но у раннего Пастернака главным образом на неё одну и распространяется: человеческое, как правило, обходится без людей. В «Земле» человеческий мотив частью выделен из природы (*друзья* — и далее), частью живет в ней:

...в случайному разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе...

Боль — за людское, за человеческое. Чувство — сочувствие, страдание — сострадание. Так в «Земле». Так и в «О, знал бы я». Как будто художник наедине со своей судьбой, с грозной старостью. Но *актёр*, гибнущий на *сцене*, гибнет во имя зрителя и никак иначе. *Рим, раб, гибель* — всё это превращает сцену в арену самозакланья. Пафос стихотворения — пафос жертвенности, *чувство* тут — нравственное чувство. Для позднего Пастернака, начиная с 40-х гг., заявлять свое нравственное кредо — обычное дело. В стихотворении «О, знал бы я, что так бывает», в начале

30-х гг., поэт предвосхищает свое будущее. В книге «На ранних поездах» переломной для Пастернака поры (1936 — 1944 гг.) цикл «Художник» открывается стихотворением, которое своей темой явно перекликается с «О, знал бы я».

Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.

.....

Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.

.....

«Поздний опыт» — та же «старость», «арена» — та же «сцена», «боренья с самим собой» — то же «чувство», нравственное начало.

У Пастернака 10-х — 20-х гг. есть мотивы, составляющие некий контраст теме «О, знал бы я».

У старших на это свои есть резоны.
Бессспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет седой резедой горизонт.

(«Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе»)

Старшие — те, кто глухи к резонам поэзии, кому не дано созерцать и постигать мир. Высшее знанье, последняя мудрость:

...скрытый ото всех
Нескромных — самый странный, самый тихий,

Играющий с эпохи Псамметиха
Углами склон пустыни детский смех...

(«Тема»)

Детский смех мира и детский смех поэта — неразделимы. В молодости художника — вечная молодость мира. Старость — оскудение жизни, конец поэзии:

Я слыхал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, бога нет в бору.

(«Воробьёвы горы»)

Тот,

Кому ничто не мелко,
Кто погружён в отделку

Кленового листа
И с дней экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебастра, —

несомненно бог молодости:

Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг*

(«Давай ронять слова»)

* В множественности «Ягайлов и Ядвиг», молодожёнов — бесконечность молодости (образ ассоциируется не с браком, а только с заключением брака, ибо именно заключение брака между Ягайлом и Ядвигой — достояние истории).

«С эпохи Псамметиха», «с дней экклезиаста» творец, украшая, новородит, омолаживает природу. Бог — художник. И художник — бог:

Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.

Бог — языческий:

Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.

(«Любимая — жуть...»)

И ещё:

Дыша внушеньем диких орхидей,
Кто пряностью не поперхнется? Разве
Один поэт, ловя в их духоте
Неведенье о чистоте и грязи.

(«Любка». Ранняя редакция)

Разумеется, чтобы толковать о поэзии Пастернака — раннего или позднего — с точки зрения добра и зла, надо рассматривать самую субстанцию этой поэзии, а не тему «Пастернак о поэте» или «автор о себе». М. Цветаева справедливо подвела итог своему разговору («Световой ливень») о «Сестре моей жизни»: «И никто не захочет стреляться, и никто не захочет расстреливать.

И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.»

Мы же заметим только, что тема художника у раннего Пастернака — это обычно тема исключительности художника, его мира, его религии:

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу.

(«Как бронзовой золой жаровень»)

Религия — жизнь, мыслимая как искусство и ощущаемая как молодость:

Это полдень мира. Где глаза твои?

(«Воробьёвы горы»)

Исключительность художника — в его особой близости к жизни, т. е. собственно в художестве — в нем и живет чувство, в нем и бьется душа.

О, в камне стиха, даже если ты канула,
Утопленница, даже если — в пыли,
Ты бьёшься, как билась княжна Тараканова,
Когда февралём залило равелин.

А в остальном:

О, вольноотпущенница, если вспомнится,
О, если забудется, пленница лет.
По мнению многих, душа и паломница,
По-моему — тень без особых примет.

(«Душа»)

От начала литературного пути Пастернака до конца тема претерпевает коренное изменение: от «вольноотпущенница... тень без особых примет» («Душа». Поверх барьера) — до «душа моя, печальница о всех в кругу моём» («Душа». Когда разгуляется).

В «О, знал бы я» — решительный поворот темы. Её первый поворот — тремя годами раньше в стихотворении «Ро слый стрелок, осторожный охотник».

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьём на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной,
С ночи одень меня в тальник и лёд.
Утром спугни с мочажины озёрной.
Целься, всё кончено! Бей меня в лёт.

За высоту ж этой звонкой разлуки,
О, пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.

Ключ к теме стихотворения в *чувстве*. Это нравственное чувство (как и в «*О, знал бы я*»), но сила, которая в тягость свободному полету поэзии.

Чувству на корм по частям не кроши —
здесь значит: не убивай во мне художника.
Вспомним:

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

Для автора «*О, знал бы я*» *кончается искусство* — в том смысле, что на смену ему приходит искусство высшее, вовсе лишенное искусственности. Стало быть, главный смысл слов «*кончается искусство*» — фигуральный, даже обратный. А всё-таки проглядывает как бы отсвет прямого смысла этих слов:

Когда строку диктует чувство
.....
И тут кончается искусство.

Этот вот самый смысл и связывает автор «Рослого стрелка» со словом *чувство*. Автор «О, знал бы я» в сущности рвется к «старости» («чувству»), где «дышишат почва и судьба». (Раскаянье в избранном пути: «о, знал бы я, что так бывает», «от шуток с этой подоплекой я б отказался наотрез» — есть фигура красноречия, литературно-ораторский прием.) «Полная гибель всерьез» оборачивается в «О, знал бы я» апофеозом художника, вершиной искусства. Автор же «Рослого стрелка» смотрит на «старость» («чувство») во многом (как увидим дальше, не во всём) глазами раннего Пастернака, у которого поэт исключителен — исключен из всякого ряда — а поэзия есть молодость.

Допустим, что две первые строки стихотворения:

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души —

метафора времени.

Время каждого «добирает» до остальных, всех строит в один ряд — постепенного «крошения».

Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной.

Потому и *смерть*, потому и *позорная*, что добирают *сотым до сотни*, что крошат *по частям*.

Цельность художника есть цельность его восприятия и выражения. Всегдашняя забота, вечная страсть Пастернака — воссоздание мира в цельности — в неповторимости и полноте: «Целый мир уложить на странице, уместиться в границах строфы» («После выюги»). Но для позднего Пастернака «чувству на корм» — и есть высшая цель, а для раннего — крошение по частям.

Мольба не о пощаде (сразу — неумолимость: *рослый стрелок, осторожный охотник*), мольба о последнем *взлёте*.

Образ взлёта:

Дай мне подняться над смертью позорной
.....
Целься, всё кончено! Бей меня в лёт.

За высоту ж этой звонкой разлуки...

Образ взлёта поэтического:

За высоту ж этой звонкой разлуки...

Образный строй стихотворения таков, что поэзия поднимается ввысь, а *пренебрегнутое* ею, то, что есть сфера *чувства*, остается внизу. Но как раз оно-то, пренебрегнутое, к разлуке с чем ценою жизни рвется поэзия, как раз оно, оставленное на земле, и становится предметом высшей поэтизации:

За высоту ж этой звонкой разлуки,
О, пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.

Такова благоговейная интонация обращения, таков лиризм всей строфы. Эта лирическая волна откатывается назад, распространяясь на *чувство*: «пренебрегнутое» — его владенья; распространяясь на *стрелка*: он работает «чувству на корм».

Рослый стрелок — метафора не только времени (возраста, «старости»), но внутреннего голоса, совести, второго «я»:

Призрак с ружьём на разливе души.

Обращение к *призраку* — не просто мольба к чужеродной роковой стихии, но самовыражение, исповедь, молитва.

Двойственно в «Рослом стрелке» *чувство*. Последняя строфа — залог того, что победное шествие *чувства* в дальнейшем у Пастернака неотвратимо. Это и было заявлено через три года стихотворением «О, знал бы я, что так бывает».

ЯКОБСОН Анатолий Александрович — родился в 1935 г. в Москве. Окончил исторический факультет педагогического института и до 1968 г. преподавал в школе. Учитель русской истории, он много занимался литературоведением: его знаменитые внеклассные лекции во 2-й математической школе положили начало его книге «Конец трагедии» (Изд-во им. Чехова, 1972). Был блестящим переводчиком поэзии, особенно испанской и испаноязычной. С середины 60-х годов один из активнейших участников правозащитного движения, позднее один из редакторов «Хроники текущих событий». В 1973 г. под прямой угрозой ареста принимает решение эмигрировать. Погиб в Израиле в 1978 г.

Галерея
«Москва — Петербург»
Художественный директор Александр
Глазер

Единственная в Европе галерея современного неофициального русского искусства.

Картины, акварели, рисунки, офорты, литографии известных русских художников: Вячеслава Калинина, Валентины Кропивницкой, Олега Лягачева, Эрнста Неизвестного, Оскара Рабина, Бориса Свешникова, Валентины Шапиро, Михаила Шемякина, Владимира Янкилевского и др.

Галерея открыта со вторника по субботу включительно с 14 ч. до 19.30 ч.

Адрес: 11, rue de l'Echaudé,
75006 Paris
Metro Saint-Germain de Près ou Mabillon
Tel: 326-09-51

Наша почта

КОНЬ И О ЧЕТЫРЕХ НОГАХ, ДА СПОТЫКАЕТСЯ

Демократическое или правозащитное движение существует уже более пятнадцати лет. В ряде статей в русской эмиграционной прессе, появившихся, главным образом, в 1976-78 годы, я дал некоторые рекомендации и высказал свое отношение к этому движению¹. Несмотря на то, что правозащитники не удостоили мои предложения ответом, мне хочется для пользы дела вернуться к двум из них:

1. Правозащитное движение в СССР должно стать забастовочным движением².

Право на забастовку — показатель свободы человека в любом государстве. Наличие этого права поддается контролю населения СССР и мирового общественного мнения и не может утонуть в потоках лжи режима об осуществленных им правах человека. Для подготовки забастовок потребуется частичная свобода слова, собраний, союзов.

Естественно, гораздо спокойней понимать права человека как сумму прав на беспрепятственный выезд из страны, свободные беседы с иностранными журналистами, подписание обращений, петиций и т. п. Но одни эти права не удовлетворяют насущных потребностей населения, и поэтому правозащитное движение не нашло отклика в народе.

2. Стратегия борьбы с режимом в СССР должна быть приемлемой для разных слоев населения³.

1. Сборник статей «Горе — не беда», 1978, Париж.

2. «О стратегии борьбы с режимом в СССР» («Горе — не беда», стр. 33).

3. Там же, стр. 32-35.

Каждый, кто, пренебрегая опасностью, борется, иногда даже в одиночку, с многоголовым чудовищем, принадлежит к силам освобождения. Не мешая им, диссиденты занимаются тем, что считают своим долгом. Они разделяются на два течения (диссиденты-защитники и диссиденты-законники) и оказывают помощь «ходокам» (я называю так тех, кто открыто борется за улучшение условий жизни, хотя и не понял еще необходимости устраниния для этого коммунистической власти). Отказавшись обсудить предложенную стратегию, диссиденты отстранились от жизненно важных для народов нашей страны вопросов.

Позиция правозащитников в отношении миллионов заключенных в нашей стране представляется мне недопустимой. По данным Международной Амнистии, в СССР только 10 000 политических заключенных, включая диссидентов. Но среди четырех миллионов заключенных менее двух миллионов настоящих уголовных преступников — хулиганов, воров, убийц, грабителей. Остальные два миллиона — безымянные врачи режима, нарушившие его законы в знак ненависти к нему. Ежегодно режим расстреливает полторы-две тысячи из них. Таковы реальные размеры народного сопротивления, которые режим стремится скрыть, навязывая миру свою концепцию преступности. Правозащитники прекрасно знают, что в подавляющем большинстве случаев режим не осуждает верующих за их религиозные убеждения, а подстраивает им дела о хулиганстве, воровстве, тунеядстве и представляет борцов против национального угнетения как бандитов или насильников. А разве мыслимо применять мерки нормального государства к тем, кто тащут с заводов и полей из нужды и чувства протesta против жутких норм выработки, тотальной эксплуатации и беспрарвия? Усилия диссидентов должны быть направлены на защиту всех жертв режима, не оставляя ему воз-

можности шельмовать людей, обзываая их уголовными преступниками.

В последнем номере журнала «Континент»⁴ Буковский исчерпывающе разъяснил принципы правозащитного движения: «...правозащитный характер движения — не мимикрия, не тактика, а так же, как отказ от насилия и подполья, принципиальная наша позиция. Разумеется, для тех, у кого цель — правовое государство». «Насилие плодит насилие, попытка обороняться произволом против произвола лишь увеличивает произвол». Непонятно, почему Буковский считает, что только диссиденты отказываются от произвола и насилия, а другим борцам с режимом они свойственны. Быть может, убийца и погромщик — синонимы революционера для правозащитников, и они представляют его как бородатого детину с ножом в зубах или обрезом по плакатам гражданской войны о врагах советской власти? Не потому ли, что режим был установлен с помощью произвола и насилия, Буковский не видит других средств освобождения от него?

Я приложил немало сил, чтобы разработать план революции современного типа против режима, революции в умах⁵. С этим планом я приехал в 1972 году на Запад и сделал все, что мог, чтобы он стал известен населению нашей страны, эмигрантам всех волн из СССР и иностранцам. Не так уж много предложений для освобождения от режима: интервенция и блокада, выдвинутые белой эмиграцией, партийная революция, молекулярная теория Поремского, моральная революция Солженицына, революция в умах Панина. Если Буковский не ознакомился с моим планом, отвечая сторонникам освобождения от режима револю-

4. В. Буковский. «Почему русские ссорятся?» («Континент», 1980, № 23).

5. На русском план проведения революции в умах изложен в моих книгах «Мир-маятник» (1977, Тель-Авив) и «Горе — не беда».

ционным путем, то на него падает тень Митрофанушки, который был освобожден своей матушкой от изучения географии, поскольку существуют извозчики. Если он сознательно умолчал о революции в умах, то мне больно, поскольку для меня Буковский в СССР был античным героем.

Каковы основные положения революции в умах?

— Опора на *микробратства*, образованные в ходе жизни под террором естественным путем из людей, которые полностью доверяют друг другу. Постепенное объединение микробратств через *мостики*, которые они перебрасывают между собой.

— Правдивая информация миллионов микробратств с помощью радиостанции сил освобождения, находящейся за пределами СССР. Ее цель — разоблачить преступления режима, разгромить марксизм, доказать пустоту и вред безбожия, предложить новые философские взгляды, развивающие в людях великолдушие и исключающие мстительность и сведение счетов.

— Применение принципа «сила против насилия в ходе революции»⁶.

— Подготовка населения к новым формам жизни.

— Формирование сил освобождения, согласных с революцией в умах.

— Координация действий на всех стадиях революции.

Вероятно, Буковский бережно обращается с биологической терминологией в своих научных работах, но, говоря о судьбах страны (а следовательно, и мира), он смешивает силу с насилием или не понимает их принципиального различия.

«Даже если положительный результат возможен, достижения его медленны. Что ж —

6. «Мир-маятник», стр. 22-26.

Нам не надо скорой помощи,
На бы медленную помощь.

По крайней мере, не будете чувствовать себя виноватыми в произволе ни прямо, ни косвенно»⁷.

Понтий Пилат умыл руки, но лишь после того, как сделал несколько существенных предложений. Буковский умывает руки сразу: он и его друзья-правозащитники отказываются заниматься освобождением страны. Они верят, что режим переродится или безболезненно исчезнет, несмотря на то, что это противоречит всему, что они сами о нем знают. Но не верх ли легкомыслия основывать на этой вере правозащитное движение?

Буковский написал прекрасную книгу «И возвращается ветер...», которая никак не вяжется с установкой правозащитников на перерождение режима. В книге Буковский смел, решителен, отзывчив; в статье в журнале «Континент» он проповедует медлительность в момент, когда в Афганистане режим Кремля истребляет газами население целых районов, в том числе детей, женщин, старииков. Мир не успел еще забыть три миллиона камбоджийцев, уничтоженных тем же террором, который в СССР свирепствует уже более 60 лет... Может, стоит все же поторопиться?

«Бессспорно, всякие предсказания скорой революции в СССР нелепы, а пропаганда ее — преступна, как и пропаганда террора»⁸.

Тerror — специальность режима, и о терроре следует говорить с ним. Силы освобождения против всех видов террора и признают лишь узаконенное возмездие за доказанные преступления. Категоричность тона Буковского извинительна, если он ассоциирует революционную программу с ленинскими революци-

7. «Континент», № 23.

8. Там же.

онными лозунгами («Грабь награбленное», «Смерть буржуям») или демагогическими фразами типа «мир хижинам — война дворцам». Но разве можно подходит столь упрощенно к вопросу спасения человечества, находящегося на краю пропасти?

Человечество может избежать общей катастрофы только при напряжении мысли всех, кто способен внести вклад в борьбу с режимом, и не следует от нее отстраняться под благовидным предлогом. Идеи правят миром, и святое право человека участвовать в их борьбе. Поэтому следует сделать грозный вывод о тех, кто занимается удушением мысли. Неужели это неясно правозащитникам?

Критика Буковским революций, направленных против традиционных форм правления, справедлива. Но эта критика неприменима к революции против коммунистического государства двадцатого века. И методы устранения этой структуры должны быть новыми, а не сходными с методами, применявшимися в прошлом. Мне удалось на основе универсальных законов природы установить признаки подлинной народной революции⁹, отличающейся от иных переворотов и взрывов. Соответственно, борьбу с коммунистическим режимом средствами революции в умах следует считать подлинно народной революцией.

Итак, Буковский категорически отказывается:

- от подпольной борьбы, то есть от связи с народными силами освобождения,
- от любых действий, делая ставку на загадочные медленные изменения, которые почему-то должны привести к правовому государству, а не к всемирному ГУЛагу,
- от пропаганды революции против режима, что равносильно на мой взгляд отказу от идейной борьбы.

9. «Что следует называть революцией?» («Горе — не беда»).

Кроме того, Буковский считает, что революционную борьбу с режимом возможно вести только методами произвола и насилия.

После такого самоограничения правозащитникам остается:

— воздействовать на мировое общественное мнение, информируя его о произволе над диссидентами и ходоками,

— хлопотать о выпуске диссидентов за границу,

— собирать деньги для политзаключенных и их семей.

Нет спора, что это нужно делать, но возможно ли этим ограничиться?

Мне вспомнился прекрасный рассказ Аверченко «Мурка». В начале 20-х годов в РСФСР была создана Мурашевская комиссия по расследованию какого-то злоупотребления, которую сокращенно назвали Муркой. Затем, в свою очередь, Мурашева расстреляли, а о расследовании забыли. Как-то в Мурку зашла другая комиссия и прошлась по ее главным отделам: заработной платы, отпусков, отопления, снабжения. И выяснилось, что все отделы обслуживали только сотрудников Мурки, у которой не было других обязанностей.

Конечно, диссиденты — не Мурка. Они внесли свою лепту в расшатывание режима, и некоторые из них исполнены самоотвержения. Тем более следует обратить внимание правозащитников на явную слабость принципов, на которые они опираются. Давно уже стало их движение хромать от неверных установок.

«Горе — не беда» и эта статья написаны не врагом правозащитников, а их требовательным доброжелателем.

25.5.80

Димитрий Панин

РЕМАРКИ, ПОМЕТКИ, ПОМАРКИ

Прежде всего, одно корректурное исправление (с посыпанием головы пеплом). Прочитав одну из цитируемых Д. Паниным фраз Буковского, кинулась смотреть журнал и, действительно, на стр. 196 прочитала: «Даже если положительный результат возможен, *достижение его медленны*». Разумеется, надо: «*достижение его медленно*». Впрочем, это Д. Панин в таком смысле и понял. Но вот дальше-то все переосмысливается до неузнаваемости — так, что первая моя мысль была о читателе *tam*, который не имеет возможности сверить цитаты, приводимые здесь, в № 25, с контекстом статьи, напечатанной в № 23. Ему останется только поверить, что В. Буковский и правозащитники вообще склонны «отказаться... от любых действий, делая ставку на загадочные медленные изменения», что «они верят, что режим переродится или безболезненно исчезнет», и основывают «на этой вере правозащитное движение». Но ровно перед процитированной Д. Паниным фразой Буковский говорит о тех действиях, которые он (по свойственной многим из нас привычке и без искажения, хотя и не в образе «кантичного героя») характеризует как «качание прав».

Далее, согласно Д. Панину, правозащитное движение понимает права человека «как сумму прав на беспрепятственный выезд из страны, свободные беседы с иностранными журналистами, подписание обращений, петиций и т. п.». Неясно, что входит в это «и т. п.», — вероятно, что-то совсем второстепенное, вроде, например, свободы совести и защиты прав верующих, свободы выбора места жительства (внутри страны!) и свободного развития национальных культур, свободы участия граждан в обсуждении внешней и внутренней политики и экономических проблем своей страны. (Я тоже могла бы поставить «и т. п.», продолжая приводить примеры тех прав, за защиту и

реализацию которых идут и идут аресты все эти последние месяцы.) Ясно только, что для Панина в это защищаемое правозащитниками «и т. п.» не входит «право на забастовку — показатель свободы человека в любом государстве» и, кажется, даже не входит «частичная свобода слова, собраний, союзов». За нее-то, за частичную, тоже сажают вовсю — в этом и состоит ее частичность. Явочное осуществление свободы слова и свободы объединений входит в ту «методику» правовой защиты, о которой говорит Буковский как об «основной заслуге правозащитного движения», усваиваемой религиозными, национальными, рабочими движениями.

Что же до права на забастовку, то если до чтения статьи Буковского Д. Панин ничего не слышал о трудных началах рабочего движения в СССР в последние годы — статья могла бы натолкнуть его на материалы свободных профсоюзов и на более ранние, чисто правозащитные документы Группы-Хельсинки о социально-экономическом положении рабочих (в том числе как раз документ в защиту рабочих, осужденных за попытку организации забастовки).

А почему это право — основной показатель свободы человека в любом государстве? Среди социально-экономических, даже среди одних трудовых свобод, эта — явно не фундаментальная: прежде всего, она не касается каждого. Запрет принудительного труда, то есть свобода *от* принудительного труда — вот, может быть, один из основных показателей свободы человека? А еще, наверно, основнее все та же свобода слова, которая нужна не только для подготовки забастовок, но и для завоевания права на забастовку.

Возвращаясь к тексту Буковского, я опять поддаюсь впечатлению, что Д. Панин просто невнимательно прочитал его. Буковский не отвечал «сторонникам освобождения от режима революционным путем», он отвечал Валерию Чалидзе, который, в свою очередь,

писал, что повсеместное недовольство «не есть гул революционного вулкана». — Несомненно, — соглашается Буковский, расходясь с Чалидзе в позитивном объяснении (что же есть это недовольство) и в предположении о том, когда же раздастся в обществе «гул революционного вулкана». Так что не было у него никакой необходимости разбирать все гипотезы о нетрадиционной революции, когда речь идет заведомо о революции насилиственной, при которой «с таким запасом ненависти, который накопился у нас в стране, миллионам скрутят голову».

Вот — о ненависти. Ее никто не отрицает: ни Чалидзе, ни Буковский, ни Панин. Но отсюда до «двух миллионов безымянных врагов режима, нарушивших его законы в знак ненависти к нему», — далеко. Мне со своим скромным тюремным сроком не равняться с Д. Паниным, но по данной теме у меня есть преимущество: я была в Бутырке, притом в исключительно уголовной среде, не при Сталине, а в 1970-71 гг. Число жертв режима среди уголовников непомерно, «тащут с заводов и полей из нужды» — это верно, но «из чувства протesta»?! Другой род жертв — совершившие такие преступления, для которых в нормальных сводах законов и места-то нет, как валютчики, как подпольные промышленники, или место есть, да обоснования неслыханные (поди объясни западному человеку, что импортное пальто или диван без взятки не купишь). Сами их преступления порождены режимом, но — отнюдь не ненавистью к нему, не протестом, а элементарным желанием наживы (или все той же нуждой). Самое большое число жертв — как раз отнесенных Д. Паниным в настоящие преступники — кто сидит «по хулиганке». За пьяную драку можно сесть и до семи лет (это значит: никого не поувечив, на увечье есть свои статьи), а на меньшие сроки идут и за скандал (словесный) в коммунальной квартире, и по доносу о скандале, был ли, не был ли, были бы свиде-

тели. Только это обычно не участника «народного сопротивления» в лагерь спровождают, а либо мужа-пьяницу, либо соседку одинокую (комнату чтоб занять) и т. п.

Людьми же, которым по политическим или религиозным мотивам фальсифицировано чисто уголовное дело, и Эмнести, кстати, занимается (когда информация есть, раздобытая и переданная «умывшими руки» правозащитниками). Знание о подобных случаях — одна из причин, по которым, располагая сотнями имен советских узников совести, Эмнести полагает их общее число примерно в десять тысяч.

Не обещав систематического ответа, я не берусь за исчисление прочих преувеличений (читатель найдет их легко и в большом количестве) — ни за серьезную полемику по существу. Объясню, почему. Дело в том, что я и есть вышеупомянутый Митрофанушка, и в роли географии выступают книги Д. Панина, без чтения которых полемика не может быть, как говорится, на уровне, а в роли благодетельных извозчиков — вышеприведенная статья о четырехногом коне. Она освободила меня от повинности подробнее узнать, какие «дал... рекомендации» правозащитному движению ее автор.

«Категоричность тона» Панина «извинительна» — кое-как, — если правозащитниками и диссидентами он по ошибке называет одних эмигрантов. Но, видимо, он не делает этой ошибки.

Я не посмею от имени своих далеких друзей поблагодарить Д. Панина за снисходительное признание, что «конечно, диссиденты — не Мурка» и «внесли свою лепту». Я не посмею и обещать ему, что движение сменит неверные установки на верные и перестанет «хромать», что оно исполнит все панинские «должно» и что диссиденты больше не будут «страшно далеки... от народа». (Кажется, я запуталась в цитатах.)

Никто из нас никогда не приказывал другому: «Иди, собирай информацию», «Иди, помогай заключенным», «Иди, свободно беседуй с иностранными журналистами», «Иди, бастуй» — как-то каждый сам чувствовал, что он делает, что он хочет сделать (хочет: то есть *чувствует*, что *должен*, *сам должен*, а не — *знает*, что *обязан*), и каждый свое что-то делал (Лариса Богораз до того, как идти на Красную площадь, протестовала против вторжения, объявив забастовку, — и такой был случай). И даже когда действие было коллективным: семь человек на площади или сто семьдесят подписей под письмом протesta — это каждый раз было столько же индивидуально принятых решений, столько же порывов личной нравственной ответственности. Может быть, эти-то «неверные установки» движение и «должно» сменить? Тем более, не из-за них ли правозащитники ощутили такую родственность в словах Солженицына о «моральной революции» и пропустили мимо ушей, мимо глаз научно обоснованную и железно спланированную «революцию умов».

Нет, статья Д. Панина не написана врагом правозащитников — она просто написана тем, «кто знает, как надо».

8/9. 6. 80

Наталья Горбаневская

Колонка редактора

НЕМНОГО ОБ ЭМИГРАНТСКИХ РАСПРЯХ

К сожалению, легенды об этих мифических «распрях» упорно распространяются не только службой дезинформации КГБ, а также их вольными или невольными доброхотами на Западе, но и определенного типа людьми из кругов, близких нам по духу и общественной позиции, внутри страны. Поэтому я считаю необходимым поставить, наконец, как у нас выражаются, точки над «и».

Если читатель внимательно прочтет вторую страницу обложки «Континента», то сможет убедиться, что в его редколлегию входит (за немногими исключениями) наиболее представительная часть нашей культурной и демократической оппозиции. В ее составе читатель найдет имена таких писателей, как И. Бродский, Н. Горбаневская, В. Некрасов, Н. Коржавин, и таких деятелей демократического движения, как В. Буковский, А. Гинзбург, П. Григоренко, Э. Кузнецов и общепризнанный лидер этого движения Андрей Сахаров. Первую русскую эмиграцию представляют в ней достаточно известные в современной России имена: Странник и А. Шмеман.

«Континент» плодотворно и доброжелательно сотрудничает со всеми ведущими печатными органами русского Зарубежья: «Вестником РХД», «Гранями», «Русской мыслью», «Новым русским словом», «Эхом», «Третьей волной», «Хроникой» и целым рядом других.

Но как во всякой среде, так и в разреженной атмосфере эмиграции или, вернее, особенно в эмиграции, состоящей из людей, оторванных от своих корней и

родственного им окружения, трудно, если вообще возможно, установить всеобъемлющий мир и, как говорится, полное растворение в воздухах. Тем более, что болезненные амбиции некоторых литературных и окололитературных эмигрантов третьей волны умело подогреваются лицами и организациями, для этого здесь и существующими.

Но, как это ни прискорбно, деятельность считанных единиц среди нас, кто с первых же шагов за рубежом взял себе за правило, не гнущаясь средствами, возбуждать в эмиграции атмосферу перманентного скандала, имеет некоторый успех не только здесь — в изгнании, но и на родине. Они громко прокламируют свою провокационную возню как пример «широкой взглядов» и «свободомыслия», но, странное дело, мишенью их нападок, как правило, оказывается круг людей и движений, неугодных Советской власти вообще и КГБ в частности. И, разумеется, прежде всего Александр Солженицын.

В этой немногочисленной, но весьма крикливой группе заметно выделяются несколько «профессоров» новой выпечки, громко именующих себя «изгнаниками» и «политическими эмигрантами», что не мешает одному из них, после семи лет своего заграничного «диссидентства» получить от родного правительства постоянный советский паспорт для проживания за рубежом, а другому отправлять свою жену в беспрепятственные вояжи по маршруту Париж — СССР и обратно. Не правда ли, пикантно!

В связи со всем вышеизложенным, я хотел бы раз и навсегда, со всей ответственностью определить для нашего читателя в Советском Союзе и здесь, в эмиграции, наше кредо взаимоотношений с этой публикой: никаких «распрай», ибо — многое чести для этих господ!

Критика и библиография

СВОБОДНЫМ ОТ ЛЖИ ЯЗЫКОМ

О «Памяти» уже много и хорошо писали, и все-таки хочется еще раз подчеркнуть, как важно ее появление для нас, воспитанных на воспоминаниях «старых большевиков». Не говоря уже о необходимости помнить: ведь «если не помнить, то история повторится, приговаривая к повторению и нас самих». Память нужна и тем, кому пришлось оторваться от реальности родной земли, — чтобы не усомниться в пережитом, не поддаться ностальгии, — и тем, кто в отрезанном от своего прошлого мире ищет связь между вчера и там, сегодня и здесь. Прошлое в тоталитарных странах становится зеркальным отражением настоящего, отдаленного и потому смутного: детали расплывчаты и общий — красный — цвет заполняет собой все подвластное взгляду плоское пространство. «Борьба за прошлое, — говорит Милован Джилас, — это борьба за сознание». Государственная собственность на историю — это присваивание человеческого сознания, отчуждение его от исторического опыта, с тем, чтобы сделать из него пустой сосуд, готовый к принятию «новой морали». Сегодня в борьбу за сознание вступила «Память».

Очередной выпуск исторического сборника является событием значительным уже тем, что он — очередной, не первый и не последний, и даже если обилие трагических материалов наводит на грустные мысли, «Память» — словно струя свежего воздуха в затхлости советской исторической науки.

Нынешний, 3-й, выпуск так же богат, как и предыдущие, так же строг и научен в подходе к публикуемым материалам, и нельзя не восхищаться работой составителей, разыскавших и давших такое количество информации в примечаниях, биографических справках и дополнениях.

В открывающем сборник разделе «Воспоминания», помимо окончания воспоминаний Р. И. Пименова «Один политический процесс» (окончания вынужденного, «из-за ограниченности журнального пространства»), опубликован очень интересный текст Я. Мейерова о Пречистенских рабочих курсах и Пречистенском практическом

Память. Исторический сборник. Выпуск 3. Москва, 1978, Париж, YMCA-Press, 1980.

институте в начале 20-х годов. Вспропоникающая советская «историология» давно уже покрыла водопадами фраз Китех правды об этом периоде истории, подточив и самый интерес к нему. Но горячности и живости повествования Мейерова удается пробиться через толщу вод. Рассказ его наталкивает на мысль о том, что для пересмотра концепций и штампованных мировоззрений необходимо осознать их присутствие в собственном уме, в его структуре. Для этого нужно столкновение, но не с иными концепциями и мировоззрениями, а с иным физическим восприятием, с иным — моральным — подходом. Этим-то и замечателен не такой уж литературный рассказ Мейерова, особенно когда речь идет о Потресове. Здесь вместо нарицательного, для кого положительного, для кого отрицательного, имени — человек, которым рассказчик восхищается сам по себе. В том и ценность «Памяти» и воспоминания: они показывают, что главное — не в «за» и не в «против», главное в не всегда произносимом, но всегда подразумевающемся «быть». Такой подход совершенно чужд советской морали, а поскольку она этого не пропагандирует, но просто основывает всю пропаганду на неоспоримости своей правоты («кто не с нами, тот против нас»), борясь с пропагандой, не всегда замечаешь, что споришь с формой выражения, а не с ним самим. В этом отношении перекликающаяся с воспоминаниями Мейерова статья Т. И. Тиля о социал-демократическом движении молодежи 20-х годов, несмотря на ее очевидный документальный и исторический интерес, издает звук попривычнее из-за изначальной определенности авторской позиции: защищая и защищаясь, он практически признает за системой право судить, а сведение счетов само по себе неубедительно.

Большое впечатление производят воспоминания Шварца и Пантелейева о Чуковском. Чуковский — это еще один собирательный образ советского лубка, но ему еще и повезло — благодаря своей дочери, Лидии Корнеевне, он как бы приобрел новый кредит посмертного морального доверия, и личность, казалось бы, насовсем спряталась за двойным экраном. Но вот пишут о нем два разных человека — и проступает, становится выпуклым искореженный человек. Очень хотелось бы, чтобы такого рода рассказы о «замечательных людях» постоянно печатались «Памятью».

У «Памяти» есть еще одно достоинство — она доступна и интересна всем, даже и самым несведущим людям. Наверное, настоящая история пишется просто, и там, где лжи нужны испещренные терминами страницы, правде достаточно нескольких фраз. Личная история всегда освещает общую, поэтому и история летчика Ш.,

вступившего, подобно сказочному герою, в борьбу с драконом, точнее, с одной из его голов, Берий, и судьба русского общественного деятеля А. Д. Самарина, с любовью описанного его дочерью, и 60 дней в камере смертника М. Велицкого не менее красноречивы, чем исторические обобщения и цифры.

Во многих отношениях интересны и полезны материалы, опубликованные в разделе «Рецензии». Приятен факт, что, говоря о вполне официально опубликованном «Биобиографическом словаре советских востоковедов», И. Вознесенский не делает скидки на существующие запреты и ограничения. Он рассматривает «Словарь» как вклад в мировое здание культуры, и чувство достоинства — личного и национального — не позволяет ему идти на компромиссы с историей по-советски. Было бы неплохо, если бы возможные будущие иностранные издательства использовали, в качестве необходимого дополнения, собранные И. Вознесенским материалы. В этом же разделе опубликованы неожиданные и любопытные документы: отзывы на книгу Анатолия Марченко «Мои показания», спровоцировавшую недавно свое десятилетие. Печатая такой материал, «Память» не только отдает должное книге, но и становится еще одним печатным органом свободной от страха и самоцензуры литературной критики.

Трудно было бы перечислить все, что принесло с собой очередное дитё неподцензурной истории. Пусть читатель сам открывает богатства «Мелочей» и «Varia». Разочарован он не будет, в этом можно не сомневаться.

Сборник заканчивается поздравлениями «Хронике текущих событий». Редакция «Памяти» говорит о существующей между «Хроникой» и «Памятью» духовной связи. И если первая живет в сегодня, то вторая вызывает к жизни вчера. Будем надеяться, что где-то в будущем они встретятся и сольются, а настоящее заговорит их свободным от лжи языком.

Н. Дюжева

АКТУАЛЬНЫЕ МЕМУАРЫ

Один из крупнейших общественных деятелей предреволюционной России — Иосиф Владимирович Гессен, депутат Государственной думы, редактор газет «Право» и «Речь», — после октябряского переворота основал в Берлине издательство «Слово» и издавал га-

И. В. Гессен. Годы изгнания. Жизненный отчет. ИМКА-Пресс, Париж, 1979.

зету «Руль». Он же создал «Архив русской революции». 43 года тому назад он выпустил книгу своих мемуаров (Стенфорд, 1937 г.), а недавно — только в этом году — вышла вторая часть этой книги. Умер Гессен в 1943 году. Таким образом вторая часть его мемуаров ждала издания 27 лет! Но книга эта оказалась вполне современной, несмотря на столь долгое время, прошедшее со времени ее написания. Что особенно удивляет в ней — это язык: трудно поверить, что писал все это человек, родившийся сто пять лет тому назад! Тут нет ни капли архаичности, ни словесного сибаритства, свойственного многим литераторам начала века. Свежий и живой язык скорее журналиста, чем мемуариста. Гессен прежде всего стремится изложить факты, события, описать обстановку определенного периода, а уж затем — собственную жизнь. Именно поэтому книга сразу вызывает доверие.

Кроме того, она свидетельствует о том высоком уровне, на котором стояла русская дореволюционная журналистика. А ведь политическая журналистика в России была намного моложе, чем в Западной Европе.

Отражая очень короткий исторический период — около 15 лет, — книга дает поразительно широкий спектр жизни эмиграции, начиная с последних лет гражданской войны и до тревоги и напряженности начала тридцатых годов. Приход к власти Гитлера опустошил русский Берлин, подавляющая часть эмиграции не обманывалась относительно того, как начнут развиваться события.

Гессен рассказывает о русских общественных и политических организациях, как возникших в эмиграции, так и существовавших еще до нее, о газетах, журналах, издательствах. (Достаточно одной любопытной цифры — в двадцатых годах в одном только Берлине было семьдесят два русских издательства — это больше, чем в до-военном Петербурге.) Объясняется это просто: многочисленная эмиграция представляла собой большой книжный рынок, а кроме того, интерес к русским делам в странах Запада был тогда очень велик. Да и те, кому удалось вывезти свои ценности из России, предпочитали их вкладывать не в предприятия, что было бы вполне разумно, а в русское дело. И пока русские предприниматели и финансисты еще обладали какими-то возможностями, эмиграция не страдала ни от недостатка в общественно-полезных и благотворительных организациях, ни от недостатка прессы всех направлений, ни от недостатка в политических организациях. В четком и добросовестном описании Гессена становится ясна обстановка, в которой

главное место занимали политические споры, переходившие порой просто в газетную войну.

Нас научили смеяться над эмигрантскими спорами, которые, дескать, как и политические деятели без страны, не стоят ничего, но наши классные и институтские наставники почему-то забывают, что в свое время социал-демократическая ленинская эмиграция насчитывала не миллионы людей, как пореволюционная, а лишь горсточку в несколько десятков человек, а чем это кончилось — мы хорошо знаем. Так что смеяться вряд ли стоит. Эмиграция зачастую, как показывает история, может сделать очень даже немало...

К тому же эта эмиграция, ее общественно-политическая мысль, отнюдь не была лишена решительности и твердости в поступках, а порой и предсказывала события довольно точно: так, Гессен еще в начале двадцатых годов говорил, что поколение большевиков-ленинцев будет физически уничтожено следующим поколением (хотя Милюков считал это предсказание просто бредом).

Итак, октябрьский переворот не только уничтожил один политический режим и заменил его другим, но и на многие десятилетия затормозил развитие русского общественного сознания, уничтожил политическую мысль в России и заменил ее доктриной выворотно-религиозного толка.

И. В. Гессен свидетельствует о той сумятице, которая господствовала в эмиграции не без помощи эмиссаров из СССР. Конечно, любая эмиграция не похожа на группу путешественников, любая эмиграция всегда стремится выяснить и сформулировать политические причины ситуации. Это происходило и с французскими монархистами и умеренными в конце XVIII века, и с русскими анархистами конца XIX века, но разница в том, что при смене государственного режима эмиграция становится массовой и у нее гораздо больше нерешенных проблем и непримиримых мнений, чем у небольшой группы эмигрантов, ушедших от режима давно существующего, отношение к которому уже определилось.

Поэтому неудивительно, что первая пореволюционная эмиграция представляла собой клубок политических тенденций. Развивайся эти тенденции в России, как в любой демократической стране, столкновения не принимали бы тех резких форм, какие возникали в то время. И как раз тогда, когда схватки были наиболее острыми, сразу после окончания гражданской войны, стали появляться на Западе советские представители, предлагавшие некоторым деятелям типа Гучкова вернуться в Россию, чтобы заняться восстановлением разрушенной страны. Многими эмигрантами подобные пред-

ложении принимались за чистую монету. И никто всерьез не задумался, почему такие предложения делаются именно политическим деятелям, а не предпринимателям, к примеру. И только через несколько лет стало понятно, зачем понадобились на родине эти люди: сначала для пропаганды: дескать, и враги признали правоту большевиков и справедливость исторического процесса, приведшего их к власти, а потом — в конце двадцатых и в тридцатых годах — их уничтожили почти всех. Единственный «счастливый случай» — жизнь «советского набоба» Алексея Толстого, вначале утверждавшего, что он никогда не вернется в Россию, а потом ставшего сталинским одописцем.

Советская агентура пользовалась всеми средствами в борьбе с эмиграцией — от лжи до похищений и убийств. Гессен рассказывает о похищениях Кутепова и Миллера, совершенных с помощью агентов, бывших в их окружении.

Самые различные, вроде бы далекие от политики эмигрантские организации становились порой рупорами советской пропаганды — Союз инженеров, или общестуденческий Союз... ГПУ не так трудно было завлекать людей в свои сети, ибо они тосковали по родине, а вся мощь пропаганды уже тогда была направлена на то, чтобы понятия русский и советский смешались в сознании эмигрантов. Этот метод, кстати, и поныне является самой главной пропагандистской находкой большевиков. Но, приводя многочисленные данные на тему пропагандистских успехов советских служб за рубежом, Гессен делает вывод, что эмиграция продолжает очень беспокоить власть и, стало быть, из разрозненных групп превращается рано или поздно в серьезную политическую силу.

Виолетта Иверни

ДОЛГАЯ И СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ?

Так озаглавлено (без вопросительного знака, правда) предисловие к недавно вышедшей книге Геннадия Шпаликова «Избранное». Только что получил ее из Москвы — ценнейший из ценных подарков...

Долгая ли? Тридцать семь лет... Для Пушкина считается, что нет. Счастливая ли? Об этом-то и хочется сказать несколько слов.

Авторы столь озадачивающе-рискованно озаглавленного очень теплого и грустного предисловия — Евг. Габрилович и П. Финн — пишут о юности его: «Жизнь в ту пору была необычайно к нему нежна и приветлива. И он отвечал ей тем же. Все было прекрасно вокруг — и друзья, и девушки. И казалось, что он не просто ходит по институту, а словно все время взбегает вверх по лестнице».

Да, взбегал, легко и весело. Потом стал запыхиваться. Потом рухнул. Головой вниз.

Когда мы с ним сдружились, он скакал еще через две ступеньки. Расстались же — за полгода до его гибели, — когда он с трудом уже переводил дыхание на площадке этажа.

Да, он пил. Осмелится кто-нибудь бросить в него камень за это? Все пьют. И не от этого он умер. Хотя и от этого...

Лестница оказалась не та.

Он рожден был (опять же из предисловия) «для легких и веселых переездов с квартиры на квартиру с томиком Пастернака под мышкой, беспечного студенческого безденежья, когда деньги всё же добывались каким-то неведомым алхимическим путем, таинственных путешествий в другие города вослед за любимой,очных шатаний и дурачеств с друзьями. И Патриаршие пруды, милые Патрики, и Арбат, и гитара, и вобла на газете в облезлой комнатенке товарища, и неожиданный приезд из провинции друга-офицера...»

Вот по такой лестнице — с выбитыми ступеньками, с пугливо целующимися на площадках парочками, с пустыми поллитровками, подбираемыми по утрам уборщицами, по такой взлетал, как вихрь, он на последний этаж, а к той, с красными ковровыми дорожками, придерживаемыми блестящими, медными палками, по которой надо подниматься степенно, придерживаясь за полированные перила, он боялся даже подойти. А ведь большинство хочет именно по этой, второй, а то и в зеркальном, бесшумном лифте подыматься по

Геннадий Шпаликов. Избранное. Сценарии, стихи и песни, разрозненные заметки. М., «Искусство», 1979.

лестнице славы (или на какой-то этаж ЦК). Да и слава ли это? Что понимать под этим словом?

У Генки — позволю себе так его называть, Геннадий Федорович как-то не прилипло к нему — была слава. Для одних слава забулдыги и пропойцы. Для других — настоящего поэта.

«Он был человеком труда, он непрестанно писал», — читаем мы в предисловии. Нет, он не был человеком труда, но писал, действительно, непрестанно. Когда, где? Не ясно. По утрам (в последний год, когда он недолго жил в Киеве) я находил в своем почтовом ящике или засунутыми под дверь скомканные клочки бумажек, салфеток, каких-то гостиничных меню, покрытые крупным его, неразборчивым почерком.

...Мы во Внукове лежали, Отменялся самолет. Ничего уже не ждали — Жалко, — вот, — Жаль мне только, жалко только И тогда, да и теперь, Ничего не знаю толком О себе и о тебе...

Да, он многоного не знал. И тогда, на внуковской травке, и в последние дни своей жизни. Тогда — как печально все это кончится; теперь же (весной 1974-го) — куда ж делась эта лестница, такая крутяя, безлифтная? Так её ему не хватало.

«Ничего не знаю толком о себе и о тебе»... Как много было этих самых «ты», с которыми казалось так легко и бездумно жить. А теперь остался вроде как один, и думы грызут... Надо писать сценарий, и договор подписан, и аванс получен, и уже ничего не осталось от него, и надо писать, и пишется не про то, что надо, — съехались на какой-то юбилей суворовцы, и все перепились, и они, и начальство, и пошли ненужные разговоры. А какие же нужны? Какие?.. Ведь невесело всем. Даже бывшим ещё вчера такими молодыми, такими веселыми суворовцами... И он таким был когда-то...

В написанном им сценарии одного из лучших советских фильмов «Мне двадцать лет» (Анджей Вайда, просмотрев не испорченный еще поправками, трехчасовой его вариант, сказал: «Готов тут же, сейчас же, смотреть второй раз!») трое молодых ребят пытаются собственным умом разобраться, как надо жить. О, нет! — сказали начальство. — А партия где? Честь, совесть и т. д.? И не дали ребятам разобраться. То есть дали, но и не дали. И фильм испортили.

Шпаликов вместе со своими ребятами тоже пытался разобраться в этом нелегком вопросе. Многим ли это удалось? Ему не удалось. Он повесился. Осенью 1974 года. Пять лет тому назад. В Переделкино, запервшись в своей комнате...

Людей теряют только раз И след, теряя, не находят, А человек гостит у вас, Прощается и в ночь уходит.

И если он уходит днем, Он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, Пока он площадь переходит.

Немедленно его вернем, Поговорим и стол накроем, Весь дом вверх дном перевернем И праздник для него устроим.

Поэзия Шпаликова...

В Киеве, на кухне, охрипшим голосом, иногда сбиваясь, стуча по столу вместо аккомпанемента, он последний раз пел. Сохранилась запись. И я слушаю ее. Поэзию Шпаликова. И про Царь-колокол и Рабинраната Тагора, и про пиротехника, и про слона, на котором он никогда не ездил, и грустные-грустные, прощальные, полные предчувствий о своем конце, отпеваемый степью, мостами, пароходами.

Я не верю в загробную жизнь, но если она всё же есть, пусть донесутся до Генки слова нашего отпевания, слова любви и бесконечной вины перед ним...

И все же — возвращаясь к тому, с чего начал, — он прожил не долгую, но, смею утверждать, счастливую жизнь.

Кто-то недавно, в каком-то споре о литературе, сказал: «Нет ни одного советского писателя, который бы не врал. Кто больше, кто меньше, но врут все... Даже чистый, благородный, джентельменистый Паустовский и тот не без греха».

А вот Шпаликов не врал. Нигде и никогда. Ни в прозе, ни в поэзии, ни в жизни. А это счастье. И жизнь его — неустроенную, безденежную, приведшую к такому трагическому концу — мы можем смело назвать счастливой. Он не врал. Ему не приходилось краснеть. Для советского поэта, писателя эта заслуга великая, незабываемая.

Виктор Некрасов

**CHALIDZE — PUBLICATIONS
505 Eight Avenue
New York, N.Y. 10018**

Несколько лет назад в США на английском языке вышли нашумевшие мемуары Н. Хрущева, подлинность которых доказана экспертами.

Теперь,
впервые по-русски
выпущены

ВОСПОМИНАНИЯ НИКИТЫ ХРУЩЕВА

В книгу вошли наиболее ценные и исторически интересные части записей мемуаров. Вот заголовки некоторых глав:

Договор с Гитлером о начале войны; Варшавское восстание; Дело врачей; Смерть Сталина; О семье Сталина; О генерале Власове; Арест Берии; Кубинский кризис.

В книге 300 страниц, цена — 12.00 долл.

* * *

Также в продаже:

Уникальная

ИСТОРИЯ ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЙ В РОССИИ

(переиздание с книги 1906 года)

автор: известный русский публицист —

Н. ЕВРЕИНОВ

в книге 234 страницы с многочисленными иллюстрациями, цена — 15.00 долл.

КОРАН, 490 стр., 20.00 долл.

Пожалуйста, пришлите чек или мони-ордер с Вашим заказом.

Коротко о книгах

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

*В записи и под редакцией Соломона ВОЛКОВА.
Перевод на французский Андрея ЛИШКЕ.*

Ed. Albin Michel, Paris, 1980

Книга мемуаров Дмитрия Шостаковича, переведенная нынче на десять языков, была создана при участии Соломона Волкова, музыковеда, музыкального критика из Ленинграда. С 1976 года он — научный сотрудник Колумбийского университета, живет в Нью-Йорке. Волков, ученик и друг Д. Д. Шостаковича, дал путевку в жизнь не автобиографии, каковой и оказывается чаще всего книга мемуаров, тем более, когда рассказывает о своей жизни мировая знаменитость и гений. Эти мемуары называются «свидетельством». Свидетельство побега. Побега внутрь себя людей, относящихся к «творческой интеллигенции», в целях сохранения себя.

Русская советская интеллигенция, творческие люди, не срубленные во время сталинских массовых «лесоповалов», умудрялись спасать свои души с помощью «внутренней эмиграции». Кто-то из них осмелился стать диссидентом, другим же пришлось всю свою жизнь вести двойную игру. Презирая вождей, ненавидя их политику, они, тем не менее, служили им, жертвуя верой и правдой.

Читая воспоминания композитора, не устаешь изумляться. Шостакович, гордость и краса музыкального мира СССР, депутат Верховного Совета, украшенный высочайшими наградами и регалиями, на самом деле ненавидел режим, видя со всей очевидностью, что он создан подлецами и нуждается в преступниках и бездарностях, чтобы существовать. Жизнь гения в такой стране — нонсенс. И вот мы видим, как великий музыкант выплясывает под дудку «великого кормчего» и его излюбленных «специалистов» по культуре, с руками по локоть в крови.

Вот отчего портреты, данные Шостаковичем в его «Свидетельстве», словно бы протравлены кислотой. Автор приводит множество страшных и гротеских деталей, рассказывает о невероят-

ных событиях, смешит анекдотами из жизни близких ему людей, для простых смертных — «олимпийцев» — Глазунова, Мейерхольда, Юдиной и пр.

Себя автор не щадит, как и прочих. Он сам сознает, что его творчество выше его самого. Гений, вынужденный пресмыкаться, набивающий деньгами карманы, украшающий грудь орденами и звездами, — это Шостакович доселе неведомый, это новая, советская ипостась Свидригайлова!

И все же его исповедь, плод четырехлетней совместной работы Шостаковича (перед смертью) и С. Волкова, непременно должна была прийти к читателю. Ведь Шостакович здесь — не только герой нашего времени, тронутого тлением. Прочтя книгу, начинешь вслушиваться по-новому в музыку симфоний Шостаковича, находя в них все ту же исповедь: исповедь ужаснувшейся и гневающейся души, тронутой вселенской тоской перед тем, что окружило ее: перед развалинами и гибелью.

Феликс КАНДЕЛЬ

ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО

(Девять страниц истории)

Тель-Авив, 1980

Это страницы истории новой миграции евреев, кочующих вот уже которое тысячелетие из страны в страну, покидающих ради неисповедимых путей страну за страной. Этот народ с мудрым отчаянием и грустной улыбкой раскрывает врата своего исхода.

Одним из тех, для кого эти «врата» оказались особенно узки, был автор книги, Феликс Кандель. Много лет он был «отказником», и за эти годы стал в первых рядах тех, кто боролся за возвращение на «землю отцов».

Книга представляет собою лирический репортаж — жанр редкий, но очень соответствующий специфике именно этой книги. Здесь, с одной стороны, нет ни одной строчки, которая не была бы достоверна. С другой стороны, этот документальный и фактический материал звучит, как песня.

Да и вся книга — прощальная песня тех, кто уходит с насиженных мест, ставших выморочными. И так было всегда: сколько

земли вдоль бесконечных дорог их судьбы; сколько пыли и праха тысячелетий на их сандалиях... Сколько в их памяти дней, дел, бед.

Это всего лишь девять страниц одной из новейших глав истории еврейского народа. Словно из тумана раздаются звуки старой песни в начале книги. Песня все приближается. Слитные вначале голоса разбились на отдельные. Слышны стоны сотен и тысяч, и каждый голос звучит заклинанием: «Пустите!.. Хочу в Израиль!..» А в ответ, будто из-под земли: «Ни через год, ни через два, ни когда-нибудь в будущем...»

Так композиционно поставлено начало книги. А вслед за началом к читателю выплывает первая страница — а за ней другая, и третья, еще, еще... Первая страница рассказывает о гибели великого Михоэлса, гениального актера Зускина, о разрушении Еврейского театра.

Вторая страница рассказывает о синагоге на улице Архипова, где поют древние молитвы и набираются сил, где ощущают невытравляемость традиций.

Третья страница — начало «родовых мук», которые испытывают те, кто подал заявление в ОВИР. Это рассказ о психологических терзаниях, о лишениях, об ужасной жизни, которая начинается для тех, кто стал «отказником». Для них время останавливается.

Так страницу за страницей перелистывает читатель. Летописец нового «исхода» — скорей не летописец, а певец, накидывает ткань музыки на «годы тучных коров» и «на годы тощих» — годы счастья и годы горя.

Автор восхваляет и воспевает тех, кто помогает людям бороться с пустотой и ожиданием. Он говорит об Иде Нудель, об Анатолии Щаранском. Им он шлет свое восхищение, благодарность и тревогу. Он, с помощью таких современных литературных приемов, как коллаж, создает их портреты. На коллаж пошли милиционские протоколы, жалобы соседей и сотни писем благодарности от тех, кто ими был избавлен от отчаяния. А вот и портреты людей, на первый взгляд задавленных советской системой, но которым Исход помог расправиться и воспротивиться узаконенному унижению. И они, вслед за тысячами других, унесенные ветром эмиграции, улетают в неведомое, оставляя за собой мелодию, полную страстной грусти. Мелодию отлета.

Не все в этой небольшой книге доказано. Ведь материал необъятен. Но каждая попытка такого рода — новый рывок в помощь тем, кто до сих пор ждет своего часа «у врат Исхода» — в зале ожидания Шереметьевского аэропорта.

Юз АЛЕШКОВСКИЙ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. МАСКИРОВКА

Ардис, Мичиган, 1980

Юз Алешковский нашел в первой из этих двух мини-повестушек идеальный анекдот. Т. е.: это крепчайшим образом построенная фабула — нет, фаблио. Историю можно рассказать в двух словах, но она емкая, в ней есть даже не насмешка, а хохот — народный, руки в боки — «над временами и нравами».

Времена — воистину средневековые. Конец эпохи «демократического централизма». Когда алхимики — лауреаты сталинских премий, Лысенко и Лепешинская — толкли микробов в ступе, и это было по-сталински.

Молодой парень, лагерный урка проникает в качестве донора спермы в научно-исследовательский институт. Это — добная предпосылка для анекдота: неожиданное сочетание компонентов. Такая неожиданность — уже смешна. Ну, и если учесть, что такой сюжетный старт в дальнейшем дает целый каскад, по нарастанию, блестящих деталей, и они нанизываются на ось сюжета легко и изящно — уж тут-то и получается та крепкая, прямо-таки кристаллическая структура, а это не каждому мастеру дано.

Речевая характеристика персонажа в повести «Николай Николаевич» именно такова, какой она и быть должна, потому что рассказ ведет «угол», лагерный человек. Николай — вор в законе, и он не слышит своего мата. Его лагерная «феня», по его мнению, чрезвычайно изысканна, даже интеллигентна. Ему самому нравится, как он говорит, по-лагерному разукрашивая все повороты своей истории. И это — еще один замечательный аспект, свойственный и анекдоту, этому всепроникающему жанру сегодняшнего дня (впрочем, анекдот — тема огромная и сложная, и не здесь о них говорить, а в большой серьезной статье). Итак, когда герой уснащает свои, скажем, научные экскурсы фиоритурами, как: «Тебя пиздячило когда-нибудь током? Ампер до хуя и больше, в две фазы?» — и т. д. И это взято наугад. Урка в лаборатории, урка на равных среди интеллигентов — залог того, что будет смешно. И «мат», которым так по-детски на радостях балуется столько писателей земли русской, оказавшись на чужой земле, здесь и не мат вовсе, а самый светский разговор — герой такой. Его учитель, перед которым он преклоняется — «международный урка» — тот в лагерных масшта-

бах говорит вообще изысканно, он — тюремный «гуру», мудрец. Это он раз посоветовал младшему собрату поштучно продавать своих «живчиков» в лаборатории, а то — разбавить их «на манер сметаны». Опять-таки, для жулика такая идея абсолютно естественна, как естественен весь рассказ, вызывающий реакцию, — естественный доброкачественный хохот, — а затем заставляющий задуматься: над сталинским средневековьем, над любовью, над такими рассуждениями, как «...Миллиардеры, знаешь, зачем на стриптиз ходят? Потому что можно это бабу не ёбать».

К сожалению, следующая повесть, «Маскировка», уступает первой. Такого сюжета, где любая деталь неотделима, здесь нет. Сюжет натянут, и его детали можно менять местами, удалять и т. д. Все держится лишь на все той же «фене», но здесь она не так органична, персонаж-работяга не такой легкий на подъем, как Николай-донор. Анекдот перерос в фарс, ругань забавна, но порой монотонна.

Однако автор дал верную, даже почти не искаженную зеркалом сатиры действительность страны, откуда сам родом. И, может быть, замаскированная, подземная на самом деле жизнь, о которой идет речь в «Маскировке», и вызывает в читателе грусть, которой не разогнать никаким озорством автора.

A. ДИМОВ

АНТИПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МОСКВЕ

Ed. Ramsas, Paris, 1980

Книга А. Димова была издана почти накануне Олимпийских игр в Москве. Стало быть, она выпущена очень своевременно. На Олимпийские игры собирались поехать сотни французских туристов. Книга эта для них очень информативна. Она помогает выйти зарубежному туристику из «искусственного туннеля», проложенного для него «Интуристом». Эта книга уводит в сторону от тропинок, проложенных в искусственном «советском раю», в «потемкинской олимпийской деревне»...

Человек, начитавшийся книг, где есть и красивая ложь, и страшная правда об СССР, удивится «Антипутеводителю», как в свое время удивлялся описанию путешествий Марко Поло. Не щеголь-

ским туристским маршрутом он пойдет вместе с автором; он заглянет в «заветные» дворы, кривые арбатские переулки, он исследует тайны сквера у Большого театра и площади у «Трех вокзалов».

Автор — порождение этого города, этой Москвы, этой «двойной» жизни. Он любит свой город и одновременно презирает его — как любит и презирает в одно и то же время себя самого.

В попытках раздвинуть стеки «туннеля» существуют верные подсобные средства: подкуп гида с помощью ношеных джинс или блока «фирменных» сигарет; часто бутылка виски может помочь увидеть лицо советской действительности без косметики.

Автор предлагает различные средства, чтобы отправляющийся в Советский Союз человек «не дал себя провести». Заботливо советует: отправляясь в Советский Союз, берите с собой все, ибо там все — роскошь, все — неслыханный комфорт — будь то батарейка для приемника, бактерицидный пластырь, или кинопленка «Кодак», или газовая обтекаемая зажигалка...

«Антитутеводитель» — как бы самоучитель «танца среди ножей», которому можно уподобить советский быт. И все же, про-делав такое путешествие по городу, западный турист, уведенный в сторону, из прямого, словно прямая кишкa, «интуристского туннеля» на «плешку», «брод» и «психодром», — покинет столицу с грустью, с ностальгией в проекции.

Наталья РОСКИНА

ЧЕТЫРЕ ГЛАВЫ

ИМКА-Пресс, Париж, 1980

Это четыре главы из воспоминаний о знаменитых современниках. И вместе с тем — завершенная книга. А. Ахматова, Н. Заболоцкий, В. Гроссман, Н. Берковский — четыре столь разных личности, четыре человека из тех, может быть, всего десятков, кто определяет собой лицо послевоенного литературного мира России. России, и никак не СССР: его литературное лицо — многоликая и безликая маска, именуемая Союзом писателей, остается за пределами книги. В центре внимания автора личность писателя в жизни. Само творчество порой как бы вынесено за пределы описываемого. И это очень важно — это правда, потому

что попытки описать в мемуарах творческий процесс, кем бы они ни предпринимались, всегда оборачивались ложью мемуариста, ибо не был ни один мемуарист — даже Эккерман, секретарь Гёте, — посвящен в тайну, самую индивидуальную из всех наших тайн.

Главное достоинство этих воспоминаний — умение описать человека в его поведении, в его манере разговаривать, и при этом никак, ни в малейшей степени не выпячивать себя. Слишком часто бывает, что мемуарист, говоря о ком-либо, интересующем читателей, сам того не замечая, оттесняет своего героя на задний план, заслоняя собой. Самое трудное, видимо, в жанре воспоминаний — избегнуть введения этого активного «Я». И то, что это удалось Роскиной, определяет во многом удачу ее книги.

Личное отношение к людям, которые заняли то или иное место в жизни автора, не мешает той объективности, в которую трудно поверить, читая самые разные мемуары. В этой же книге нет никакого тенденциозного, пристрастного отбора фактов или высказываний, и если эти высказывания рисуют героев даже не с самой лучшей стороны (все мы люди!), то они — и это чувствуется — никогда не выкидываются и не перекраиваются. Автор вообще избегает оценочных моментов самым тщательным образом. Причем это удается постоянно — даже в главе о Заболоцком, с которым в последние годы его жизни Роскина находилась в самых близких отношениях.

«Его судьба, его душа и его поэзия были исполнены такого трагизма, который не может быть смягчен никакой гондолой, никаким орденом Трудового красного знамени, — словом, ничем из того, что под конец жизни начали ему подбрасывать, и к чему он, к сожалению, относился всерьез, с явным стремлением держать себя, как подобает «выдающемсяся советскому поэту»... — немного существует воспоминаний, дышащих такой правдивостью, особенно когда автор говорит о близком и любимом человеке.

И Анна Ахматова, и Василий Гроссман предстают нам такими, какими их видела Роскина в самые трудные дни их жизни. А что касается Н. Я. Берковского, человека, оставившего след в литературе не только и не столько в собственных статьях и книгах, сколько в душах множества молодых и немолодых поэтов, писателей, драматургов, — то его образ

вообще впервые занимает достойное место в мемуарной литературе. А ведь о таких людях, которые своим влиянием на литераторов, самой своей личностью — незаурядной, парадоксальной, мощной — определяют литературный процесс своего времени в большей степени, чем десятки заурядных писателей, о таких людях писать особенно трудно...

Игорь ЧИННОВ

АНТИТЕЗА

Берчбарт-пресс, Мэриленд, США

Седьмая книга стихов Игоря Чиннова — книга почти что одной темы. Точнее — попытка (пусть заранее обреченная) ответить на тот вопрос, который ставит себе человечество всегда. На вопрос о посмертном существовании. Или несуществовании? Поэт допускает и такую вероятность. «Заснуть и видеть сны, быть может?» — говорит Гамлет, но в другом месте он же говорит: «Александр стал глиной. Из Александра сделали затычку для пивной бочки...» Ни Шекспир, ни мы не ответим на этот вопрос определенно. Ибо нам не дано. Ибо — всему свое время. Но поэзия зачастую в том и таится, что создает красоту мысли и слова по пути к неразрешимому:

Вы не спорили, русские мальчики,
О таинственной вещи — бессмертии?
Вот умрем — и? Гробы, точно ларчики,
Открываются просто? Не черти и
Не святые, а черви? В материи
Есть — печально, печально — бактерии.

Вроде бы всерьез спрошено? И все же проскальзывает горько-шутливая интонация. Дальше — явственнее. И вот поэт уже ставит вопрос «о продолжительности смерти». Или, увидев в городском музее отрубленную голову Пегаса, вспоминает вещего Олега, но Пегас горько улыбается, когда поэт шарахается от его черепа... Эта улыбка тоже намекает на то, чего мы не знаем и не можем узнать до той минуты... А тогда — узнаем, но уже, увы, никому не сможем

поведать своего знания... Отсюда и происходит та горькая ироничность Чиннова, которая самой формой его стиха как бы проходит над северянинскими шутовскими пассажами. Повторяя в чем-то их контуры, но по сути оставаясь полной противоположностью «поэту красивостей», который, в свою очередь, как пересмешник, пролетел над невыносимо серьезным (по форме) Бальмонтом. Само по себе возвращение к Хлебникову, отрицающее попытки обэриутов, уже характеризует Чиннова как поэта, который старается максимально несерьезно выглядеть и именно вследствие этой позы (позиции?) может говорить о самых таинственных из тайн мира, не боясь показаться напыщенным.

Одно пространство не могут зараз
Два тела, хи-хи, занять.
Прекрасно: в гробу мне мешал бы другой,
Беспокоил, толкая ногой.

Вот эта почти кощунственная подробность, это шутовское «хи-хи» и есть безошибочно найденная поэтическая интонация, которая позволяет сегодня задумываться над глубинными вопросами бытия.

В этом смысле Игорь Чиннов близок к той ветви новейшей молодой русской поэзии, которая старается идти за футуристами и за обэриутами одновременно, но Чиннов видит разницу, его не обманывает внешнее сходство манеры. И если для новейших абсурдистов корни этого направления, вернее этого способа поэтического мышления, растут в одинаковой мере и из начала века, и из тридцатых годов, то Чиннов растет только на абсурдизме начала века, игнорируя позднейшие его всплески.

Михаил ШУЛЬМАН

БУТЫРСКИЙ ДЕКАМЕРОН

Израиль, 1979

Два тома «Бутырского декамерона» — рассказ о человеческой биографии, слившейся с биографией эпохи. И самое

привлекательное в этом рассказе — стремление автора, бывшего директора Ансамбля краснознаменной песни и пляски ЦДКА под управлением А. В. Александрова (позднее название его несколько изменилось), бывшего ортодоксального коммуниста, бывшего зэка с двадцатилетним стажем, не просто дать свидетельские показания о том, что было с ним и со страной, но рассказать о своих заблуждениях и ошибках — с той старательностью и опасением упустить что-нибудь, которые напоминают исповедь. Судьба Михаила Шульмана столь характерна для советского человека, сознательная жизнь которого началась после революции (или, вернее, вместе с революцией), что ее нельзя не назвать типичной. Революция наградила его, совсем мальчишку, своей моралью: хорошо все то, что на пользу советской власти. И Михаил, подросток, по поручению ГПУ доносит на соседей и знакомых, занимающихся контрабандой. Правда, он понимает, что совершает подлость, и делает это сознательно, чтобы скомпрометировать ненавистного ему отца. Но потом он яростно добивается поступления в ГЭКТЕМАС (Экспериментальные театральные мастерские), руководимый Мейерхольдом, хотя на экзаменах демонстрирует дремучее невежество: он рабочий, комсомолец, в театральный институт направлен по комсомольской путевке — он уверен, что одно это дает ему право на поступление. Правда, он совершает чудо упорства и трудолюбия и первую же экзаменационную сессию сдает на все пятерки, приведя в изумление всех преподавателей и даже самых враждебно настроенных из них заставив поверить в себя... Но затем он организует среди своих товарищей группу ортодоксальной оппозиции Мейерхольду и возводит на него политические обвинения... Счастье, что было это в 1928 году, а не десятью годами позже! А став директором Ансамбля Александрова, Шульман предлагает обыскивать артистов перед каждым правительственным выступлением, чем приводит в изумление самого Сталина, приказавшего обыски прекратить (не изумлялось только НКВД, радостно подхватившее это рационализаторское предложение). И вплоть до личного приказа Сталина Шульман самолично производил обыски!

Но сегодня он сам пишет об этом — со стыдом и раскаянием. Он мог бы умолчать. Он мог бы — в собственных-то мемуарах! своя ведь рука владыка — попытаться

обрисовать себя покрасивее, сотворить памятник себе-страдальцу (страдальцу — это заслуженно: 20 лет лагерей, несколько арестов, жизнь — из огня да в полымя). Но Шульман упорно не хочет умалчивать, скрывать, не договаривать, он и себя выводит на единственный суд, который признает полномочным — суд читателя и собственной совести. Что до суда Божьего, то он — не дело смертных, он — Божье дело. Бывший атеист Михаил Шульман и о том говорит, как почувствовал вдруг присутствие и дыхание Того, Кого всю жизнь отрицал. Как превратились в пыль и труху старые верования и старые идолы, выжгло страданием все поверхностное, лживое, наносное, обманное, и осталось — только раскаянье, только горечь от совершенных ошибок, только жалость к замученным, сломленным, загубленным людям. И еще — страстное желание не забыть самому и другим не дать забыть палачей и палачества, безнаказанности их. Не легко и не сразу пришел к этому Михаил Шульман. Случайно оставшись в живых (все его подельники были расстреляны, он же не признал своей вины — и выжил), он в лагере создал подпольную партийную организацию! Воистину, нет предела слепоте человеческой. Ему надо было пройти еще несколько кругов ада, прежде чем глаза его увидели настоящую правду. И об этом Шульман пишет с предельной искренностью. И мужеством своим (под пытками — не признался, не подписал) он не похваляется, наоборот — говорит, что это, в сущности, случайность, что сильнейшее нервное потрясение сделало его нечувствительным к боли, только поэтому он и не подписал собственного смертного приговора. И тех, кто не выдержал, не осуждает, — вообще никого не осуждает (кроме своих палачей, конечно, — малых и великих), о людях пишет с поразительным дружелюбием, с нежностью даже, и благодарностью не обходит никого, кому обязан малейшим добром или просто общими воспоминаниями, общей радостью или страданием. Стиль мемуаров Шульмана неписательски наивен, часто неловок, но все неправильности его только подчеркивают подлинность описываемого искренность автора.

**Читайте в следующем
номере «Континента»**

Прозу:

Г. Русского, В. Марамзина

Поэзию:

И. Бродского, Н. Горбаневской

Публицистику:

**Э. Кузнецова, А. Дравича, Б. Закса,
Ф. Чертока**

По страницам журналов

Борис Парамонов

БЕНАРЕС ИЛИ МЮНХЕН?

О статье Г. Померанца

Статья Г. Померанца «Сон о справедливом возмездии» (журнал «Синтаксис», № 6) вызывает смешанные чувства. Поначалу хочется сказать о неуместности ее — на этих, «Синтаксиса», страницах. Журнал — остро партийный, а с именем автора «Неопубликованного» мы до сих пор связывали позицию некоего одинокого стояния, индивидуально, вне компании ведомого поиска. А. И. Солженицын в «Образованщине» отметил это свойство автора — «непристроенный, неруководящий»; это — социологическое определение; нам бы хотелось, очень хотелось распространить его и на духовную позицию Померанца — видеть в нем мыслителя «на свой салтык», как говорил Герцен, а не голос в хоре. Сам Померанц как будто давал для таких надежд основания — своеобразие его пути, казалось, не вызывает сомнений. В эссе «Пережитые абстракции», открывающем его сборник «Неопубликованное», автор продемонстрировал несомненную оригинальность даже в таком тривиальном деле, как чтение Маркса: из двух его слов «объективная абстракция» сумел извлечь представление о существовании потусторонних измерений бытия, «качественно бесконечного» универсума. Надо думать, что дальнейшее вчитывание в те же тексты не позволило углубиться этому представлению, и Померанц обратился за философским обоснованием своих интуиций к восточной мудрости, в частности к буддизму. Среди наших интеллигентов, пишущих в Самиздате и Тамиздате, соответствующих специалистов не так уж много — и тогда естественным покажется допущение о нестандартности ожидаемых от Померанца высказываний.

Увы, Г. Померанц не оправдал этих наших ожиданий. Уже в сборнике «Самосознание» он предпочел самоопределиться «партийно», каство; последняя его работа в «Синтаксисе» подтверждает ту же тенденцию. Эта статья снабжена подзаголовком «Мой затянувшийся спор»; спор, как выясняется сразу же, — с А. И. Солжени-

цыным. Мы далеки от мысли, что любое возражение мэтру уже как-то однозначно определяет оппонента, ставит его непременно в стан недоброжелателей. Говоря о «партийности» статьи Померанца, мы имеем в виду другое: неадекватность, прямо скажем — немыслимость для него, именно для него, Г. Померанца, того спора, который он предлагает Солженицыну; духовная позиция, занятая Померанцем, не позволяет ему вести такой спор.

Предпосылка полемики определяется следующим образом: «Я убежден (вместе с Плотином и Августином), что в глубине бытия зла просто нет... На дне бытия зла нет. Есть разные виды добра, сталкивающиеся и уравновешивающие друг друга... Тотальное торжество зла означало бы просто гибель человечества; а то, что в нас вечно, — не умрет... В мире видимостей, где совершаются политические события... Можно сказать, что врагов вообще нет, что это ложное понятие, созданное должно направленным умом (буддийская точка зрения)... непреклонный антикоммунизм так же опасен, как непреклонный антифашизм... следующий шаг придется сделать, вступив в борьбу с Солженицыным, с привычками яростной злопамятности, въевшимися в него... Следующий шаг требует простить невольных (!) палачей... Нужен другой подвиг — отказа от страстей, освобождения от инерции 'Архипелага'» (стр. 15, 19, 20, 21, 23, 29, 87, 86).

Итак, с точки зрения вечности, зло, борьбе с которым Солженицын посвятил жизнь, коммунизм, — не зло. Зло — это когда коммунизм оспаривают, ибо зло происходит «от остерьвения в борьбе за свое частное добро» (стр. 19); «Мировое Зло — риторическая фигура» (стр. 16). Гибель нам грозит не от коммунизма, а от антикоммунизма, от любого «анти», от страстей земных, бушующих на поверхности бытия, в мире видимостей. Впрочем, вечное в нас не погибнет.

Требуется не борьба, а диалог, ибо «ясной истине противостоит ложь, глубокой — другая истина, тоже глубокая»; «мой спор за республику идей против самодержавия правды» (стр. 15), как, впрочем, и Абрама Терца («правды надо бояться, чтобы она опять не села нам на шею»), иронии которого Солженицын не понял.

Предполагая, что во всех этих словах Померанц высказал истину не ясную, а глубокую, — и тем самым обеспечив алиби последующим возражениям, я вообще не буду употреблять слово «ложь», обойдусь другим, помягче — ложность. Позиция Померанца ложна. Ибо, отказываясь судить коммунизм, он теряет право спорить с Солженицыным.

Тем не менее, коммунизма заметить не пожелав, Солженицыну автор его неверных суждений не прощает.

Читатель не только вправе сделать вывод, но этот вывод просто ему навязывается с принудительностью элементарного силлогистического *ergo*: Солженицын если не большее зло (зла вообще нет), то большая опасность, чем коммунизм.

Я отказываюсь приписать эту мысль сознательному решению Померанца, вменить ее в моральную вину, ибо, на мой взгляд, сие означало бы тяжко оскорбить человека, злостию и гнусно оклеветать его. Тем более человека, так сказать, беззащитного, живущего за железным занавесом.

Единственное, что я могу себе в этом случае позволить, — это обратить к автору совет, который он, на стр. 26, дает Солженицыну: «Если бы А. И. смог вдруг увидеть, хотя бы в самых общих чертах, то, что он делает!».

Кроме того, автора сильно извиняет одна его фраза: «Вступив в полемику, я мучительно сознаю опасность собственного красноречия...» (стр. 23).

Попробуем понять тот поворот сознания, который заставил Померанца покинуть позицию буддистского бесстрастия и увлек его к столь ошеломляющим выводам.

На стр. 27 он пишет: «С точки зрения вечности, стоило бы просто оставить в стороне публистику Солженицына, забыть о ней. Но я современник, я неспособен совершенно освободиться от тревог времени».

Можно понять эти слова следующим образом: выбранная Померанцем духовная позиция оказалась слишком сложной для него, он не удержался на ее высоте.

В цитированных выше словах Померанца масса несообразностей. Он ссылается на Августина, говорит об онтологической нереальности зла — и не замечает простой вещи: мы-то живем не на глубине бытия, а на его поверхности, где зло как раз и концентрируется; кроме того, говоря об Августине и проблеме зла, не следует забывать, что он учил о поляризации и нарастании добра и зла к концу истории, — это важнейшая мысль его историософии: нечто прямо противоположное взаимному любованию «глубоких мыслей» у Померанца.

Примерно то же можно сказать о «республике идей». Сколько я могу судить, эта мысль всплыла у Померанца (и у Абрама Терца) при воспоминании «Проблем поэтики Достоевского» М. М. Бахтина: истина — диалогична, в бытии нет ее единого центра, традиция

европейского монологического мышления — источник несвободы и всяческого зла («самодержавие правды» у Померанца). Но эту *метафизическую* мысль Померанц обращает во что-то вроде приема политической тактики, и диалог, который имел в виду Бахтин, превращается в тот «диалог», который католики думали одно время вести с коммунистами.

Следуя весьма уже давней традиции, Померанц сводит небо на землю — помещает в «мире видимостей» некие трансцендентные начала. Не выдерживает того дуализма, что требуется им же декларированной установкой.

Кроме интеллектуальных недостач, отметим и эмпирические — отсутствие соответствующего опыта. Только этим последним обстоятельством можно объяснить следующий текст о евроКоммунизме (стр. 16, сноска): «отказ от идеи диктатуры и поворот к плюрализму — итог, подвешенный под историей Архипелага. Александр Исаевич сыграл роль повивальной бабки, ускорившей рождение нового коммунистического младенца». Смелая метафора и еще более смелое желание подвести итоги. Стоит ли с этим торопиться? Какой диалог ведут коммунисты, узнали мы недавно из французских газет: вышедший из компартии Ги Конопницкий был избит четырьмя коммунистическими штурмовиками до потери сознания (били ногами по голове, сломали нос), — он, не получив ответа на свой призыв к «серъезному марксистскому анализу» различных советских безобразий, задумал дать таковой самостоятельно. Второй случай: группа женщин, пришедшая на прием к своему парламентарию — члену политбюро и директору «Юманите» Ролану Леруа, не была к нему допущена, а отказавшись покинуть приемную, была избита 12 телохранителями указанного директора*.

Представление о мировом зле, актуально существующем в «мире видимостей», не вмещается в гуманистически ориентированное сознание интеллигента-западника, каковым является Померанц, несмотря на его буддизм. Его подлинная вера не так глубока, как он старается ее представить: он не верит в зло не на метафизической

* Померанц, конечно, достаточно наслышан о котировке «евроКоммунизма» в братских партиях и знает, что Берлингуэр ценится выше, чем Марше. Прожив год в Италии, я мог бы многое рассказать о туземных поборниках плюрализма. Ограничусь одним примером. Друг-итальянец сказал в миланском троллейбусе: «Ирония в том, что наш разговор можно вести здесь только по-русски». Разговор, понятно, был о *русском коммунизме*.

глубине бытия, а на его политической поверхности. Вдохновленный (можно сказать — генетически запрограммированный) мифологией прогресса (хотя, как увидим ниже, на словах и отрицающий ее), идеалом неба на земле, достигаемым развитием имманентной культуры, — он ни разу не пытался связать эти идеи и мифы с той ситуацией, которая создалась в XX веке, не пробовал обнаружить причинно-следственную связь гуманистических посылок с топками Майданека и бараками ГУЛага. Не буддистский квиетизм удерживает Померанца от конфронтации с коммунизмом, а память о вчера еще живом социалистическом мифе. Я отказываюсь объяснять влиянием восточной философии утверждение его о нетождественности социализма ГУЛагу. Стоит привести такую фразу: «...пока старые большевики не были истреблены, пока их не сменили кадры, пришедшие на готовое (а кем подготовленное? — Б. П.), над ЦК и ЧК клубился дух демократии» (стр. 20-21). Откуда извлек Померанц это убеждение? Из Махабхараты? Или из Бхавад-Гиты? Нет, конечно, — из воспоминаний о чекистской родне (родня, разумеется, аллегорическая).

Объяснение зла и лжи фанатизмом моралистов и правдоискателей не от Августина и Будды у него идет, а обнаруживается поближе — хотя бы у Вольтера. Я не настаиваю на прямой связи: здесь сказывается явление, которое М. М. Бахтин в упомянутой книге назвал «объективной памятью жанра» — в данном случае тем интеллигентским западничеством, которому Померанц принадлежал еще, можно сказать, до рождения, во всех своих предшествующих инкарнациях.

На стр. 81, уже в конце статьи, он заводит очень литературную, просвещенную, интеллигентную беседу об иронии как «спутнике демократии»: «Ирония — это даже лучше, чем *habeas corpus act*. Ирония освобождает от фанатизма... все, что есть, не может быть совершенной ложью» и пр. Не важно, сам ли Померанц это выдумал или из «Философии неравенства» вычитал («демократия есть скептическая общественная гносеология»; к слову сказать, Бердяев считал это не достижением, а упадком, утратой воли к истине); важно другое: он не замечает, что не только гносеология эта сомнительна, но и жизненная позиция, ею диктуемая, не умна: как будто просвещенным скептикам демократии противостоят такие же скептики, а не штурмовик с душегубкой и коммунист с ракетами. Я очень хорошо вижу Померанца на месте тех вполне культурных парижских журналистов, которые писали году этак в 38-м: «Данциг не стоит войны». Но вот видит ли сам себя Померанц на этом мес-

те? И неужели трудно понять, что общество, с одинаковым доброжелательством относящееся к проповеди Солженицына и рыку черных пантер, осуждено на гибель?

Буддизм и реминисценции из Августина понадобились потому, что Померанц человек со вкусом и понимает, что мотивировать западнический релятивизм Марксом и Энгельсом уже (в Сов. Союзе) неприлично и надо выдумать что-нибудь поновее. Он и выдумал. Но все-таки и вкус ему отказал: буддист-западник — по-настоящему этот культурфилософский гибрид смешон.

Эксцентричная позиция не уберегла Померанца от банальности.

Буддизм помогает Померанцу подкрепить не менее традиционную, чем западничество, позицию интеллигентского *нигилизма*. Несомненно его стремление к углублению западничества, западнического релятивизма, который и есть, в своем логическом продолжении, нигилизм. В этой своей установке Померанц действительно философичен — стремится вести разговор на некоем сверх-эмпирическом уровне; поэтому обычный мотив наших западников — обвинение в неудаче социализма русской «почвы» — у него ослаблен. Положение обязывает: осудив «непреклонный антикоммунизм», нужно и другие позиции защищать не особенно страстно; поэтому «левые» симпатии Померанца обнаруживаются у него не как злая воля, а как дурная наследственность. Спор его с Солженицыным вокруг «Раскаяния и самоограничения» строится не на очернении России, а на попытке релятивизации самого национального принципа в истории: «соборная национальная личность — метафора, аналогия, прием исследования, а практически всегда есть множество разных людей», — пишет Померанц на стр. 35; нация для него — методологическая абстракция, а не онтологическая реальность.

Удобнее всего иллюстрируется эта позиция Померанца отношением его к болезненному вопросу о пресловутом русском мессианизме, породившем якобы коммунистическую экспансию XX века. Померанц готов снять этот вопрос указанием на то, что мессианизм — эсхатологическая жажда, породившая прогресс и прочие ужасы, — есть характеристика бытия в истории как такового и корни его гораздо глубже, чем представляют это читатели бердяевских «Истоков»: «если мыслить в масштабах тысячелетий, — пишет Померанц, — можно сказать, что именно евреи сыграли роль Смешного человека, заразившего счастливую планету своей тревогой, неудовлетворенностью, стремлением невесть к чему» (стр. 48). Иронический тон фразы, кажется, призван замаскировать некоторую растерянность

от этого интересного открытия: историю как форму бытия породило эсхатологическое сознание иудейских пророков. В любом случае это звучит симпатичнее, чем заявление одного самоуверенного образованца, что мессианистическую заразу трезвые rationalists евреи переняли у нетрезвых русских*.

Но возникает желание обратить к самому Померанцу слова Белинского из герценовских мемуаров: что бы вы ни сказали, я с вами не соглашусь (позиция, приписываемая им Солженицыну). Хочется защитить от Померанца уже и не русских (в общем, таковые для него не лучше, но и не хуже других), а самих евреев. Другими словами: отстоять национальный принцип против того интернационала, каким видится Померанцу история. Для этого нужно указать на укорененность наций в онтологическом строе бытия, преодолеть померанцевский (интеллигентский) номинализм в этом вопросе. Прогресс (настоящий, а не исторический) Померанц видит (по крайней мере видел — «Человек ипоткуда») в «диаспоре» — в обращении национального человека в «жида» (реминисценция из Цветаевой); мы его готовы видеть в реставрации государства Израиль, в несомненном оживлении локальных культур, неотделимых от своего национального субстрата.

Нам кажется, что особо убеждать Померанца в этом и нет надобности, потому что он сам в этом вопросе заколебался. Отпевая в «Неопубликованном» локальные культуры, прославляя диаспору, «воздушность» интеллигенции, он в новой своей статье говорит о диаспоре (настоящей, а не метафорической) совсем в ином tone (см. стр. 48-49): это теперь источник «нетерпимости и фанатизма» и, что еще важнее, важнейший конструктивный элемент упомянутого исторического мессианизма. Померанц видит, что неукорененность в настоящем порождает историческую мечтательность — надежду на будущее, а отсюда все беды истории, точнее, само конституирование истории как сферы экзистенциально порочного бытия. Остается всего лишь один шаг до признания хотя бы некоторого позитивного смысла пресловутой «почвы». Нам кажется, что в последней своей статье Померанц этот шаг готов сделать.

В «Неопубликованном» (стр. 164) Померанц выводил наше неославянофильство чуть ли не целиком из деятельности провокатора Эльсберга, а высшим его достижением считал Солоухина. С тех пор (1967-69) достаточно времени прошло; не только феномен Израиля или позиция Солженицына наводили на размышления, но и

* А. Воронель, «Трепет забот иудейских».

само наше почвенничество успело породить нечто большее, чем «сарафаны, напяленные на ракеты»; целая литература выросла незаметно. Померанц не может этого не знать и, вопреки своему буддизму, готов считаться с этой новой *реальностью*.

Поэтому неудивительно, что он сумел заново открыть для себя давно открытую К. Аксаковым истину: о конфликте в русской истории государственности и культуры. Русский мессианизм, трактуемый как империалистическая экспансия, он перестал выводить из духа русской культуры. Более того, сделал попытку имперский дух, столь заметный, связать с нерусскими влияниями в нашей истории, отделить его от национального характера. Это делал и Амальрик, но то, что он ругает, Померанц как бы и хвалит. «Основные особенности России, — пишет Померанц, — это не наследство словен и вятичей. Вятичи сами были сквачены историей за шиворот...» (стр. 54). «Дух империи — не славянский дух; он унаследован от Византии, от Орды...» (стр. 55)*.

Это новое, с трудом (хочется сказать, через силу) обретаемое понимание приводит Померанца к чему-то вроде принятия позиции Солженицына, по крайней мере — к декларации терпимости; примерно так Эренбург принимал коммунизм — этаким stoischen Шпенглером, числящим, однако, в резерве Париж: «...видимо, за попыткой догнать и перегнать Запад *должен* быть зигзаг обособления в себе, берложности — и переваривание проглоченного. Что-то подобное было и в истории Японии (без заграничной аналогии все-

* Считаю своим приятным долгом заявить, что отточия в обеих процитированных фразах принадлежат не мне, а редакции «Синтаксиса». Свободомыслящие европейцы и демократы сочли себя вправе подвергнуть текст Померанца *цензуре*, ибо здесь мы имеем дело отнюдь не с безобидным редакционным сокращением (как оговорено в начале публикации), а с искажением авторской мысли: редакцию не устраивает понимание Померанцем нетождественности духа нации с имперской экспансией государства — развить эту мысль купюры не позволили.

На стр. 56: «Так Петр преобразил Московское царство в Российскую империю... Так Солженицын совершил свою литературную реставрацию монархии». Связи — никакой, кроме формальной общности зачина фраз, зато получается, что Солженицын монархист; можно только догадываться, что Померанц реставраторскую работу Солженицына видит в бунте против Петра, т. е. в реставрации Московского царства. В контексте Померанца это скорее похвала, но единомышленники решили за него, что хвалить Солженицына совсем не за что.

таки нельзя! — Б. П.). Я думаю, что без замкнутости и тесноты Московского царства не было бы единой России. Я люблю Россию версиловских монологов и Пушкинской речи, а шатовскую — не люблю. Но история не обязательно должна считаться с моим вкусом. Кто знает? Может быть, почвеннический зигзаг необходим» (стр. 85).

На той же странице: «Русская этнография восстает против истории, не хочет истории, не хочет завоеваний, от которых хиреют центральные области. Быть пусту месту сему (Петербургу)! Пусть оно достанется шведам!»

И вот тут возникает вопрос: а из-за чего, собственно, полемика? Идеал Померанца, как явствует из раздела «Сквозь историю», — метаисторический; и хотя он трактует Солженицына как героя истории — необходимо в этом качестве заблуждающегося (ибо в действии, говорит буддист Померанц, правды нет*), но ведь цель исторического действия у Солженицына, по Померанцу, — разрыв с историей, выход за ее пределы, возвращение в «этнографию». В основном пункте идеалы как будто совпадают.

Но в метаисторическом пространстве Померанца нет места для «этнографии» — там у него царствует скорее всего «культура». А культуру Померанц понимает достаточно абстрактно — лишенной определений времени и места: это у него некая возвышенная диаспора, с латынью, но без Катилины, с Пушкиным, но без pogromov.

Конечно, всякий человек, будь он правый или левый, эллин или иудей, если только он работает пером, а не топором, не может не сочувствовать такому исходу истории. Вот и Солженицын в «Образованщине» отметил «большую духовную высоту и красоту» этого, ‘впрочем отвлеченного, идеала. И все же культура не столь бесплотна, как ее пытаются рисовать Померанц, — не столь астральна и стерильна.

Иван Карамазов почтительнейше возвращал Богу билет на пребывание в этом мире. Бердяев был радикальнее: отказался идти в рай, если там не будет его кота Мурри. Уверен ли Померанц, что тот потусторонний мир, который открылся ему за пределами «объ-

* И опять трудно решить, Будда ли здесь определяет мысль Померанца или, попросту, Б. Брехт, с его модным у образованцев изречением: жаль ту страну, которая нуждается в героях; я это к тому говорю, что все свои мысли Померанц мог бы высказать и не обращаясь к восточной мудрости.

ективной абстракции», — как коммунистический интернационал, не знает ни Россий, ни Латвий?

Трудно за Померанца решать вопрос, какая из его ипостасей — буддистская или западническая — лишает его восприятие культуры присущих ей цвета, запаха и вкуса. И буддистский нигилизм, и западный абстрактный рационализм, порожденный четырьмя веками научного мышления, могли тут сыграть свою роль. Буддизм не знает бытийно реальных элементов, сама человеческая личность в нем, как в гносеологии Юма, — временный пучок перцепций. Отсюда — основное противоречие буддизма: закон кармы — посмертного воздаяния не к кому обращать, коли нет личности, морально вменяемой. Мораль нельзя построить без онтологии. Коренное отличие христианства от буддизма: оно не только учит о неразложимости, онтологической реальности человеческой души, но и способно вместить в себя культуру, качественную определенность культуры; обожение плоти мира в христианстве — тот его принцип, который позволяет сделать это.

Можно спорить о том, мыслима ли мораль без онтологии, но культура без «этнографии» невозможна, иначе это будет не культура, а всего-навсего «цивилизация». Если Солженицын не убеждает в этом Померанца, то, может быть, убедит Шкловский — человек вроде бы непочвеннический и уж наверное культурный:

«...в искусстве нужно местное, живое, дифференцированное... я понимаю, что в Европе все — европейцы по праву рождения.

Но в искусстве нужен собственный запах, и запахом француза пахнет только француз.

Тут мыслью о спасении мира не поможешь.

Полезно введение провинциализма...»

В этой же главе «Zoo» Шкловский говорит, что ему нравится Марк Шагал, с его местечковым романтизмом. Уверен ли Померанц, что есть такая высота, на которой вопрос о местечках теряет смысл?

Рассуждения Померанца об «этнографичности» Солженицына интересны только потенциально: всех возможностей такого подхода он не эксплицировал. Иначе бы он увидел (и нам показал), в чем провиденциальный смысл явления Солженицына: в мутации русского национального типа, в обретении им благой — не имперской! — силы, в преодолении восточного квииетизма не на государственно-имперской, а культурно-национальной основе, в изживании «вечно бабьего» русской душой. Эволюция русского гения — обра-

щение «Толстого» в «Солженицына» — важнейший итог русской духовной истории.

Поэтому отождествление Солженицына и Ленина как единого психологического типа, проводимое Померанцем (стр. 78), — вопиющее недомыслие, противоречащее даже тому, что говорил он сам выше; деятельная воля и сила, отличающие обоих, у Солженицына стали не «имперскими», а *русскими*. В этом же ключе надо понимать и пресловутую «четверть русского» в Ленине*.

Западники не понимают: почему не они, а почвенник Солженицын оказывается в вышеуказанном смысле — *европейцем*? А если и понимают — то не одобряют.

И еще одно мог бы понять Померанц: органическую связь мировоззрения Солженицына с его деятельностью художника. «Как бы ни смотреть на дело с моральной и религиозной точки зрения, эстетически Солженицын на месте в своем шедевре... центральный характер Ада не может быть ангельским... Мстительный дух, радующийся, что зад Крыленко не влезал под нары, — правдив и на свой лад прекрасен», — пишет Померанц (стр. 85-86). Остается спросить: может быть, мировоззрение, создавшее *стиль*, способно на что-нибудь еще? Или Померанц, на манер упомянутого только что Шкловского, «эстетический ряд» изолирует от всех его жизненных связей?

Именно так: Померанц склонен отделять друг от друга эстетику Солженицына и его «героический характер». Но тут уже не Шкловский вспоминается, а кое-что похуже — приемы марксистских критиков, пишущих о классиках: несмотря на талант, имярек за-блуждался. «Мстительный дух» Солженицына Померанц видит в основном не в литературном ряду; собственно, три четверти его статьи посвящено соответствующим изобличениям. Он приписывает автору «Архипелага» аффекты ненависти и мести, не задумываясь о том духе возмездия, который витает над историей. Померанц предпочел Будде не только Христа, но и Ягве.

И опять — сколько дурных реликтов «марксистской методологии»! «Литературная газета» писала, что ненависть Солженицына к социализму объясняется психологией буржуазного недобитка: у дяди Романа роллс-ройс отобрали. Померанц же вспоминает «детские обиды мальчика Солженицына, закапывающего в землю геор-

* Можно и проще: показав, что Ленин чужд этой стране духом, Солженицын изумляется за него: чем же он привязан к этой проклятой России? разве что четвертинкой крови.

гивеские кресты отца, еще какие-то детские травмы...» (стр. 82). Ему невдомек, что тут не личная обида, а национальная трагедия. Может быть, потому, что он этой трагедии не чувствует, он и достиг рубежей, до которых, по его словам, Солженицын дойдет вряд ли: простил палачей.

Не высота религиозного сознания продиктовала Померанцу совет примириться с палачами, а самый что ни есть посредственный интеллигентский «эвдемонизм», ориентированный только на «положительные эмоции», отнюдь не на трагедию. Неготовность к трагедии — это и есть Мюнхен. Все эти мифы о метаисторическом интеллигентском культурном рае порождены оптимизмом самоупоенного и самодовлеющего человечества. Самая рваная ветошь из носимой модниками-интеллигентами: отрепья ренессансного гуманизма. Померанц вспоминает бердяевскую статью о Розанове: «вечно бабье в русской душе». Мы можем интеллигентскую душу назвать вечно-дамской: всегда хочет любить и быть любимой.

Один из солженицынских цензоров, в «Теленке», сетовал на автора за то, он лишает читателей радости жизни. Та же логика у Померанца: не коммунизм виноват в плохой жизни, а такие, как Солженицын.

В каком-то рассказе Киплинга говорится: «Слишком много *Эго* в вашем космосе». В померанцевском буддизме обнаруживаются не только следы западничества, но и ухватки советской журналистики. Читателю навязчиво лезут в память некие слова о поповщине казенной и по убеждению. Тут парадокс жизни и писательства Померанца: публикация текстов под шапкой «Неопубликованное».

Март 1980

Михаил А г у р с к и й

«СИОН»

*Общественно-политический и литературный журнал
Тель-Авив, издается Координационным комитетом активистов
алии из СССР, №№ 23-31*

Как известно, в Израиле издается несколько русскоязычных журналов. Быть может, журнал «Сион» наименее известен вне Израиля и совершенно незаслуженно. Вина в этом прежде всего ложится на редакцию самого журнала, полагающую, что за пределами Израиля в принципе не может быть интереса к идеиному сионизму. К тому же надо сказать, что название «Сион» обнимает, по существу, три различных журнала, издававшихся начиная с 1972 года. Менялись редколлегии, менялся и журнал. Нынешний «Сион» существует фактически лишь с 1978 года после раскола его редколлегии и выделения из него журнала «22», более известного на Западе. Именно поэтому настоящий обзор и ограничен лишь номерами, вышедшими начиная с 1978 года. В настоящее время ответственным редактором журнала является Александр Фельдман, литературным редактором — Ефрем Баух, членами редколлегии: З. Вагнер, Р. Рабинович, Э. Шенкарь, А. Штукаревич, И. Якоби.

«Сион» — как это ни странно, по существу, единственная трибуна на русском языке того, что в Израиле принято называть «фундаментальным сионизмом» в той его форме, в какой он возник еще в конце XIX века. В этом его сила и слабость, ибо классический сионизм, даже по признанию ведущих идеологов сионизма, нуждается в коренном пересмотре, ибо создание государства Израиль само по себе не решило автоматически всех проблем современных евреев. Выяснилось, что государство является необходимым, но недостаточным элементом национального возрождения. Нельзя утверждать, что «Сион» полностью застыл на уровне ранней идеологии сионизма, но, по крайней мере, этот уровень доминирует в высказываниях многих авторов.

Журнал, по существу, складывается из двух разных частей: оригинальных материалов, написанных на русском языке, и переводных материалов с иврита, идиш и английского. По составу авторов видно, что его поддерживают именно те люди, которые принадлежали к наиболее идеиному ядру еврейского национального дви-

жения: Михаил Занд, Владимир Зарецкий, Израиль Минц, Виталий Свечинский и др.

Ознакомление с их статьями позволяет читателю глубже понять еврейское национальное движение в России. В них в значительной степени проявляется ностальгия о героическом прошлом неосионистского движения в СССР, заменившегося в значительной мере (увы!) массовой прагматической эмиграцией. Свечинский, например, считает, что причина нового прагматизма в отсутствии опасности, в которой сталкивались люди, выражая одно лишь желание выехать из страны в конце 60-х годов. По мнению Свечинского, только такая опасность и может формировать идеино-политические течения среди евреев (№ 31).

Читатель прочтет многие статьи журнала со смешанным чувством. Его, по-видимому, оттолкнут изоляционистские тенденции ряда авторов, стремящихся замкнуться исключительно в национальных рамках. Эти авторы наивно полагают, что это вообще возможно в современном мире. Такой же соблазн изоляционизма испытывают в настоящее время и многие русские в виде реакции на коммунистическую экспансию, ведущую к утрате их национального своеобразия. Изоляционизм вовсе, однако, не альтернатива ассимиляции. Вопрос в том, можно ли выработать гармоничные отношения между различными национальными культурами, не стремящимися поглотить друг друга. Не стоит ли вернуться к идеям Гердера, который еще в конце XVIII века доказывал величайший вред от поглощения одной национальной культуры другой, но при этом отстаивал необходимость общих ценностей для человечества?

Другой противоречивой тенденцией является критика русско-еврейской интеллигенции, которая иногда выступает с претензиями носительницы высшей культуры, не принятой в России и ныне с ее помощью долженствующей быть внедренной в Израиле. Эта критика зачастую незаметно перекликается с солженицынской критикой «образованщины». Однако, эта критика то и дело переходит в полное зачеркивание интеллигенции вообще и к своеобразному мазохистскому самоуничижению перед израильской культурой, которая сама еще не лишена многих недостатков и внутренних противоречий.

Обе эти тенденции можно, например, обнаружить в статье Михаила Бронштейна (№ 29), резко критикующего интеллигенцию с позиций изоляционизма. По его словам, эта интеллигенция, самозванно присвоившая имя «элиты», на самом деле живет обрывками разных культур, отличается огромным невежеством и должна только еще учиться и учиться, если только хочет действительно врастти

в еврейскую культуру. «Вкладывать нам нечего, — утверждает Бронштейн, — наша роль сначала учиться еврейской культуре: а потом уже можно говорить о вкладе» (стр. 40). Бронштейн, в частности, утверждает, что в сионистском движении большую роль сыграла не интеллигенция, а простые евреи из западных районов страны.

Оставляя в стороне вопрос об интеллектуальном вкладе, можно смело утверждать, что русско-еврейской интеллигенции есть, тем не менее, что вложить в любое общество. Это страстная ненависть ко лжи, тоталитаризму, стремление к социальной справедливости, т. е. ко всему тому, что было попрано в советском обществе. Наконец, что касается самого израильского общества, эта интеллигенция способна дать ему новое дыхание в эпоху, когда это общество стало утрачивать свою идеологию.

Поэтому, какова бы ни была справедливость критики Бронштейна некоторых неразумных амбиций в среде русско-еврейской интеллигенции, самоуничижение и самобичевание, которое он предлагаает, не могут быть приняты.

Но в журнале мы находим и прямо противоположные тенденции. Такова, например, статья Майи Улановской (№ 27) с ее интересным рассказом о том, как формировались сионистские настроения среди московской еврейской интеллигенции, хотя Улановская весьма далека от того, чтобы настаивать на ее элитарности и призванности обучать других.

Наконец, Улановская всегда чувствовала свою солидарность с общей борьбой за гражданские права в СССР и за национальные права других народов СССР.

Та же мысль заключена и в лагерных воспоминаниях Бориса Пенсона (№ 30), который, еще находясь в заключении, выражал свою солидарность с политзаключенными других национальностей (вспомним его переписку с Черноволом, опубликованную в 1975 году в «Континенте»). В «Сионе» Пенсон продолжает ту же линию.

Дмитрий Малкин идет еще дальше, повторяя, по существу, мысль Михаила Хейфеца, выраженную им в его недавней книге «Место и время». Малкин предлагает русским евреям осознать ту часть вины, которая ложится на них за первый период советской власти. «Нам совершенно необходимо, — заявляет Малкин, — сказать себе о себе полную правду, не отказываясь от своей части вины за физические и духовные «ГУЛаги», прошлые и настоящие» (№ 31, стр. 49). Как известно, Хейфец считает, что евреи должны были взять на себя часть вины за страдания, принесенные украинцам при советской власти. Это вызвало резкие нападки на него на стра-

ницах журнала «22». Любопытно, что мы видим ту же мысль на страницах *наиболее* сионистского журнала в Израиле.

Надо сказать, что многим статьям свойственна стилизованная мелодраматичность стиля, становящаяся навязчивым штампом. От этого штампа, впрочем, отступает ряд авторов, и это всегда приносит им пользу. Это прежде всего многосторонний Ефрем Баух (он также выступает как поэт и прозаик) и Ривка Рабинович (она же пишет под псевдонимом — Эстер Вайнтрауб). Ей, в частности, принадлежит обстоятельная критика (№ 26) нашумевшей повести Юрия Милославского «Собирайтесь и идите» (журнал «22») и повести Леонида Гиршовича «Мальчики и девочки» (журнал «Время и мы»). Она воспринимает их как грубое искажение еврейского национального движения в России и израильской жизни.

Рабинович является также автором ряда интересных статей о социальных проблемах Израиля. Круг ее интересов — не прошлое, а сам, настоящий Израиль с его проблемами. Интересны также музыкально-критические статьи Орит Голан, основного музыкального обозревателя русскоязычной прессы в Израиле.

Заслуживает внимания статья Михаила Вайнштейна (№ 31) о Павле Антокольском, в которой он рассматривает еврейские мотивы в творчестве этого поэта.

Из наиболее важных материалов журнала следует отметить статью Эдуарда Кузнецова «Хэппи энд» (№ 29) (которая, как утверждает редакция журнала, была перепечатана без ее разрешения журналом «Синтаксис») и статью проф. Иехошуа Яхота, в прошлом известного советского философа, о Спинозе (№ 29). На страницах журнала прозвучала и резкая критика в адрес журнала «Crossroads» («Перекрестки»), точнее, в адрес его редактора И. Земшова (№ 27).

Однако художественная часть журнала (имеются в виду материалы, написанные по-русски) бедна. Из его авторов можно, в частности, указать на Моше Ландбурга, Хагит Гиору, Ефрема Бауха, Георгия Морделя. Несколько богаче поэтический раздел, где читатель найдет имена Ефрема Бауха, Александра Воловика, Лии Владимировой, Рины Левинзон, Якова Хромченко и др.

Для человека, не знакомого с израильской действительностью, большой интерес представляют переводные материалы журнала. Это настоящая антология израильской жизни. В нее включены статьи израильских политических деятелей, публицистов, критиков, философов.

В частности, большой интерес для неизраильского читателя представляет отрывок из книги Михаэля Бар-Зохара «Тель-Авив-

ский детектив» (№ 23), где рассказывается об истории советского шпиона Исраэля Бера, засланного в Палестину под видом бывшего бойца испанской республиканской бригады (где он никогда не воевал) и ставшего одно время близким к Бен-Гуриону человеком. Бер считался крупным военным специалистом, посещал военные объекты стран НАТО и, несмотря на многочисленные подозрения, действовал вплоть до 1961 года, когда был арестован.

В журнале представлены также переводы современной израильской и еврейской художественной литературы. Особого внимания заслуживает пьеса известного израильского сатирика Эфраима Кишона «Громкое имя» о человеке, устроившемся на работу с помощью намека на то, что ему покровительствует некое важное лицо.

Читатель найдет в журнале переводы с идиш некоторых рассказов лауреата Нобелевской премии Ицхака Башевис-Зингера и перевод с английского известного романа американского писателя Филипа Рота «Синдром Портного».

Журналу «Сион» не хватает пока открытости. Он слишком апологетичен, чтобы привлечь к себе широкого читателя. Но он серьезен и информативен, а главное не стоит на месте.

РЕЛИГИОЗНЫЙ САМИЗДАТ

НАДЕЖДА

Христианское чтение

Составитель — Зоя Крахмальникова

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРЕДАНИЕ · ОТЦЫ ЦЕРКВИ · ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ · ПРАВОСЛАВНОЕ ПАСТЫРСТВО · МУЧЕНИКИ XX ВЕКА · РУССКИЕ СУДЬБЫ · ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ · ПРОБЛЕМЫ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

392 с. Цена отдельного выпуска — 24 нм.

(Магазинам, церковным приходам и другим распространителям — скидка)

ПОДПИСКА

на сборники «Надежда»,

обеспечивает читателям более дешевое их получение.

Подписная плата на 3 очередных выпуска при заказе непосредственно в Издательстве — 50 нм. При заказе через магазины и посредников — 60 нм. При подписке — доставка за счет издательства. Просим при подписке сообщать, с какого выпуска начинать высылку сборников.

Сборники «Надежда. Христианское чтение» нужны в России. Приобретайте их для переправки в Россию. Шлите нам пожертвования для той же цели. Благодаря содействию организации «Православное дело» третий и четвертый сборники выпущены увеличенным тиражом для бесплатной отправки в Россию. Но этого недостаточно — нужна и Ваша помощь!

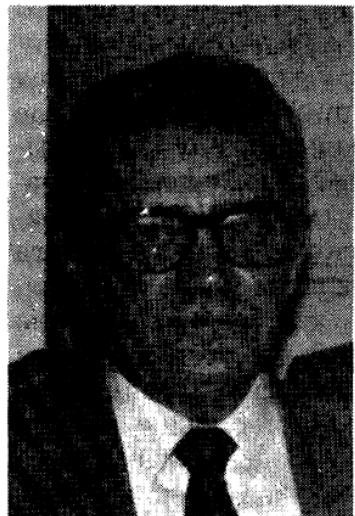
POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M-80

Наша анкета

ТРЕВОГА

Разговор с Владимиром Максимовым

Главному редактору «Континента» исполняется 50 лет. Что может подарить ему редакция в этот день? Увы, наши возможности не велики. Мы не можем выпустить специальный юбилей-



ный альманах, каким почтили Иосифа Бродского к его сорокалетию его американские друзья. Мы не можем и посвятить Максимову целый номер (ну, хоть пол-номера) «Континента»: слишком много разных и неотложных забот из квартала в квартал, и их не отмечешь, не отложишь. А не — поговорить ли просто с ним здесь, на страницах «Нашей анкеты»? С ним и о нем. О нем — и о нас, о «Континенте», его детище. О «Континенте» и о континенте — континентах, — на которых мы живем, ощутимо и во плоти, незримо и нереально...

Мы дарим Владимиру Емельяновичу Максимову — и читателю — эти тридцать страниц разговора с ним. Ведет разговор *Viолетта ИВЕРНИ*.

Редакция

«Имеющий уши — да услышит».

Когда мы пересекаем границу оттуда — сюда (других на свете и не существует, на всем нашем огромном шаре одна: оттуда — сюда), нас больше всего поражает, что ее реально, визуально не существует: только что ты был там, и вот ты — здесь. Просто

стало легче дышать. Как от лекарства. Был долгий сердечный спазм, дали валидола, спазм прошел: чистая медицина, фармакология — наука. Все начинается потом, все обнаруживается потом, когда глаза устают от туристических удивлений и восторгов, когда исчезает зуд хватать впрок соль, мыло и спички, а тайный страх перед завтрашним полуголодом обрастает сибиритски-нежным рубчиком привычки: в магазинах продуктов гораздо больше, чем можно съесть зараз; о, восхитительный закон восхитительного Запада!

И вот тогда-то... вот тогда-то... Вот тогда-то оно и начинается. Ах да нет, никакой это был не валидол, никакое не лекарство!.. Эта трижды проклятая граница, которой не было, а были облака, одинаковые повсюду, была земля, одинаковая повсюду, непрерывающаяся, продолжающаяся земля, с камешками, травой, муравьями, болотной сыростью и хлебным запахом лета, — и все равно по телу ее ударом хлыста была вытянута эта трижды проклятая граница, вытянута ударом по телу — твоему, как если бы сам ты был этой землей или жизнь твоя была этой землей, и вот теперь она развалена на два бесстыдно-голых, отвратительно кровяющих куска мяса, и больше их уже не срастить. Так что не вдох то был, а удар в подвздошье. И жизнь — надвое. Вот как. И дальше начинается другая история.

Другая история — другая жизнь — имеет одну неприятную особенность: в ней всё обострено и обнажено. Всё — неразведенный уксус (кому нравится — неразведенный спирт). Всё — с плюсиком. Всё — в превосходной степени. Никаких знаков препинания, кроме восклицательных. И даже если восклицательный не ставится, он подразумевается — бурлением и клокотанием в горле, таким высоковольтным напряжением страстей, как будто и не прошло полжизни, как будто они и не растрачивались раньше — на все, на что попало: стоящее, нестоящее, доброе, злое, на

любовь, зависть, обиду и грех; только тут все прожигается заново, будто в последнюю минуту, будто у стенки.

Вот всю эту другую — у стенки — жизнь мы с ним знакомы, с Максимовым. Знакомы разнообразно. С массой (в превосходной степени!) претензий. С массой (в превосходной степени!) обид. С приступами (восклицательный знак!) взаимного раздражения. С наплывами (Максимов) угрюмого недоверия. С попытками (перебравши подходящие образы в художественной литературе) терпеливой кротости (я, конечно). С совпадением (о радость!) мнений об одном и том же предмете. С абсолютным расхождением в них (ох-хорошо-хорошо! — пух и перья, примкнутые штыки восклицательных знаков, полива ненормативного русского языка — зато на «вы», зато на «вы», мы всегда на «вы», как в лучших домах Рио-де-Жанейро и Монте-идео). И — главное, самое главное, мучительное, кровное, слезное главное: с одинаковым ощущением того самого незаживающего рубца, со знанием и с сознанием, что не заживет, с готовностью идти до конца отпущенными и назначенными путем, и еще хорошо бы, если бы удалось сделать немножко добра (а и зло-то от тех же, кто бредит добром, как не ошибиться, кто скажет?), и еще надо уметь прощать, и еще успеть бы написать... и еще объяснить что-то, попытаться объяснить открывшееся, найденное, важное, и еще — не замкнуться на себя, и еще... (много-много-точие).

Вот от этого (всего вышеприведенного) и поэтому (всему вышеприведенному) и происходит данный в высшей (превосходной) степени неприличный, нетактичный и неэтичный факт: журнал «Континент», главным редактором которого является Владимир Максимов, печатает настоящий материал, автором которого является зав. редакцией того же журнала Виолетта Иверни, и выходит этот материал в связи с пятидеся-

тилетием Владимира Максимова. Так сказать, между собойчик. Он ей гонорары платит (ага!), она про него статейки пишет (ага-а-а! — восклицательный знак). Платит. Мало только. Но после выхода этого номера обязательно будет платить больше. Должен... по идеи... А то зачем тогда?..

Это — к сведению просвещенного и умудренного читателя: нам не стыдно.

— Шестой год издаем журнал, шестой год... Ну, давайте, так, положа руку на сердце: есть хоть один номер, который можно было бы назвать полностью с в о и м? Ни одного почти... Не получается... То то, то это... И не всегда руководствуемся соображениями качества, всегда еще другие есть соображения... ну да, тактические... Да не только тактические — и человеческие: поддержать кого-то хочется, помочь, не дать отчаяться. Дома бы строже судили, строже отбирали, так ведь — не дома ж, в эмиграции... А эмиграция — ох, какой клубок. Претензий, амбиций, обид, счетов всех ко всем, каждого к каждому. Мало, что ли, такого: свобода — это когда меня печатают, это когда меня понимают, меня замечают, меня слушают, меня, меня, меня... Ну, и подумаешь — а вправду ведь человеку больно!.. Да Бог с ним, ну — не гений, ну не очень-то высоко летает, так ведь это же не преступление. Пусть выйдет к читателю, пусть читатель сам судит, пусть читатель скажет. Так вот напечатаем, а нам — раз! — собрание сочинений того же автора с ближайшей почтой подваливает. Осторожненько, чтоб не обидеть, пишешь: вы извините, мы пока напечатать не можем, — и сразу врага нажили!

А я вот так думаю, что правильно напечатали. Даже если средне. Ну, не графомана, конечно. Это ничего, что потом скажут: ну и материальчик же вы тиснули, неужели не видно, что не уровень, что серо

попросту? Видно, видно... Тоже умные, тоже поплавки носим. Но это лучше — напечатать из добра, из тепла, из нежелания обидеть. Не для журнала лучше — для себя, для внутреннего самоощущения. Потому что где она — граница между пуританской верностью высоким критериям и олицетворением самого себя с этими критериями, присвоением себе права единолично судить и осуждать, и присуждать: того — к вечности, а этого — к мусорной корзине? Ну, не будет номер божественно красив, ну, не Аполлон, так ведь не на нем начинается, не на нем кончается жизнь, душа, тепло, жалость... верность, себе — верность. И критерии, кстати, тоже. Журнальные критерии.

Тем более, что с «высоким искусством» и дома (красиво сказать — в метрополии) не так уж легко, и не только потому, что зажимают... Подлинные гении толпами не ходят. А уж в эмиграции — тем более: выбор уже, страна эта, эмиграция, тесна — тесна и задышлива. Это правда, что уровень хранить нужно, это правда, что миру являть лучше произведения «высокого накала», это уж и опытным путем доказано: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Вопрос только в том, чем платишь за возможность быть здоровым и богатым. Отбор материала — это и нравственный выбор.

Как себя чувствует человек, которому пятьдесят? Противно кругленькая цифра — что вызывает ее приближение? Ощущение рубежа? Звоночка? Много ли еще, долго ли? Что вы чувствуете, Володя?

— Тревогу. Я всегда чувствую тревогу. Это не потому, что пятьдесят. Я всегда чувствовал тревогу, всю жизнь. Не знаю, может быть, это болезнь, может, это ненормально... Меня преследует тревога. Я не знаю покоя, не знаю, в сущности, что это такое — покой.

— Вас много обманывали?

— Да всякое бывало... Но ведь и не больше, чем других. И потом — мне, если честно сказать, все всегда удавалось. Если и не сразу, то в конце концов — всегда. Я не хвастаюсь — так, правда, получалось. Не знаю почему. Получалось. С детства хотел стать писателем, другого ничего себе и не представлял. И стал. Какой я писатель, время покажет, не мне судить. Но живу этим, дышу этим, иначе не мог бы, не представляю... Хотя подумать — Господи, откуда пошел, с чего начал, как прошел?.. Но вот, вышел же. А пятьдесят — ну, в самом деле тянет посмотреть назад: это ведь жизнь — ого, пятьдесят! Такого на-видался — вспомнишь, не верится. Но и делал что-то. Посмотришь на полку — книжки стоят; не зря, значит, все-таки, что-то написал... Разное писал, по-разному. Стихи вот писал когда-то, и начинал как поэт. Это единственное, от чего я отказался. Плохие стихи я писал. Хотя и они для меня были школой. Я ведь и литературную поденщину всяческую делал — переводы халтурные километрами, и негром на других ишачил, и не жалею об этом. Это тоже школа. Все школа, в конце концов. И еще — я ни от чего не отказываюсь, что я там написал, все печатаю в здешних своих изданиях (кроме стихов, конечно). Что же мне прикрываться, что от себя-то отказываешься? — вот оно все, читайте, судите. Скрывать мне нечего. Да и зачем? От себя-то ведь не уйдешь. Мне смешно бывает, когда я встречаюсь здесь с людьми, которые стараются как-то подкраситься, — то ли себя самих подкрашивают, то ли свою биографию, то ли когда-то ими сделанное или написанное. Суета все это. Суета сует и всяческая суета. Все остается, все нами содеянное — есть. За все платить и ответ нести. Так что же прятаться-то? Я вот с двадцати одного года зарабатываю себе хлеб пером — и в газете работал, и на радио, и для театра, чего только ни делал, как только ни жил — и впроголодь, и с день-

гами, и в пьяни, и богемничал, — и наверное, не все делал как надо, и неправ был часто, и несправедлив — все мое, за все мне платить, да и научила меня жизнь вот хоть скепсису по отношению к самому себе: я по отношению к себе никакого упоения не испытываю, потому что легкого успеха никогда не знал. Так ведь часто бывает — самого талантливого человека легкий успех может сбить с толку, особенно в эмиграции это часто случается, потому что здесь все критерии смешены. А у меня, слава Богу, довольно было в жизни горечи и неудач, чтобы я сохранил трезвость взгляда. Так мне кажется, во всяком случае. Хотя и страстью к самоуничижению я тоже не страдаю. И очень приятно, когда хвалят... то есть, когда добрые слова в твой адрес говорят... Без этого не прожить, особенно писателю. Сам-то с собой не все решишь... Да и пишешь не лишь бы писать — для кого-то пишешь. И когда нет отдачи, трудно работать. Как будто слепнешь.

Он очень театрален. Не той театральностью, которая была в Галиче — с благоуханием кулис, аплодисментов, поклонниц, с детски-естественной готовностью к цветам, с очаровательным и наивным эгоизмом всеобщего любимца, — другой, диаметрально противоположной, скрытой, хищной, неожиданной театральностью не актера, а — театра; не исполнителя, а автора; театральностью, основанной не на фантазии или воображении, а на цепкой, железной хватке глаза, который вроде бы только примерился, глянул искоса, скользнул, а на самом деле хапнул, запрятал внутрь, а потом возвращает — готовым персонажем, откуда-то вдруг объявившимся просто так, в добрую минуту, при хорошем настроении. Все персонажи эти прёживают в нем же, в Максимове, все вместе, толпой, оттого он и оборачивается таким разным, что иногда и не соединить: то угрюм и глядит Собакеви-

чем, то язвительно-желчен, прищурен и посмеивается тоненьким, дребезжащим, страшноватым смешком; то вдруг смотрит серьезно и открыто, всем лицом сразу, словно шлем снял, и тянет охнуть, как в знаменитой сцене у Серафимовича: «Батюшки, а глаза-то у його — сыни!..»

— Вот мы тут с Наташей говорили: давайте попробуем сделать идеальный номер.

— Ой!..

— Такой, каким бы мы хотели его видеть. Чтобы все — по гамбургскому счету. Смотрите, вот для прозы у нас есть парень этот, Гальперин, который недавно объявился. Подумать только — в самотеке пришел. Начал ночью читать — ну, думаю, прочту, благо несколько страничек. Прочел — занервничал. Какая чистая проза! Чистая. Без орнаментовки, без красот, без вывертов — как говорится, без прилагательных. Никакого прикрытия. И все сказал. Все. Внутреннее напряжение при этом — невероятное. Открытый нерв. И — непридуманно, неподдельно... И — ощущение чистоты... Целомудренная проза. Вот такого бы нам набрать на номер!

— Только лучше бы его не называть идеальным...

— Ну, это мы так, для себя, в рабочем порядке.

— Разве что в рабочем порядке. А то вот восторгто будет среди умных-знающих-понимающих! Вот радость! Вот лавина повалит!

— Да пусть их.

Ну что ж, мы попробуем сделать идеальный номер. Раз уж появилась такая идея. Больше всего, может быть, чтобы себя проверить: что нам покажется идеальным — то бишь лучшим из возможного, то бишь (что себя-то обманывать!) — меньшим из зол. Если честно сказать (пока Максимов не слышит!), я — против. Идеальных номеров журнала не бывает. Не

только потому, что не набрать четырехсот сорока страниц высочайшей прозы, поэзии, публистики, критики. Потому что само понятие «журнал», «периодическое издание» заключает в себе обреченность. И простенькую, мелкую, бытовую — и высокую. Бытовая: объем и периодичность выхода. Ну-ка, попробуйте отыскать семейку гениев на все разделы! Ну-ка, попробуйте у этих гениев получить произведения, написанные в самый звездный их, гениев, час! А теперь попробуйте, все это сложив, получить в итоге четыреста сорок страниц, не больше и не меньше! Как?

Высокая обреченность: журнал служит истории, которая написана будет потом, после нас, быть может. Он отражает сегодняшний день и час. Он сиюминутен. Не так, конечно, как газета (тем более толстый журнал, тем более — квартальный), его минута — длиннее газетной, в ней не часы и не недели, а месяцы. Но призвание его и назначение — отражать процесс, жизнь, поток. Возрождение и падение. Прозрение и слепоту. Да и кто скажет с аптечной, химически чистой уверенностью — что откровение, а что — слепота? Кто скажет — я есмь истина? Есть, правда, и любители такого, но их лучше как раз обходить по дальше. Время, эпоха, все мы — толпа наша: вот что мы думали и чувствовали о себе и в себе, о близких и в ближних, о событиях, об идеях, о странах, о грядущем, о книгах, о стихах. Вот что есть, существует, движется, сталкивается, катится, вопит и выплевывается! Для этого — журнал. Он не может быть идеальным. То есть может быть в том смысле, что мы будем отбирать для него материал, отбросив все посторонние соображения и руководствуясь только критериями качества. А — наберем ли? А — широк ли выбор? А — четыреста сорок страниц?..

— После Солженицына — спад. Природа отдыхает. Солженицын — это ведь не просто писатель и

книги. Солженицын — это эпоха. Его можно принять и не принимать категорически, с ним можно спорить и соглашаться, им можно восхищаться и возмущаться, и обижаться на него можно, нельзя только отрицать, что он — явление в современной истории уникальное. Явление не только литературное, но и социальное, политическое, духовное и, если хотите, психологическое. Он олицетворяет собою все противоречия нашей эпохи, все ее взлеты и падения, все ее достоинства и недостатки. Известность его не имеет исторического precedента. Вы можете спросить у любого прохожего на улице — хоть в Москве, хоть в какой-нибудь западной столице — знает ли он Солженицына, и тот ответит утвердительно, вне зависимости от того, читал ли он солженицынские книги или нет. Мы вот в среднем по три-четыре книги в месяц получаем о нем и его творчестве. Я довольно активноучаствую в русской и восточноевропейской жизни на Западе и могу засвидетельствовать, что одно только имя его (разумеется, если он его дает) обеспечивает любой общественной акции публичный и материальный успех. Настолько неистощима литературная и общественная кредитоспособность этого имени. Хотим мы того или нет, нашу эпоху назовут именем Солженицына — и Сахарова, конечно.

Но вот до чего смешно иногда бывает, когда некоторые эмигранты, только переехав границу, спешат немедленно затеять полемику, смысл которой заключается в страстном желании ввести в историю тему «Я и Солженицын». Да, можно спорить, нужно спорить, и с Солженицыным нужно, только при этом еще бы и чувство меры иметь, вернее — соразмерности. А то просто несерьезно получается, ну смешно и все.

— Звоню, звоню, звоню — ни черта ни до кого не дозвониться! Нету! Отдыхают все! А трудов праведных вроде не так уж и много было. Быстро, быстро, быстро — одна нога здесь, другая там — вот этого десять копий и по адресам разослать.

— По каким адресам? Что за материал?

— Да я ведь говорил уже!

— Это вы не мне, Володя... не мне говорили.

— Да ничего подобного, я прекрасно помню!..

Не помнит. Не мне говорил. С ним это случается — спутать, кому говорил, кому поручил. Толпа — людей, звонков; звонков, людей. Просьб. Писем. Забот. Обязанностей.

— Володя, во всем этом — в том, что называется общественной деятельностью, — не страшно потонуть? Затягивает ведь... и дня — как нет.

— Страшно. Пиши — всё кусками, клочками. Там-то я общественной деятельностью особенно не занимался, ну кроме той, которой мы все по обязанности в молодости занимались. Хотя политически «заинтересованным» я всегда был, в объективность не играл. Не то что я писал специально что-то «анти», просто писал, что видел, что почувствовал, что правдой считал. А правда — она сама собой всегда получается антисоветской. А тут... конечно, суета. Больше — ярмо, рабство. А только и от этого не уйдешь. В России писатель никогда не был только писателем — оттого, наверное, что общественная мысль, общественная деятельность, привычка к ней была слабой, неразвитой, инфантильной. Писатель был всем понемножку — и адвокатом, и духовником, и врачом — на все руки. А сейчас — тем более. Да и «Континент» — это больше, чем журнал. Это кусок земли вне дома, который мы пытаемся обжить. Духовной земли, если можно так сказать. Да и другое еще — невозможно спокойно смотреть, как люди приезжают и боятся головой об стену.

Вот у меня все получилось, слава Богу, удачно, но ведь не выдержать, когда поэту, прозаику, художнику по-настоящему талантливому не писать приходится, а о куске хлеба думать, мыкаться, бегать... Надо помочь, надо сделать что-то. Вот так и получается: то одно, то другое — дня и нет.

— И «голосов» за всем этим не слышно...

— И «голосов» не слышно. А ведь для меня это главное. Даже нельзя сказать «главное», потому что — жизнь. Тут, на Западе, не принято высокие слова по этому поводу произносить, ну да и мне не переделываться же: у меня к литературе отношение молитвенное... А тут писатель — профессия как профессия. Все пишут. И лихо так. Вот и наши некоторые — давай дуть по западным образцам. Все больше матерно. Я ведь не против, я не ханжа, если надо — можно и матерно. Ты только сперва докажи, что надо. А отмычку из этого делать — не литература получится, а кокетство. Матерное. «Посмотрите, какой я свободный: кто на заборе пишет, а я — на бумаге!» Смотреть только неохота. Опять-таки — я не ханжу. Только «неглиже с отвагой» — еще не искусство, как «все дозволено» — не свобода. Мы, дескать, из культурной провинции приехали, нам тут учиться надо. Учиться — это неплохо. И русская литература часто брала за основу западные образцы. Русская культура вообще очень внимательна была к западной, впитывала, как губка. Не рабски только. А так — ну что же, вот и Достоевский мечтал писать, как Жорж Санд... Ни одной литературе в мире, кроме разве что американской и в известной степени послевоенной немецкой, не было свойственно такое стремление к национальному самобичеванию, как русской. В западной литературе критикуется, как правило, общество, социальные прослойки, политические системы, но не нации, не народы в целом. В русской же литературе национальный мазохизм — одна из ха-

рактернейших черт. От князя Курбского до Пушкина, от Чаадаева и Лермонтова до Гоголя и Щедрина, от Чехова и Горького до Бунина и Набокова. О нынешних я и не говорю: у них все полегче, попроще, побезболезненней... Да и модно это нынче, так что желающих — легион...

Набор обвинений примитивен и незамысловат:

1. Русские — народ рабов по самой сути своей, и никакой власти, кроме советской, не заслужили (а про восстания вроде никто и не помнит: всеобщая петроградская забастовка, забастовка ВИКЖЕЛЯ, Кронштадт, Ярославль, Дон, Тамбов, а в наши времена — Новочеркасск, Воркута, Александров, Муром и, наконец, Тольятти).

2. Русские неспособны к сопротивлению (все то же, что выше, а о духовном сопротивлении и говорить не приходится: довольно вспомнить Сахарова и Солженицына, о десятках и сотнях других тоже можно поговорить, длинные списки получатся).

3. Подлинной культуры у этого народа нет (а это для кого? Для детей? Для идиотов? О прошлом, так и быть, не надо, да одна только первая русская эмиграция дала Западу в культуре Дягилева, Стравинского, Рахманинова, Шаляпина, Прокофьеву, Бунина, Набокова, Баланчина, Бердяева, Михаила Чехова, Лифаря и сотни — с тими! — других, оставивших и по сю пору оставляющих свой след в западной живописи, литературе, кино, театре, музыке, исполнительском искусстве; в науке — основоположник вертолетостроения Сикорский, основоположник телевидения Зворыкин, экономист-нобелевец Леонтьев и еще около двух десятков менее звучных, но не менее достойных уважения имен. С неба они, что ли, в Россию свалились?).

Вот по официальной американской статистике (эти данные публиковались в «Русской мысли» и «Новом русском слове») русская эмиграция в Америке за-

нимает первое место по доходу на душу населения, по образовательному уровню, по занятости и кругу культурных интересов. И последнее — по уровню преступности. Все русские демонстрации и акции протesta на Западе проходят всегда в рамках демократических законов с соблюдением всех принятых здесь правил и установлений. Русская политическая эмиграция всех оттенков принципиально отвергает террор как средство борьбы. В ней — в этой эмиграции — нет ни своего Арафата, ни своего Кон-Бендита, ни своего Кахане. Что же касается современной России, то вот один из крупнейших французских публицистов и философов Жан-Франсуа Ревель сказал: «В наше время все сколько-нибудь значительные идеи приходят к нам с Востока». Я далек от мысли идеализировать русский народ, я просто утверждаю, что это такой же народ, как другие, — не лучще и не хуже.

Зря кипятитесь, Володя. По-моему, зря. Кто не хочет видеть — тот слепнет. Кто не хочет слышать — тот глухнет. Ни к чему и имена подсчитывать. И самобичевание самобичеванию рознь. Одно дело — когда от боли, от причастности к вине, исторической ли, мистической: трагической; когда за горло хватают — себя: моя вина, моя расплата, неважно — отцы, деды, все равно — моя! Это право каждого. Взаимоотношения с родиной — материя тонкая, кровная, потому что и кровяная. Подкожная, а вернее — бескожная. Личная, интимная. С правом на эту боль — и на вопль — каждый рождается, как с правом на свободу, как с правом называть матерью ту, которая на свет произвела. Тут разрешения спрашивать не у кого, да и давать его никто не имеет права. И вмешиваться. Другое дело, когда вместо боли — эрзац, подмена, предмет для спекуляции, предлог для кокетства: в мягком сидючи, с коньячком, с табачком — сплошной аромат! — про-

возглашать — ОНИ! Они виноваты! Они — такие-сякие! Я — ни при чем. Я — умный, прозорливый, со вкусом, с чувством меры, а также с эстетическим чувством: у меня от некрасивого с желудком нехорошо; я знаю, как надо, я всегда знал, как надо, вы меня, пожалуйста, с ними не смешивайте, потому что я сам с ними не смешивался. Как же, не смешивался!

Убожество. Это убожество. Обыкновенное нищенство — даже при коньячке и табачке с ароматом. С этим не спорят. Я, во всяком случае, не умею. У каждого народа своя на земле мистическая роль, свой мистический смысл. Знать его нам не дано — и слава Богу! Надо просто уметь ощущать пуповину, которая никогда на самом деле не обрывается. Уметь понимать — или хоть пытаться, или хоть желать понять. Уметь любить — или хоть пытаться, или хоть желать любить. Все остальное — блуд. Ей-Богу, блуд. Так мне кажется. Я, правда, не самый большой философ, — я больше по части ощущений. Вы вот скажите лучше, вам что — родина? Что — для вас?

— Ну, это у каждого, конечно, по-своему. Для кого родина — дом, где родился, город, или люди... или пожелавшие книжные страницы даже. А для меня — вот я помню, как у нас во дворе домик строили, так когда для фундамента яму рыли (там, наверное, раньше уже что-то построено было, и сгнило) — сильно пахло прелой рогожей. Так это для меня и осталось. Я всю жизнь — где бы ни скитался, куда бы ни забрасывала судьба, слышал этот запах. Запах прелой рогожи. Меня иногда на парижской улице вдруг как ударит! Почему, откуда? И весь я там... Может, это и плохо, но я весь там. Вот я знаю здесь людей, близких мне, хорошо знакомых, они говорят: нет там больше ничего, ничего не осталось, все пусто, и связь прервалась. А я вот не могу — весь там. И все помню, всех помню...

И память у него такая же хищная, как глаз, и держит чёртову уйму историй, баек, анекдотов, фра-зочек, словечек: уличных, деревенских, московских, вагонных — почему-то больше всего вагонных, а может, кажется так от великого их множества, от мелькания лиц, от целой фантасмагории мгновенно сменяющихся кадров, картин, сюжетов, героев, социальных пластов — снизу, с самого дна, — доверху, до дна верхнего, до правящей крышки. Его слушать, если он в ударе, — кажется, что заработкаешь кессонную болезнь: кровь из ушей брызнет, не верится, что один человек мог это пройти, все это увидеть, и его не взорвало изнутри, не отняло разум, не зашвырнуло в благостное — навсегда — забытье!

А он любит, когда слушают. Вот как я, рот открывши. И — море лукавства, и глазом хитренъко-полусонным подмигivanье, и недобroe «хе-хе!», и — потом руками разведет, так свободно, лихо и невинно — мол, я тут не причем, и — весь театр на ладони: балаганный, раёшный, безжалостно-веселый, веселозлой. Он — театр. Страшный театр. Потому что не просто достоверный, то бишь похожий, а переселившаяся, воплотившаяся целыми кусками жизнь — с цветом, светом, пейзажем и полным набором аксессуаров и реквизита. Человек — батальное полотно: вот это всего точнее. И страшнее. Перед этим отступаешь.

А кто-то где-то спорит на полном серьезе: тоталитарный характер у Максимова или не тоталитарный? На эту тему уже солидный список статей появился, и даже на импортных языках. И статей, и эпистол, открытых и закрытых, с именами и псевдонимами, а также вовсе без оных. И в разном тоне: есть усталогрустно-интеллигентные — учительные, есть топорноругательные — биндюжные, есть прокурорски-высокомерные — с приговором, есть полицейски-требо-

вательные — с окриком. Есть, все есть. Тоталитарный характер у Максимова или не тоталитарный?

А он — баталия. Кулачный бой. И — небывалый, фантастический, марсианский. С дикой помесью видов оружия — от какого-нибудь сверхсовременного ультразвукового изыска до дреколья. Он — бой и армия. Он — армия и солдат. Он — на поле, на котором боятся. Без победы. Ибо неправда, что бывают победители. Победителей не бывает. И потому он — всегда ранен. Вечно ранен. И вечно — смертельно. Он ранен как побежденный и ранен как победитель. Он ранен, как вытоптанное, изрытое поле. Как измотанная, злобно ощеренная окруженная армия. В нем нескончаемо безжалостно гуляет страдание — вот как ветер над павшими, с той же ширью и молодецким посистом, рассекая сердце, нервы, мышцы и не давая им зарубцеваться, рана на ране, ни местечка живого, любое прикосновение — вздрог и вздерг... Страдание, страдание... тревога... Все вечно, все смертельно, все — как в последнюю минуту... Но приходит следующая, и следующая, и следующая, и каждая — последняя. Не пробовали примерить такое на себя, господа? Попробуйте...

А впрочем... пишите, господа. Пишите письма. Это так сладко — писать письма! А статьи — так и еще слаще. И все — с праведным гневом, и все — с истиной в последней инстанции. Он так часто ведет себя неразумно! Он так выбивается из вашей добротной и гладенькой бухгалтерии! Правый уклон, левый уклон, грубость, всяческая фобия — юдо, русо, украино и прочая и прочая... Что бы вы ни написали, вы почти всегда будете правы — лотерея беспрогрышная, с гарантией. Вы никогда не будете правы. Никогда.

— Вот, все нас в нетерпимости упрекают. Кто упрекает-то? Самые нетерпимые в эмиграции люди

(и все, кстати, у нас печатались). Терпимый человек об этом не говорит — потому именно, что терпим, ему и в голову не приходит. А говорят те, кому мнение, с его собственным не совпадающее, — нож острый. Да и к чему мы нетерпимы? К подлости? К предательству? К двурушничеству? Это — нравственная нетерпимость, она естественна. А то мы к тому придем, что все можно понять. Вот как современные западные либералы. Кто-то сказал, что либерал — это человек, который заранее считает, что враг — прав. Терпимость — это готовность выслушать мнение другого, готовность услышать его аргументы, а дальше уже судить, убеждают они тебя или нет. А нравственная нетерпимость — это в нас от ощущения, что мы на последнем рубеже, от апокалиптического мироощущения. Потому что «на край ночи» мы не путешествовали, мы оттуда пришли. Мы не хотим понимать палачей — мы хотим понимать жертвы. От их имени и стараемся представительствовать. Кстати, вот о нашей эмиграции. Третья эмиграция многим не нравится в метрополии, третья эмиграция многим не нравится на Западе, третья эмиграция не нравится Солженицыну, третья эмиграция, наконец, часто не нравится самой себе. Возьмите того же Зиновьева, одного из заметных представителей этой эмиграции. У него неприязнь к ней проявляется в большинстве его вещей и выступлений. Но именно эта, по его словам, насквозь пропитанная советским духом публика главным образом и приняла его (в том числе и «Континент»), а вот читатель свободной, казалось бы, от советских предрассудков первой волны за редким исключением остался к его сочинениям глух, если не прямо враждебен. Значит, эмиграция наша состоит все-таки не из одних эгоцентриков и стяжателей, бежавших на Запад в поисках самоутверждения любой ценой и приобретения земных благ? Значит, ее — эту эмиграцию —

волнуют проблемы и боли страны, которую она по тем или иным причинам оставила, и ей — этой эмиграции — не чуждо эстетическое и этическое чувство? И зачем по старой советской привычке обобщать, цеплять один ярлык на целый поток человеческий, состоящий из отдельных людей — разных, конечно, и отнюдь не идеальных, и представляющих собой явление сложное и противоречивое. Лишь время покажет, какое место займет то многоголикое, что мы называем третьей эмиграцией, в истории нашей страны и — тешу себя надеждой! — не только нашей.

Кстати, о «советизме». За 43 года, прожитых мною в СССР, я прошел почти все круги общества, знал великое множество людей — от нищих бродяг до членов Политбюро, но беру на себя смелость утверждать, что нигде там я не встречал столько по-настоящему «советских» людей, как на просвещенном Западе. В Италии, где каждый третий голосует за коммунистов, каждый из этих же трех готов вам глотку перегрызть, защищая от всяческой критики «родину трудящихся», «отчизну светлого социализма», «надежду всех угнетенных». И во Франции, чуть в меньшей пропорции, то же самое. И в Испании, и в Португалии. И если бы только коммунисты! А поговорите-ка с английскими левыми лейбористами или либералами США, или с социал-демократами Германии, Австрии, Швеции! Господин Брандт даже хвалится тем, что он на «ты» с Брежневым. Да почитайте-ка их (и не одни только коммунистические!) газеты. Сахарова сослали? Не убили же! Афганистан заняли? Это чтобы там всеобщую неграмотность ликвидировать! Тридцать тысяч танков в Восточной Европе держат? Оборонительная акция! А будешь спорить — в реакционеры запишут, в агенты ЦРУ и в коллaborанты чилийской хунты. И ведь никто и ничто не принуждает — не

как у нас! Ведь они — свободными родились, свободными живут! Сами, добровольно, при полной информации — да еще со щенячьим энтузиазмом. И сообразительные эмигранты (как правило, из бывших и верных членов КПСС) тут же ориентируются... они тоже за социализм с каким-то там лицом и за плюрализм, но только — для своей партийной кодлы. «Реакционеров» же — к ногтям. Видно, коммунистическая диктатура рождается задолго до формального завоевания власти, и не «советский тип мышления» является продуктом этой диктатуры, а — наоборот. Мы, видишь ли, нетерпимы... Третья эмиграция вообще и «Континент» в частности. А мы пытаемся найти общую почву и для позиций, кажущихся разными, противоположными даже. Вот Солженицын утверждает, что в идеологию в Союзе никто не верит. А Сахаров утверждает, что идеология управляет всем и всеми, управляет страной. Вроде бы противоположные позиции, но на самом деле одно другому не противоречит. Да, никто давно не верит в идеологию, и тем не менее она управляет страной. В этом-то самое страшное и заключается. С фанатиками идеи еще можно спорить, в них убежденность есть, искренность, своя логика. А с циниками — о чем говорить, о чем спорить? Какие им аргументы приводить? Сами они всё знают, всё понимают. Для них главное — схватить! Схватили — удержать! Держим — не отдать! Мое! Психология уголовников: «подохни ты сегодня, а я — завтра!». Вот и всё. И огромная страна заходится в конвульсиях: ни хлеба, ни зрелиц, ни мысли. Пряников — не густо, все большие кнут.

В нем сострадание так же остро, как и страдание. Живя в боли, как музыкант в музыке, как живут в доме, в одежде, в обращенном на тебя взгляде, он к чужой боли умеет прикоснуться с такой непонятно

откуда берущейся, от живота, что ли, идущей деликатностью, с такой больничной, покойной, врачующей, легкой... Вот и собакевич взглянул! Вот и мужчина грубость! Ах ты, Господи, прости Ты нас, грешных, что же мы так глухи и слепы? Что же нам увидеть-то все недосуг?

«Батюшки-и-и, а глаза-то у його — сыни-и-и...»

— *Вера — это глубоко личное... интимное.*

— *С годами я стал замечать за собой: если мне худо — ищу: где-то я пакость сделал. Это вообще-то не христианское, карма: твоя вина к тебе возвращается бедой.*

— Почему не христианское? Расплата за грех...

— *Ну нет, это слишком грубо, вульгарно. Нам расплата не здесь. И почем мы знаем — что наше добро? Может, луковка все твои добрые дела перевесит. Об этом не нам судить.*

— Жалеете о чем-нибудь?

— *О многом. О многих поступках, словах. Не отказываюсь только ни от чего. Что сделал — всё мое. И все принимаю как подарок. Хлеб, женщину, удачу — всё. Вот у меня так в жизни вышло, что много хвалили, поддерживали, продвигали. Я ведь свой был, социально близкий, русский опять же — никаких сложностей социального порядка. И критика обо мне писала много и хорошо. И всё состоялось. Всё, чего очень хотел, получил. А вот это ощущение, что — подарок, не проходит. Жду всего, чего угодно. И ко всему готов. Вот скажет мне сегодня кто-нибудь: как здорово ты написал, замечательно просто! — и у меня праздник на целый день. А завтра пришел кто-то другой и — «знаешь, старик, слабо... слабо!». Я схвачуясь, пересмотрю — и вправду — слабо, аморфно, неточно, стыдно читать, стыдно. Завидую людям, которые себя восторженно читают. Вот приятно.*

теля я недавно видел — знаешь, говорит, перечитал свое — а что, здорово! Ей-Богу, здорово! Завидую. Я себя никогда не перечитываю — не могу. Какой я там писатель — время покажет. Время — единственный судья нам всем. Одно только время и ничего более. Никто из живущих писателей не может сказать, переживет ли он самого себя. Один современный русский поэт сказал: «Спешите делать добрые дела». Вот с этим действительно надо поспешать. А с литературой спешить не надо, она спешки не терпит.

— Из чего ваш день состоит, Володя? Как он проходит, день? Такой вот обыкновенный, средний?

— О-о, средний!.. Да все набито, и средние, и крайние. Пишу, читаю, с вами вот ругаюсь... гениев принимаю. В среднем по два гения в день получается. Гений — это стихийное бедствие. Стихийное бедствие эмиграции. Не то чтобы там, дома, их не было — непризнанных-то страдальцев у нас всегда было много — но там они спокойнее: причина есть для непризнанности, ясно же, что все это козни советской власти. А когда причина видна и понятна, да еще и объективна — не поспоришь, не повоюешь — то человек привыкает жить с обидой, ему с обидой тепло и уютно, он от нее и не откажется никогда, как от теплой одежды в мороз. Греет. А тут, в эмиграции, совсем другой коленкор — свобода ведь, и печататься можно, и не давит товарищ цензор, внутренний и внешний, и весь ты как на ладони. И судят тебя по тому, что ты действительно сделал, что ты действительно сумел и смог. Вот так и оказывается, что содрали с человека теплое прикрытие и он голенький. А самому-то про себя не признать, не поверить, что не может попросту, не умеет, не талантлив — для этого силы нужны, для этого много мужества надо, которого не всем и не всегда найти. Вот — и взвы-

вают. Вот и обиженные вокруг нас ходят. И мне день набивают. С ума можно от этого сойти — вроде бы и занят был без продыху, а оглянешься — и не сделано ничего, одни разговоры бесполезные. И врагов себе плодишь.

А и не говорил бы. Другие вот — знакома с такими — не говорят. Время берегут, цену знают. Он — не может. Все раздражение, вся досада от безнадежно и ни к чему потраченного, как за окошко выброшенного времени — это все потом, после разговора. А когда напротив — живое человеческое лицо (да тысячу раз знает он, что человечишко-то пустой, минуты не стоит), сведенное обидой, недоумевающее, обращенное в собственное «больно», когда глаза в глаза, — он ударить не может, он по глазам хлестнуть не может... Так вот и получается иногда — путаница в ненужных обязательствах, и жалость, и досада, и злость, то ли на себя самого, то ли на гостя настырного незваного, то ли на весь свет — ах да пропади все пропадом!.. А потом все опять и снова — и жаль, и помочь, и... ах, да... Карусель. И все равно ведь — строчки завалищей не пропустит — читает: а вдруг! Вон сколько объявляется неожиданного, непонятно откуда взявшегося...

Какой я писатель — не знаю, а вот читатель я, смею утверждать, универсальный. Читаю я все подряд, включая рукописи, и получаю удовольствие от самого процесса чтения. Мне непонятен литератор, который из современников читает только себя или, в лучшем случае, своих друзей и знакомых. Я до чтения жаден. И с одинаковым наслаждением перечитываю русских классиков — Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина — и западных: Сервантеса, Бальзака, Стендэля, Фолкнера, Вулфа, Селина, Мориака, Камю. И современных русских прозаи-

ков — умерших уже, и ныне живущих, все крупное, что есть в нашей литературе, я постоянно перечитываю. К поэзии у меня отношение более избирательное: Пушкин, Блок... Мандельштам, Ахматова, Пастернак. Очень люблю Бродского, Окуджаву, Семёнова, Чухонцева, Галича, из новейших — Плисецкого.

— А Высоцкий? Высоцкого вы не называете?

— Я не упомянул еще многих из тех, кто мне близок, — к примеру, Горбаневскую, Сапира, Кенжева, Иверни. Но ведь всех на самом деле никогда не назовешь. Что до Высоцкого... Горько, что так рано... жутко. Я всегда его уважал как актера, любил его песни, но явлением литературы он мне не кажется. Он скорее явление социально-культурное, что ли... Свидетель эпохи, представитель эпохи... Он очень точно ее ощущил. Но литература? Не знаю. Честно говоря, не думаю...

— А хочется вам уехать куда-то, все равно куда, куда глаза глядят?

— Всегда. Только не ехать, а идти. Идти и смотреть. На города, на площади, на людей. Может, это скверно и стыдно, но я не люблю музеев, памятников, не люблю все запертое. Я бы по музеям не ходил. Я люблю улицу, базары, толпу, люблю смотреть на нее изнутри, люблю быть к ней причастным, к жизни причастным. Не только людей, но все вместе — дома, деревья, воду — и толпу. Глядеть на все изнутри и понимать, что это вечно: дома, деревья, вода, толпа... Это, наверно, от подсознательного желания — остаться... Тоска по бессмертию, по вечной жизни... Слаб человек.

И в свои книги уложил Максимов этот терзающий его театр. Даже в тех его вещах, которые захваты-

вают большие временные отрезки, в которых теснится множество людей (всегда можно сказать с уверенностью, что — увиденных, а не придуманных), повествование разбивается на небольшие, замкнутые, завершенные сцены, так что их можно хоть сейчас — на подмостки или в кадр. Они рассыпаны повсюду — и в ранних вещах, и в поздних; в «Саге о Савве», в «Семи днях творения», в «Карантине», полностью из кадров состоящем; в «Ковчеге для незваных». В каждой сцене, даже самой маленькой, персонажи притертты так, что их не подвинешь, не влезешь фотографом: «будьте любезны головку чуть-чуть вправо, а вы, пожалуйста, вот сюда повернитесь самую малость... так удобно, не беспокоите?». Не беспокоит, удобно — все они словно выверены расчетливо, с логарифмической линейкой в руках, но, прочтя всё произведение в целом, еще лучше — все их прочтя, никогда и в голову не придет сказать, что Максимов — рационалистичен. Это видно скорее в связках, в общей композиции, которая при всем при том может словно бы спотыкаться, выстраиваться с неожиданной неуверенностью, а то еще и идти врастяжку, а то вдруг он начинает топтаться на месте, а то вдруг где-то провисает, где-то проступает слабина, будто писатель устал и ничего с собой поделать не может. Вот в том-то и дело — он ничего с собой поделать не может, он самопридумываться не может — это органика. Поэтому мастерская компактность и точность лучших у него сцен — не результат применения научно найденных формул, а оттого, что герои его обернуты в собственную его плоть, на собственных его костях стоят, его самого разодрав и выжав до мертвейской синевы. Тут уж не ошибешься в цвете и запахе — не клюквенным соком пахнет: кровушка-то, она видна... Оттого вот в таких сценах («Двор посреди неба» в «Семи днях творения» тому богатый пример) и не поставишь, и не посадишь, и интонации им не подпоешь иной, чем есть, чем напи-

сана, чем выдохнута, чем соткана из этого невыносимого до жути, из этого воющего, черноплатного, с иконным провалом глаз страдания.

И вечно они бегут куда-то. То вагоны, то телеги, то лодки, то на своих двоих — все бегут куда-то, зачем-то, а вернее всего — от себя, от вечной тревоги, от вечной жадности от нее освободиться (вот она, тревога, снедающая Максимова всю жизнь) — и волокут ее за собой. А она от пути, от ветра, от нарастающего ожидания, что вот-вот исчезнет, вздувается еще больше, как пламя на вспыхнувшей одежде громаднеет, когда обезумевший человек бежит — задуть, освободиться. Чем больше ждешь и жаждешь, чем больше хочется содрать — тем надежнее прирастает к коже, тем вернее не оставит, а сдерется — с самой только кожей, отпустит только вместе с жизнью.

«Карантин», в котором право на движение отнято — и это задано как условие, — превращается в адское месиво неосуществленных, сталкивающихся и давящих друг друга бегств, вернее, жажд бегства; в жуткую Ходынку, тем более смертоносную, что она — внутри, что она законопачена в невозможность уйти, даже откачнуться просто, что давят друг друга не тела, не плоть, а освободившиеся от бессильных тел страсти, а по сути — единственная страсть, поделенная на всех, — бежать. Или ползти. Или извиваться — но прочь, прочь отсюда, где все уже обуглено, взрыто и вытоптано — куда-то, где можно еще вытоптать, и взрыть, и зарыться.

И не только люди бегут — бежит ветер, несется река, топочет гром, пурга со свистом, с гиком сметает все в тартарары, вздымаются слоновыми волнами и неотвратимо наступает океан; и движение стихии всегда противоположно движению людей, всегда обратно направлено — испытанием ли, предупреждением, угрозой, приговором — оно всегда против, и две этих стихии, сшибаясь, высекают вечность боли, су-

ществующей не в названности, не в звуке вообще, а там, где кончаются все и всяческие понятия о пределах, о форме какой бы то ни было, об очерченности, а остается один бессловный, запрокинутый в смертную муку провал.

Все эти люди, как бы их ни звали, как бы они друг от друга ни разнились, как бы ни были взяты прямо из реальности, все они вместе есть единственная реальность — автор. Время, место действия, разгул стихии — от пространства в целом и одной остановленной его точки пейзажа до взмызов души к небу — за надеждой — это все он. Пространство и время его произведений — это все он, все он — театр, все он с содранной кожей, распятый на том, что — не заживет.

И человеческое в нем, слабое и смертное, напряжено настолько, что напоминает остановленный кадр взрыва с бесконечно, в диком постоянстве, вздыбленной землей, вздернутой на дыбу землей, которой не дано, не дают упасть. Но это ведь на самом деле невозможно, так не живут, это для одночасья, это не для дней, не для лет!.. Как же получается, как он может? Напряжение отжимает его к Небу... так мне кажется. Оттуда — не покой, покой — это уже там, за чертой, когда переступишь, навсегда; оттуда — силы жить дальше, умирать дальше, писать дальше, кричать, бесноваться, рассказывать байки, взахлеб смеяться, вообще все — взахлеб...

— А чего хочется больше всего?

— *Уйти в себя. Писать. Складывать миры на бумаге. И не прерываться, не отвлекаться ни на что...*

— Думается когда-нибудь... ну, «когда я вернусь»?

— *Все время. Без конца представляю себе возвращение. В деталях, в подробностях. Это стало уже*

неким самоединством. Но если честно, я себя и не чувствую в эмиграции. Знаю, что не могу поехать домой — ну, как если бы я завербовался, что ли, на какую-то работу или еще какие-то обстоятельства. Но вот эмигрантом я себя никак не чувствую. Ко мне часто приходят люди, приехавшие из Москвы в туристическую поездку или в командировку, разговариваем мы, бывает, ночи напролет, и разговоры всё те же, что были в Москве, и я никакой разницы между собой и ими не чувствую. Просто живем в разных городах, по разным адресам. Нет у меня ощущения оторванности. Я думаю, что это не только мое отличительное качество, я думаю, что это имеет отношение ко всей нашей эмиграции. Мы не победители, конечно, но и не побежденные. Мне кажется, что трагедия предыдущих эмиграций состояла в том, что они так или иначе признали свое поражение, внутренне его ощутили. Может быть, поэтому их судьба была столь трагической. Для нас все-таки не так. Тоска по земле — это есть, это правда. Но если они нас нашей земли лишили — так это же не от силы своей, от слабости. А останься там, да тем, кто сейчас там, — не тоска? Еще и страшнее. Нет, мы не побежденные. И вот, смотрите, сделали что-то, и на Западе что-то в сознании людей сдвинули, это они сами признают — и крупные деятели западные, и обыкновенные, «средние» обыватели. А ведь нас только все и хоронили. Статьи писали: да что это такое — приехали, орут, требуют!.. И хоронили каждый год: ну, всё, поорали, теперь всё, теперь забудут, и хватит. Но вот идет время — и не забывают, слушают даже, прислушиваются иногда. И оттого — я уверен! — что не несчастненькими мы приехали, не заискивающими, не жалкими, — не побежденными. Не эмигрантами.

Он не любит замкнутого пространства. Ничего тесного, запертого. И говорит — всегда бегает, ужасно неудобно: не бегать же за ним, так и крутишь головой, как киса на ходиках глазами, влево-вправо, вправо-влево... Театру ли его тесно в нем — и в комнате? Или его тревога гонит его, съедает?

Он не любит замкнутого пространства — и заперт в нем. В телефонных звонках, в четырехстах сорока страницах, в туго набитом календаре, в страхе за детей, в беспрерывных разговорах, в просьбах, в «надо не забыть!», в «отпечатать ...копий», и опять в календаре, в страницах, в телефонных звонках, в телефонных звонках, в телефонных звонках... в долге, в рабстве, в жертве, в ярме, которого не снять, потому что надо, потому что необходимо, потому что русский писатель всегда был... потому что стоим на последнем рубеже, потому что если их возьмет, то очень просто может не остаться ничего, даже Гомера, потому что стоим на последнем рубеже, на последнем рубеже... а носорогам все невдомек, все не слыхать за собственным топотаньем, куда же они, куда, зачем, почему... с возрастом стал бояться говорить о замыслах, незаметно остываешь, выговариваясь... (потому что уж если выдал свой театр, так обратно не загонишь, не скажешь, что не было, потому что выложился, потому что, как в последнюю минуту — и доброе, и злое...) и не уйти, и не остаться наедине с собой... пешком по земле...

И тогда оно подступает. Не надо, Володя. Не надо. Мы не будем говорить, что вы уехали в Германию. Потому что вы никому ничего не должны. Потому что человек никому ничего не должен, кроме того, что он в силах, потому что каждый живет как может и каждый сам знает свою разрыв-траву, свою живую воду. Или живую водку. Вы не уехали в Германию, вы уехали-ушли туда, где не видно стен, тесноты — замкнутого пространства. Вы втемную пьяны. Ай-

яй-яй-яй — какой ужас! Как все шокированы! Все садятся писать письма. Или статьи. Это так сладко — писать письма и рассказывать, как надо... Это ничего, Володя. Пусть они пишут письма. Вы втемную пьяны — и нет телефонных звонков, там не слыхать. Вы втемную пьяны и едете в поезде через чистенькую Европу, через воспитанную Европу, в которой никто себя так не ведет. Без языка. Без своей земли. По чужой. И спадает напряжение, и отодвигаются носороги, и вы играете в своем театре — наедине с собой... наконец-то наедине с собой... Не бойтесь за свой вицмундир, вы никому ничего не должны. Кто способен понять, тот поймет, а кто не способен — тому и объяснять нечего. Вы все равно — не побежденный. Не победитель, конечно, но и не побежденный. Не эмигрант.

... — Здорово он пишет, Довлатов! Молодчина...

... — Горим. Всё. Горим без огня. Всё стоит, номер стоит. Срочно! Это срочно, это вчера уже поздно было!..

... — Кончено! Я вам больше не доверяю! Я вам больше не доверяю! Я каждое письмо сам буду проверять! Я всем напишу, все проверю! Безобразие, это просто безобразие!

... — Опять адресов нет! Ну, это наваждение какое-то! Карточки завели — две! А карточек половины нет!

— Вы же сами, Володя и раскидали.

— Не знаю, не знаю. Ничего нет. Как что нужно — никогда не найдешь! Ни одного адреса! Ни одного!

— Да вот ведь — книжки есть записные. Три аж. И две — новенькие.

— Полгода писали — написать не могли. А теперь все равно ничего нет, ничего не найти. Бардак! Все бесполковые, никто порядка навести не может!.. Это просто невозможно!..

Да не спешите вы, не толпитесь, не захлебывайтесь! Тяжелый характер у Максимова. Тяжелый. Наплачешься.

«Батюшки-и-и, а глаза-то у його-о-о...»

«Я только что кончил читать книгу Владимира Максимова, молодого русского — ему около сорока — и мне кажется, что мы можем ожидать замечательных сюрпризов из Советского Союза. Прекрасная книга, она называется «Семь дней творения».

Генрих Бёлль

«Солженицын и Максимов произвели на Западе больший психологический переворот, чем в свое время атомная бомба».

*Ганс Хабе**

* Ганс Хабе (1911 — 1977) — известный немецкий писатель и публицист.

АЛЬБОМ РАЗРУШЕННЫХ И ОСКВЕРНЕННЫХ ХРАМОВ

(Москва и Подмосковье — «Золотое кольцо»)

Художественное оформление. Специальная бумага. Твердый переплет. Большой формат (29 × 21 см). 224 страницы. 250 фотографий православных храмов до и после разрушения. Большое послесловие неизвестного самиздатского автора «Пределы вандализма».

Альбом посвящен Александру Солженицыну, а в Самиздате был выпущен к его шестидесятилетию.

Стоимость альбома — 45 нм + 3 нм за пересылку

Большой ежемесячный Календарь на 1981 год

с 13-ю первоклассными репродукциями русских православных икон, с полными святыми, Евангелием и Апостолами на каждый день. Весь текст календаря, за исключением святцев, четырехязычный — русский, английский, немецкий и французский. Размер календаря — 41 × 30 см (14" × 10"). Печать икон — многокрасочная, глубокая. Печать текстов — двухкрасочная, плоская. Календарь покрыт защитной фольгой.

Цена прошлогодняя — 24 нм., включая пересылку при различных заказах при оплате одновременно с заказом.

POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M-80

Специальное приложение

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИЗРАИЛЬСКОГО ПАРЛАМЕНТА

23 января 1980 года

Премьер-министр М. Бегин: Заседание кнессета сегодня посвящается делу Андрея Сахарова. Я прошу передать официальное заявление от имени правительства. Вчера в СССР был арестован и выслан академик А. Сахаров. Сообщения о месте его высылки противоречивы, где он теперь находится — неясно. Вчера вечером его ожидали в Вене, но он туда не прибыл. Теперь нам стало известно, что выслан он в город Горький. Город этот закрыт для иностранцев и для журналистов в том числе.

А. Сахаров — один из отважнейших людей нашей эпохи. Он оставил свою научную работу, несмотря на то высокое положение, которое имел на родине, несмотря на мировую известность, и сделал это для того, чтобы самоотверженно бороться за основные священные права Человека. Всеми своими действиями он показал, что он — один из праведников нашего времени. Он неустанно защищает и узников Сиона, требуя их освобождения. Помогает их семьям, всячески их поддерживает.

Туфик Туби (депутат-коммунист): Таким образом вы присоединяетесь к тем, кто клевещет на Советский Союз! А о правах человека вы говорить не имеете права!

Бегин: Хочу сказать этому депутату, что еще не настало время, когда я попрошу у него разрешения высказаться... Вы должны были бы постыдиться своей реплики! Речь идет об одном из великих людей нашего времени, которого преследуют самым жестоким образом. Кнессет должен решительно встать на защиту Сахарова и заявить об этом недвусмысленно!

И, я думаю, кнессет скажет свое слово, несмотря на ваши выкрики!

Туби: Лучше говорите о ваших агрессивных действиях!

Голос из зала: Может, ты поедешь в Афганистан?

Депутат Савидор: Депутат Туби, мы вам не затыкаем рот, тут не город Горький...

Бегин: Я продолжаю говорить о праведнике Сахарове. Несмотря на то, что он подвергает себя опасности, он всегда вступался за права нашего народа и требовал освобождения наших узников. С этой трибуны мы посылаем ему самые лучшие пожелания. Мы требуем освобождения его и его супруги, требуем прекращения преследований. Мы присоединяем свой голос к голосам всех свободных людей всего мира. Освободите Сахарова и дайте ему возможность заниматься наукой, и продолжать гуманитарную деятельность в защиту прав Человека, ибо это право и долг свободного гражданина.

Moise Шахал (депутат оппозиции): Мы присоединяемся к большинству кнессета и предлагаем вынести решение кнессета.

Бегин: Спасибо. Господин председатель, такое решение вынести необходимо, и я уверен, что мы примем его единогласно. А также я предлагаю послать наше решение всем парламентам свободных стран, чтобы они сделали то же самое для освобождения А. Сахарова и Е. Боннэр.

Туби: А о жертвах фашизма вы молчите? Почему заключенных не освобождают из тюрем?

Резолюция кнессета принята почти единогласно (за — 117 депутатов, против — 3 депутата-коммуниста; общее число депутатов 120).

Израильский кнессет обращается к правительству СССР с требованием освободить из ссылки академика Андрея Дмитриевича Сахарова и дать ему возмож-

ность продолжать научную работу. Кнессет обращается ко всем парламентам свободного мира с предложением присоединиться к этому призыву. Кнессет также обращается к советским властям с требованием дать возможность уехать в Израиль всем евреям из СССР, которые выразят такое желание.

После принятия резолюции выступило несколько депутатов.

Бар Ам (депутат от оппозиционного блока Марах): Одному человеку в одиночку почти немыслимо бороться с тоталитарным режимом. Нечасто бывает, чтобы судьба одного человека стала символом борьбы против насилия! И в этом мире, где царит выгода, один человек бросил вызов всей мощи тоталитарного государства!

Депутат Мило (блок правящих партий Ликуд): Я предлагаю кнессету объявить академика Сахарова узником Сиона и этим обязать наше государство бороться за его освобождение. А также — бойкотировать Олимпиаду!

Депутат Сара Штерн (Национально-религиозная партия): Высылка Сахарова дает понять, что советская внутренняя политика резко ужесточилась. Преследования борцов за свободу усиливаются. То, что произошло с Сахаровым, видимо, предвещает и ужесточение эмиграционной политики... Это нам надо принять во внимание.

Открытое письмо Президенту США Д. Картеру

ЗВУКОВЫЕ БАРЬЕРЫ «СВОБОДЫ»

Многоуважаемый господин Президент!

Ваше избрание на высокий пост Президента самой могучей страны демократического содружества четыре года тому назад было воспринято нами с нескрывающимся энтузиазмом. Объявленная Вами краеугольным камнем Вашей политики проблема Прав Человека во всем мире возродила в порабощенных народах большие надежды и затаенные ожидания.

Все эти четыре года каждый из нас — вольных или невольных представителей этих народов за рубежом — повседневно и словом и делом поддерживали эту Вашу политику при всех ее противоречиях и неспособовательности. Согласитесь, что мы вправе были ожидать, что все институты Вашей администрации перестроят свою работу в соответствии с принципами вновь избранного Президента своей страны. И это прежде всего, на наш взгляд, должно было касаться таких служб, как радиостанция «Свобода» — организация, по самому своему назначению призванная влиять на многомиллионную массу радиослушателей в СССР.

К сожалению, как это ни странно, положение на радиостанции по сравнению с предыдущим периодом еще более ухудшилось. Качество программ резко снизилось в связи с тем, что по принципиальным мотивам с нею отказался сотрудничать целый ряд наиболее квалифицированных и репрезентативных представителей советского правозащитного движения и культуры: Солженицын, Бродский, Чалидзе, Литвинов, большинство подписавших это письмо и еще многие. Сотрудничество ряда других (Янкелевич, Григоренко, Ходорович и др.) ограничивается эпизодическими выступлениями. В результате, образовавшаяся пустота запол-

няется за счет случайных людей, никогда в жизни не имевших никакого отношения не только к общественному Сопротивлению в СССР, но даже к элементарной журналистике.

Абсолютно безответственная кадровая политика привела к тому, что факты шпионажа на станции стали обыденным явлением. Только за последние пять лет здесь имели место несколько случаев разоблачения советских и восточноевропейских агентов. Оглядываясь назад, позволительно спросить: а сколько еще осталось неразоблаченных?

Политическая цензура на станции сделалась правилом. Можно было бы привести множество тому примеров, но, не желая отнимать у Вас время, мы ограничимся на этот раз лишь ссылкой на то, что, например, упоминание о прибалтийских странах как о странах оккупированных категорически запрещено. А ведь США, как известно, не признали этих советских захватов, и в Вашингтоне до сих пор аккредитованы посольства государств Литвы, Латвии и Эстонии.

Радиостанция стала настолько одиозной в глазах западной общественности, что с нею отказывается сотрудничать большинство сколько-нибудь значительных политических или культурных деятелей Запада.

В результате, даже по официальной статистике исследовательской службы «Свободы», число ее слушателей за последние несколько лет сократилось почти вдвое.

Все это, по нашему твердому убеждению, происходит потому, что руководство радиостанцией доверено людям, для которых эта работа не следствие их профессиональной компетентности или убеждений, а лишь очередная в их несостоявшейся карьере бюрократическая синекура. Ни для кого на станции не секрет, что подавляющее большинство американских кадровых работников этой организации выдвигается сюда

из отходов американской дипломатии или политики. Неслучайно поэтому руководителями различных служб станции назначается то отставной чиновник госдепартамента, то делец, замешанный в скандале «Локхид», а то один из бывших послов в Африке, для которого Россия — это нечто среднее между Папуа и Берегом Слоновой Кости.

Справедливости ради следует отметить, что некоторые руководящие работники из американской администрации пытались в меру своих сил разрядить сдавшуюся здесь атмосферу, но все их усилия неизменно наталкивались на глухую стену бюрократической спеси, и этих работников под тем или иным предлогом со станции удаляли. Так отсюда были буквально выжиты такие подлинно компетентные советологи, как Ф. Рональдс и Ф. Стар.

Согласитесь, многоуважаемый господин Президент, что подобная практика не может вызвать внутри нашей страны ничего, кроме негативной реакции с далеко идущими последствиями. Мы убеждены, что антиамериканизм в современном мире вызван именно этой практикой американской бюрократии, которая использует великолупые своего народа по отношению ко всем униженным и угнетенным в сугубо личных корыстных целях. История показала, что главным образом именно административный цинизм американской бюрократии оборачивался в конце концов для Америки большой кровью. Именно по его — этого цинизма — вине только в новейшей истории были проиграны Китай и Юго-Восточная Азия, а в Индии, которую Америка вот уже более двух десятков лет бескорыстно спасает от тотального голода, американский народ не приобрел ничего, кроме ненависти. Последствия этой практики в условиях свободной России, уверяем Вас, окажутся еще более пагубными.

Хотим мы того или не хотим, многоуважаемый господин Президент, но судьба демократической циви-

лизации решается сегодня не за столом переговоров с системой, которая использует любые переговоры лишь для маскировки своих геополитических целей и не в генеральных штабах западных армий, а только силой и интенсивностью внутреннего Сопротивления в поработленных странах. Помочь этому Сопротивлению, поддержать это Сопротивление во всех его начинаниях — наша общая задача, тем более, что это единственное в современном мире Сопротивление, которое *не требует* от нас ни денег, ни оружия. Оно просит у нас только моральной и политической поддержки. Окажите ему — этому Сопротивлению — такую поддержку, остального оно добьется само. Вся информация, направленная на Советский Союз, стоит Западу меньше, чем *один*, повторяем — *один!* — современный бомбардировщик, а если она, эта информация, будет достаточно качественной и эффективной, мы сможем достичь положения, когда человечеству вообще не понадобится бомбардировщиков. В этом и только в этом мы видим смысл и назначение таких организаций, как радиостанция «Свобода», и в конце концов с Вашей авторитетной помощью она может и должна оказаться на уровне своего исторического назначения.

В течение этих лет многие из нас неоднократно пытались обратить внимание руководства радиостанции и тех лиц, которым доверено ее контролировать, на катастрофичность создавшейся здесь ситуации. Об этих же проблемах писал им, насколько нам известно, и Александр Солженицын. К сожалению, у тех, к кому мы обращались, наши призывы всегда вызывали только высокомерное раздражение, и положение дел на станции становилось еще хуже.

В результате у нас не осталось иного выхода, как обратиться к Вам с этим Открытым письмом в надежде, что Вы сочтете возможным употребить свое влияние, чтобы принципиально изменить положение

вещей в такой важной и необходимой для всех нас организации, как радиостанции «Свобода».

Примите уверения в нашем высоком к Вам уважении

B. Буковский, Э. Кузнецов, В. Максимов

СОЗДАН МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ ГРОССМЕЙСТЕРА КОРЧНОГО

Предолимпийские дебаты о допустимости участия в Играх, проводимых в стране ГУЛага, о моральной ответственности спортсменов за судьбы «узников во имя Олимпиады» привлекли вновь внимание к трагической судьбе одного из самых молодых гулаговцев Игоря Корчного и его матери Беллы Корчной. Многие видные шахматисты обращались уже к советским руководителям с просьбой о предоставлении выездных виз семье гроссмейстера Корчного. Так, 17 ноября петиция на имя Брежнева, подписанная шестью известными голландскими и немецкими шахматистами и поддержанная шестью членами голландского парламента, была вручена послу СССР в Нидерландах В. С. Толстикову. Ввиду отсутствия положительной реакции на их просьбу, группа шахматистов из ФРГ, Нидерландов, Израиля и США решила создать международный Комитет защиты семьи гроссмейстера Корчного.

Членами-учредителями Комитета стали экс-чемпион мира доктор Макс Эйве, чемпион США гроссмейстер У. Браун, гроссмейстеры Людек Пахман, Вольфганг Унциккер, Алла Кушнир-Штейн, Хельмут Пфлегер, Я. Тиммам, Я. Доннер, а также ряд международных мастеров по шахматам. Приглашения вступить в комитет направлены многим другим гроссмейстерам и мастерам.

Цели и задачи Комитета описаны в следующем воззвании, направленном секретариатом Комитета для публикации в шахматную и обычную прессу многих стран, а также рассылаемую более чем 2000 шахматных клубов ФРГ.

ОБРАЩЕНИЕ

членов-учредителей Комитета защиты семьи гроссмейстера Корчного ко всем спортсменам и любителям спорта, ко всем людям доброй воли

Более трех лет семья известного шахматиста гроссмейстера Виктора Корчного, его жена Белла и сын Игорь, добиваются права выехать из Советского Союза и воссоединиться с мужем и отцом. Более трех лет советские власти незаконно, из желания отомстить В. Корчному за его решение остаться на Западе, пытаясь сломить его психологически в борьбе за звание чемпиона мира, отказывают Белле и Игорю в эмиграционных визах. Более того, в конце 1979 года Игорь был арестован и осужден на 2,5 лет заключения по искусственно созданному властями делу об уклонении от службы в армии.

Мы, нижеподписавшиеся члены-учредители, предлагаем Вам принять участие в работе общественного Комитета защиты семьи гроссмейстера Корчного. Допускается личное и коллективное членство. Комитет ставит себе целью бороться за освобождение из заключения Игоря Корчного и за выдачу ему и его матери Белле Корчной разрешения на эмиграцию из СССР. Для этого предполагается:

1) посыпать письма ведущим политическим, общественным и культурным деятелям мира, бизнесменам и другим влиятельным лицам с просьбой выступить в защиту семьи В. Корчного и направлять соответствующие ходатайства советским властям;

2) обращаться к ведущим спортсменам, к спортивным организациям и объединениям с аналогичными просьбами, с призывом оказывать соответствующее давление на советских спортсменов и в первую очередь на шахматистов;

3) оказывать влияние на ФИДЭ с целью побудить ее выступить в защиту семьи В. Корчного, а

также оградить его самого от дискриминации в шахматной жизни, осуществляемой под нажимом советской шахматной федерации;

4) устраивать демонстрации протеста, в частности, во время основных шахматных соревнований.

Мы будем особенно приветствовать коллективное членство молодежных и, в частности, студенческих объединений и организаций, готовых взять шефство над Игорем Корчным. Мы надеемся также на коллективное членство шахматных клубов и объединений.

Просим Вас распространить максимально широко информацию о создаваемом Комитете среди лиц и организаций, могущих, по Вашему мнению, быть его потенциальными членами, прислать свои рекомендации относительно деятельности Комитета, сообщить, согласны ли Вы принять участие в его работе.

Подписи:

*X. Бём, А. Кушнир-Штейн, Я. Тимман,
У. Браун, Л. Пахман, В. Унцикер,
М. Вреекен, Х. Пфлегер, Э. Форманек,
Я. Доннер, Э. Сэйди, М. Эйве*

О своем желании вступить в Комитет или сотрудничать с ним можно сообщать его секретарям по следующим адресам:

Dr. E. Gabowitsch, Pension Senf, Am Kosttor 2,
8 München 2, BRD

H. Rottenberg, Pl. Muidergracht 119, 1018 TR Amsterdam, Netherlands

E. Sztein, 594 Chestnut Ridge Road, Orange, Conn.
06477, USA

Комитет обращается с особым призывом к советским шахматистам, спортсменам и любителям спорта: «Ваше участие в работе Комитета будет особенно эффективным». Мы надеемся также, что судьба

Игоря и Беллы Корчных не оставит равнодушными советских женщин.

Секретари Комитета обратились с открытым письмом, текст которого приводится ниже, к советским гроссмейстерам. В конце июля это открытое письмо опубликовали все ведущие газеты Аргентины — страны, в которой происходил очередной матч претендентов на звание чемпиона мира по шахматам с участием гроссмейстера Виктора Львовича Корчного.

Глубокоуважаемый господин гроссмейстер!

От имени международного Комитета защиты семьи Вашего коллеги В. Л. Корчного обращаемся лично к Вам с просьбой выступить в поддержку наших друзей Игоря и Беллы Корчных, помочь Игорю освободиться из заключения и получить вместе с матерью разрешение на эмиграцию из СССР. Не оставайтесь равнодушными к их судьбе: сегодня советские власти расправились с семьей Корчного, завтра им не угодите Вы и жертвами станут Ваша семья, Ваши близкие.

Трехлетние мучения ни в чем не повинной женщины и ее сына, едва достигшего совершеннолетия, ничего, кроме позора и падения престижа советской шахматной федерации, не принесли властям. Ваше молчание, как и безразличие других видных советских шахматистов, превращают каждого из вас в глазах шахматистов всего мира в соучастников глумления над семьей Корчного.

Хотим верить в Вашу порядочность и искренне надеемся на Вашу помощь. Однако до тех пор, пока наши с Вами усилия по спасению Игоря и Беллы Корчных не увенчались успехом, мы будем вынуждены рассматривать любого советского шахматиста, оказавшегося равнодушным к судьбе наших незаконно преследуемых друзей, как сообщника тех лиц в советском руководстве, которые продолжают мстить семье

гроссмейстера Корчного за талант и независимое поведение их отца и мужа.

Секретари Комитета: *Е. Габович* (ФРГ),

Х. Роттенберг (Нидерланды),

Э. Штайн (США)

Комитет обращается ко всем читателям настоящего сообщения с просьбой направлять письма в защиту Игоря и Беллы Корчных в высшие партийные и государственные органы СССР, а также по следующим адресам:

1. Москва, Г-19, Гоголевский бульвар 14, Центральный шахматный клуб СССР, чемпиону мира Анатолию Карпову.

2. Туда же, Президенту шахматной федерации СССР космонавту СССР Севастьянову.

3. Рига, Бульвар Падомью 16, Редакция журнала «Шахс», экс-чемпиону мира Михаилу Талю.

Секретарь-координатор Комитета
Доктор *Евгений Габович*

Игорь Корчной

Грязный занавес робко,
Приподняв кое-как,
Хорошо бы за скобки
Личный вынести знак.

Все пути, распрямившись,
Приведут меня в Рим,
Сам я буду из «бывших»,
А пока — пилигрим.

И преграды растают,
Не оставив следа,
Это будет, я знаю!
Только будет... когда?

Понте Веккио, Дожи,
Вашингтон и Марсель,
Подождите немного —
Я опять не успел,
Так что рейс отложили
До конца темноты,
А меня посадили
На транзите в Кресты.
Каждый день приближают
Неизвестно к чему,
А мои продолжают
Заявляться в тюрьму.
Бедолага-диспетчер
Перепутал листок:
Мчу заре я навстречу,
Поезд жмет на восток.

* *

До тебя — галёрка, коридор,
Кованая дверь, на ней запор,
Два пролёта, лестница и холл,
Сверху — сетка, снизу — желтый пол.
Влево, вниз ступенек этак семь —
Двери открываются не всем,
Наискось через тюремный двор —
Дверь в «собачник», снова коридор.
Клетка, сверху неба черный свод.
После — створы серые ворот,
Улицы, каналы и мосты,
Позади постылые Кресты.
В полную катушку влепят срок,
Вот и все, до воли путь далек...
И на волю и к тебе пути
Через зону все должны пройти.

Уважаемый Владимир Емельянович!

В 24 номере «Континента» опубликованы стихи **ОСЕННИЕ СНЫ НАЯВУ**. В информации об авторе редакция указала: «Борис Календарев: живет в СССР — других биографических сведений о нем редакция не получила».

Борис Календарев — отказник, в мае 1979 года осужден на два года за уклонение от воинской обязанности (суд — в Ленинграде). В настоящее время он находится в лагере в районе Элисты.

Автором стихов **ОСЕННИЕ СНЫ НАЯВУ** является поэт Александр Фрадис. В 1978 году Александр Фрадис попросил Бориса Календарева передать сборник своих стихов на Запад. Поскольку на рукописи не было фамилии автора, тот, кто вывез эти стихи за пределы СССР, видимо, решил, что Б. Календарев и является их автором.

Поэт Александр Фрадис: родился в 1952 г., в г. Кишиневе; в 1972 г. исключен из МГУ (факультет восточных языков); в 1974 г. исключен из МГПИ (филфак.); дважды помещался в «психушки» на принудительное лечение (арестовывался в Москве и Ленинграде с дальнейшим помещением в Кишиневскую психиатрическую больницу). Печатался в самиздатовском журнале «37» (редактор Виктор Кривулин, г. Ленинград). Последний (третий) арест с дальнейшим помещением в псих. «лечебницу» был 4 марта 1980 г. в г. Ленинграде, однако, через неделю А. Фрадис был освобожден, так как согласился эмигрировать. В настоящее время А. Фрадис оформляет документы на выезд.

В конце 1979 г. — начале 1980 г. Александру Фрадису вновь удалось переправить свои стихи на Запад. Их должны были передать его другу — поэту Алексею Цветкову (стихи А. Цветкова опубликованы в этом же, 24, номере «Континента»). Если А. Цветков получил эти стихи, то можно будет легко подтвердить, что

автором стихов ОСЕННИЕ СНЫ НАЯВУ является
А. Фрадис.

Автор предисловия к публикации Д. Хармса в
24 номере «Континента» Илья Левин знаком со мной
и, возможно, помнит Ал. Фрадиса.

Я приехал в США 23 апреля 1980 г. Установить
связь с Алексеем Цветковым и Ильей Левиным мне
пока не удалось, поскольку я не знаю их адреса.

Искренне Ваш

Леонид Паланов

Август, 21, 1980 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президиуму Верховного Совета СССР
Председателю Президиума Верховного Совета
СССР Леониду Ильичу Брежневу

Копии этого письма я адресую Генеральному Секретарю ООН и главам государств — постоянных членов Совета Безопасности

Я обращаюсь к Вам по вопросу чрезвычайной важности — об Афганистане. Как гражданин СССР и в силу своего положения в мире, я чувствую ответственность за происходящие трагические события. Я отдаю себе отчет в том, что Ваша точка зрения сложилась на основании имеющейся у Вас информации (которая должна быть несравненно более широкой, чем у меня) и в соответствии с Вашим положением. И тем не менее вопрос настолько серьезен, что я прошу Вас внимательно отнестись к этому письму и выраженному в нем мнению.

Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч афганцев — не только партизан, но главным образом мирных жителей — стариков, женщин, детей — крестьян и горожан. Более миллиона афганцев стали беженцами. Особенно зловещи сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помочь партизанам, о минировании горных дорог, что создает угрозу голода для целых районов. Есть сведения о применении напалма, мин-ловушек и новых типов оружия. Крайнюю тревогу вызывают (непроверенные) сообщения о случаях применения нервно-паралитических газов. Некоторые из этих сообщений, возможно, недостоверны, но общая мрачная картина не подлежит сомнению. Ожесточение борьбы, жесто-

кости с обеих сторон возрастают, и конца этой эскалации не видно.

Также не подлежит сомнению, что афганские события кардинально изменили политическое положение в мире. Они поставили под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не только в этом районе, но и везде. Они затруднили (а может, сделали вообще невозможной) ратификацию договора ОСВ-2, жизненно-важного для всего мира, в особенности как предпосылки дальнейших этапов процесса разоружения. Советские действия способствовали (и не могли не способствовать!) увеличению военных бюджетов и принятию новых военно-технических программ во всех крупнейших странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая опасности гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее ООН советские действия в Афганистане осудили 104 государства, в том числе многие ранее безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР.

Внутри СССР усиливается разорительная сверхмилитаризация страны (особенно губительная в условиях экономических трудностей), не осуществляются жизненно важные реформы в хозяйственно-экономических и социальных областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, которые могут выйти из под контроля.

Я не буду в этом письме анализировать причины ввода советских войск в Афганистан — вызван ли он законными оборонительными интересами, или это часть каких-то других планов; было ли это проявление бескорыстной помощи земельной реформе и другим социальным преобразованиям, или это вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Быть может, доля истины есть в каждом из этих предположений. Я лично считаю советские действия несомненной экспансией и нарушением суверенитета Афганистана. Но и стоящие на другой позиции, как мне

кажется, должны согласиться, что эти действия — ужасная ошибка, которую необходимо исправить как можно быстрей, тем более, что сделать это с каждым днем все трудней. По моему убеждению, необходимо политическое урегулирование, включающее следующие действия:

1. СССР и партизаны прекращают военные действия — заключается перемирие.

2. СССР заявляет, что готов полностью вывести свои войска по мере замены их войсками ООН. Это будет важнейшим действием ООН, соответствующим ее целям, провозглашенным при ее создании, и резолюции 104-х ее членов.

3. Нейтралитет, мир и независимость Афганистана гарантируются Советом Безопасности ООН в лице его постоянных членов, а также, возможно, соседних с Афганистаном стран.

4. Страны-члены ООН, в том числе СССР, представляют политическое убежище всем гражданам Афганистана, желающим покинуть страну. Свобода выезда всем желающим — одно из условий урегулирования.

5. Афганистану предоставляется экономическая помощь на международной основе, исключающей его зависимость от какой-либо страны; СССР принимает на себя определенную долю этой помощи.

6. Правительство Бабрака Кармала до проведения выборов передает свои полномочия Временному Совету, сформированному на нейтральной основе с участием представителей партизан и представителей правительства Кармала.

7. Проводятся выборы под международным контролем; члены правительства Кармала и партизаны принимают участие в них на общих основаниях.

Мои мысли, конечно, не более чем возможная основа для обсуждения. Я понимаю трудности проведения этой или аналогичной программы. Однако

какой-то политический выход из возникшего тупика должен быть найден. Продолжение, и тем более, дальнейшее усиление военных действий приведут, по моему убеждению, к катастрофическим последствиям. Быть может, мир именно сейчас находится на перепутье, и от того, как будет разрешен афганский кризис, зависит весь ход событий ближайших лет и даже десятилетий.

Я также считаю необходимым обратиться к Вам по другому наболевшему для страны вопросу. В СССР за без малого 63 года никогда не было политической амнистии. Освободите узников совести, осужденных и арестованных за убеждения и ненасильственные действия, за попытку осуществить свое право получать и распространять информацию, право на свободу религии, на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны, право на ассоциации. В их числе — участники информационных правозащитных и дискуссионных журналов, члены Хельсинкских групп, участники религиозных и эмиграционных движений. Такой гуманный акт властей СССР способствовал бы авторитету страны, оздоровил внутреннюю обстановку, способствовал международному доверию и вернул бы счастье во многие обездоленные семьи.

Я прошу Вас известить меня о получении и рассмотрении этого письма по адресу: Горький 137, проспект Гагарина 214, кв. 3. Я силой вывезен в Горький в январе 1980 г. и считаю это абсолютно незаконным. Я до сих пор не знаю даже, какая инстанция или кто персонально приняли решение об этом. Вот уже много лет каждое мое общественное выступление приводит к репрессиям против моих близких, оказывающихся таким образом, заложниками. Сейчас в этом положении Елизавета Алексеева — невеста сына, вынужденного эмигрировать два с половиной года назад.

Она не получает разрешения на выезд к любимому, подвергается угрозам и шантажу, клевете в прессе. Личная драма двух молодых людей используется с целью давления на меня. За мои действия и выступления ответственность должен нести только я (в том числе и за это письмо). Практика заложничества — недопустима для любой группировки или отдельных лиц, тем более недопустима и недостойна для государства. Я повторяю здесь свою просьбу помочь выезду Елизаветы Алексеевой.

*Андрей Сахаров
академик, лауреат
Нобелевской премии Мира.*

27 июля 1980 года

P. S. Как автор, я прошу публиковать это письмо только полностью. В условиях невозможности связи со мной я вновь настаиваю не вносить изменений в мои публикации.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В Заключительном Акте Хельсинкского Совещания провозглашен важнейший принцип связи международной безопасности и доверия с соблюдением прав человека. В этом историческое значение Акта. В ст. 7 первой части этот принцип выражен в наиболее полной форме, обязывающей к выполнению всех положений пактов о правах и Всеобщей декларации, включая гарантии свободы убеждений и информации, свободы выбора страны проживания не только в плане восстановления семьи и места проживания в пределах страны, свободы религии и свободы ассоциаций. При этом за странами — участниками Акта признается право взаимного контроля над выполнением Соглашения. Этот контроль не рассматривается как вмешательство во внутренние дела, а как действия, способствующие международной безопасности и доверию. Заключительный Акт был одним из этапов формирования международной идеологии защиты прав человека. К сожалению, фактическая реализация этих принципов не была удовлетворительной. Я предполагаю, что нарушения прав человека имели место во многих странах, в том числе в странах Запада. Однако я ближе всего знаю о положении в СССР и в странах Восточной Европы и буду говорить именно о них.

В этих странах за истекшие пять лет не только не произошло улучшения в отношении соблюдения основных гражданских и политических прав, но даже имело место обратное — ухудшение. Репрессии в отношении членов групп, организованных с целью содействия выполнению Хельсинкского Акта, таких, как Хельсинкские группы в СССР, Хартия-77 в Чехословакии, наиболее наглядный и вызывающий пример этих нарушений, требующий от всех стран-участниц недвусмысленных и бескомпромиссных действий, эффективных шагов, не ограничивающихся протестами. В СССР в заключении более 40 членов групп, в заключении также многие, не входившие формально в эти группы, но фактически принимавшие участие в деятельности, направленной на те же высокие цели информации и защиты прав человека, в том числе за участие в информационных и дискуссионных журналах, движениях за свободу религии и за свободу эмиграции. Защита всех их — долг правительства и общественных организаций и деятелей стран — участниц Акта.

Мир неделим. И последствия отхода от этого принципа только подтвердили его правильность. Поэтому я не могу согла-

ситься с теми, кто считает советское вторжение в Афганистан событием, не имеющим отношения к безопасности в Европе. Я не согласен также с теми, кто из-за советских действий в Афганистане или усиления репрессий предлагает бойкотировать Конференцию в Мадриде. Я считаю, что страны-участницы обязаны использовать возможности, предоставляемые Конференцией в Мадриде, чтобы способствовать политическому урегулированию в Афганистане, включающему вывод советских войск и международные гарантии мира, нейтралитета и свободных выборов; способствовать освобождению узников совести в СССР и странах Восточной Европы и в западных странах, если там есть узники совести, т. е. люди, никогда не призывавшие к насилию и не применявшим насилия. Действия западных стран-участниц должны быть более согласованными, решительными и бескомпромиссными, чем в Белграде. Более острая международная обстановка настоятельно этого требует. Хельсинкский Акт, как и разрядка в целом имеют смысл, только если они осуществляются в полной мере и всеми сторонами. Ни одна страна не должна уклоняться от обсуждения ее собственных проблем, будь то проблемы Северной Ирландии, или крымских татар, или депортации Сахарова (я говорю тут об этом отстраненно), и от обсуждения нарушений в других странах. Весь смысл Хельсинкского Акта во взаимном контроле, а не во взаимном уходе от острых проблем.

Скажу несколько слов о личном, заранее предугадывая, что некоторые средства массовой информации опустят этот абзац, как будто им лучше известно, что для меня важно и что — нет.

Полгода назад незаконная депортация меня в Горький привлекла внимание мировой общественности, государственных деятелей. Я обращаюсь ко всем, заявившим тогда о своей озабоченности: помогите получить разрешение на выезд из СССР невесте нашего сына Елизавете Алексеевой. В особенности я обращаюсь к государственным и общественным деятелям, встречающимся с советскими руководителями. Судьба Лизы, затянувшаяся разлука любящих стали средством давления на меня. Это дело чисто личное, никакие государственные интересы в нем не затронуты. Я не знаю, какие планы властей связаны с ним, но оно уже сейчас стало глубоко трагичным. Я жду помощи в этом конкретном, очень важном для меня деле.

12 августа 1980 г.

Андрей Сахаров, г. Горький

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40.— DM, или 25.— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8.— DM, или 5.— US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)

Имя:

Адрес:

.....
.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630
Postscheckkonto: München 147391-804



K

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstrasse 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 USA
Зап. побережье — В. Соколов (V. Sokolov),
871 Alice St. Apt. 6, Monterey, CA 93940,
USA
Мичиган — О. Политис, 3133 No. Wagner
Rd., Ann Arbor, Mich. 48103, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

